

плюс
четыре сотни
новых сюжетов



**ВИКТОР
ШЕНДЕРОВИЧ**
Изюм из булки

1

Книга воспоминаний Виктора Шендеровича «Июм из булки» уже успела полюбиться читателям. Советская Армия и студия Олега Табакова, программа «Куклы» и ее герои, байки позднего «совка» и новых времен, портреты гениев и негодяев, — сотни сюжетов, объединенных обаятельной интонацией автора, образуют неповторимую картину нескольких эпох... Новое, третье издание книги — это еще и четыреста новых историй, которые вы, несомненно, будете перечитывать и пересказывать сами...

- [Виктор Шендерович](#)
 - [«Рассказывают, что...» \(Апология жанра\)](#)
 - [Предупреждение](#)
 - [Автобио-граффити \(часть первая\)](#)
 - [Коврик](#)
 - [Историческая родина](#)
 - [Письмо](#)
 - [Дед Евсей](#)
 - [Несчастье](#)
 - [Полотенца](#)
 - [Предмет гордости](#)
 - [«Простая песня»](#)
 - [Занимательная топонимика](#)
 - [Как моя мама спасла советский футбол](#)
 - [Болельщики](#)
 - [Первое предательство](#)
 - [Саулкрасты](#)
 - [Улитка](#)
 - [Штандер](#)
 - [Ночь](#)
 - [Единственное опасение](#)
 - [Мой рыжий Опекушин](#)
 - [Училка](#)
 - [Правильные ответы](#)
 - [Самостоятельное мышление](#)
 - [Золотая осень](#)
 - [Всегда готов](#)
 - [Страшные слова](#)
 - [Препараты](#)
 - [Фамилия](#)
 - [Гиены пера](#)
 - [Образовательный процесс](#)
 - [Деталь](#)
 - [«Хэлло, Долли!»](#)
 - [Ходжа Насреддин и другие](#)
 - [Только «Правда»...](#)

- [В поисках эпитета](#)
- [Карта](#)
- [Сестры Берри](#)
- [«Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола](#)
- [Первомай-75](#)
- [Лоток](#)
- [К Табакову](#)
- [Груши и цыплята](#)
- [«Ничего не может случиться...»](#)
- [Володин](#)
- [«Серьезная профессия»](#)
- [По следу шутки](#)
- [Бриллианты из «Кулька»](#)
- [Другие версии](#)
- [Перо к бумаге](#)
- [Галич](#)
- [Визбор](#)
- [Маугли и стая](#)
- [Синеглазая Багира](#)
- [«Все настоящее...»](#)
- [На амбразуру](#)
- [Зонг волчьей стаи](#)
- [Спектакль «Холстомер»](#)
- [Петя и Шекспир](#)
- [Заметки фенолога](#)
- [Цахкадзор](#)
- [Из всех искусств...](#)
- [Мандельштам](#)
- [Конспиративное прощание](#)
- [Многостаночник Табаков](#)
- [Современная идиллия](#)
- [Вставай, проклятьем заклейменный...](#)
- [Только спокойствие!](#)
- [Где мак?](#)
- [Так здоровее!](#)
- [Конец эпохи](#)
- [Как заголялась сталь](#)
- [Дом](#)
- [Маршал Кориолан](#)
- [Как я был палестинским беженцем](#)
- [Не стрелять!](#)
- [Хьюм и Джессика](#)
- [Джинсы — быть!](#)
- [Будапешт](#)
- [Мои контакты с польской оппозицией](#)
- [«Дядюшкин сон» в Забайкалье](#)
- [Курсант Керимов](#)

- [«Сила богатырская»](#)
- [Свидетельство очевидца](#)
- [Мемуары сержанта запаса](#)
 - [Ночное](#)
 - [История болезни](#)
 - [В медсанбате мне было хорошо](#)
 - [Родственничек](#)
 - [Цветовая гамма](#)
 - [Как я был сержантом](#)
 - [Хлеборез](#)
 - [Стезя порока](#)
 - [Генеральский замер](#)
 - [Осенний пейзаж](#)
 - [«Под колпаком»](#)
- [Крыса и опоссум](#)
 - [Приложение](#)
- [Автобио-граффити \(часть вторая\)](#)
 - [Чилим](#)
 - [«Жаль, что вас не было с нами...»](#)
 - [Назад в будущее](#)
 - [«Смешно...»](#)
 - [Ноябрь-82](#)
 - [Вопросы нормы](#)
 - [Наказание](#)
 - [Гигант](#)
 - [Продолжение следует](#)
 - [Желание быть испанцем](#)
 - [Мало выпил...](#)
 - [Свадьба бабушки и дедушки](#)
 - [Литературный процесс](#)
 - [Блестящий дебют](#)
 - [Автор «Литгазеты»](#)
 - [Искусство поэзии](#)
 - [«Забавная история...»](#)
 - [Светлый путь](#)
 - [Градация времен деградации](#)
 - [Фамильные драгоценности](#)
 - [Спустя пару эпох](#)
 - [Рубка «хвоста»](#)
 - [Эстрада ждет](#)
 - [Напутствие](#)
 - [«Не делайте этого...»](#)
 - [Сцендвижение](#)
 - [Без разрядки](#)
 - [Статус](#)
 - [Сила воображения](#)

- [Экзамен](#)
- [Танцы с народными](#)
- [«Марат-Сад»](#)
- [«...весь наш коллектив»](#)
- [Мой приятель](#)
- [Военная журналистика](#)
- [Гражданская журналистика](#)
- [Начальственный окоп](#)
- [Возрастная категория](#)
- [Внедрение в литературу](#)
- [Семинаристы](#)
- [Почему смешно?](#)
- [Юморина-89](#)
- [Гран-при](#)
 -
 - [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
- [Два редактора](#)
- [Хазанов](#)
 -
 - [Отступление: Жванецкий](#)
 - [Хазанов \(продолжение\)](#)
 - [История, рассказанная Хазановым](#)
 - [Хазанов \(окончание\)](#)
- [Лидеры](#)
- [Буржуи](#)
- [Серпом по молоту](#)
- [Прикрепление](#)
- [«What a wonderful world...»](#)
- [В защиту Егора Кузьмича](#)
- [Вежливая какая девочка](#)
- [Способности к обобщению](#)
- [Первый урок демократии](#)
- [Очевидец](#)
- [Практический склад ума](#)
- [Поэтический склад ума](#)
- [До двенадцати лет](#)
- [«Вольво»](#)
- [Песня](#)
- [Красивая «виньетка»](#)
- [В этой патриотической песне](#)
- [Жизнь и судьба](#)
- [У Маяковского: «что такое го-ро-до-вой?»](#)
- [Второй эпизод](#)
- [Курточка](#)
 -
 - [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
- [Чужая Муза](#)

-
- ПРИЛОЖЕНИЕ

- Стук в дверь с благодарностью
- Товарищ Грекова
- Настало время
- Любовь к двум треугольникам
- Посвящение
- Гибель советской власти
- «Плохой день...»
- «Если победят наши...»
- Пить надо меньше!
- Смена репертуара
- Письмо из Аргентины
- Времена вразвес (часть первая)
 - Финита ля комедия
 - Ленин как?
 - Тонкая работа
 - Тревожный сигнал
 - «Бактерии не ошибаются...»
 - Парный конференс
 - Как я попал
 - Достоевский и К°
 - Занимательная топонимия
 - Лингвистические трудности
 - Лингвистические трудности-2
 - Breaking news...
 - Вертикаль власти
 - Вопросы на засыпку
 - Не туда пришли
 - Разочарование
 - Традиции пивоварения
 - Контекст
 - Общий знаменатель
 - Нихт ферштеен
 - Ущемление прав
 - Без подробностей
 - С подробностями
 - Платная медицина
 - Силы природы
 - Как вас теперь называть?
 - Знаки времени
 - Врасплох
 - Окно в Европу
 - Процесс приватизации
 - 1993 год
 - 1994 год
 - Кругом вода

- [Наш Голливуд](#)
- [Десять лет спустя](#)
- [Признание](#)
- [Никакого рэкета!](#)
- [На пальцах...](#)
- [Синхронный перевод](#)
- [Кремлевский спиноза](#)
- [Уважительная причина](#)
- [Сон о приватизации](#)
- [Любовь народная](#)
- [Разрыв хозяйственных связей](#)
- [Точные координаты](#)
- [Утерянный секрет](#)
- [Без вариантов](#)
- [Новый адрес](#)
- [На выбор](#)
- [Тунис](#)
- [Чтобы не было мучительно больно...](#)
- [Выбор народа](#)
- [Объект надежды](#)
- [Так начинались «Куклы»](#)
- [Рифмуйте сами](#)
- [«А озаряет голову безумца...»](#)
- [Гений](#)
- [Опилки](#)
- [Обида](#)
- [Другая обида](#)
- [Ключевой вопрос](#)
- [Ход времен](#)
- [Ну, ты спросил...](#)
- [Другая дверь](#)
- [Письмо из-под Пензы](#)
- [Мои тараканы](#)
- [Невыездные](#)
- [Упустила шанс](#)
- [Интерес к эпохе Возрождения](#)
- [«Вот это да!»](#)
- [Медалисты](#)
- [ОРЗ в ЦКБ](#)
- [Большой секрет для маленькой компании](#)
- [Французская штучка](#)
- [Кого хочет Дед?](#)
- [Хоум-видео](#)
- [Утро удалось](#)
- [Встреча Ельцина с деньгами](#)
- [«Юноше, обдумывающему житье...»](#)
- [Такой период](#)

- [«Хайтек»](#)
- [Катапульта для сына](#)
- [Подъем духовности вручную](#)
- [Хорошую компанию Ивану](#)
- [Счет на восстановление](#)
- [Рекламная перетяжка](#)
- [Зверское православие](#)
- [Бурый премьер](#)
- [Мы строили, строили...](#)
- [Панихида для пиара](#)
- [Тусовка](#)
- [Неубиенный довод](#)
- [На перекрестке](#)
- [Бывшие союзные](#)
- [Я, Толстой и Достоевский](#)
- [«Выполнение программы правительства...»](#)
- [Борьба с преступностью](#)
- [«Розовые лица, револьвер желт...»](#)
- [Кораблекрушение](#)
- [Музыка](#)
- [Слуги народа](#)
- [Переговорный процесс](#)
- [Строка в смете](#)
- [Дачный поселок](#)
- [Домики для людей](#)
- [Элита](#)
- [«Новые русские»](#)
- [Веселые ребята](#)
- [Хорошо!](#)
- [Поцелуй напоследок](#)
- [Не тот](#)
- [Впрочем](#)
- [Знакомое лицо](#)
- [Дворянское гнездо](#)
- [А теперь — дискотека!](#)
- [Приложение к договору](#)
- [Долежался](#)
- [По специальности](#)
- [Сфера обслуживания](#)
- [Приход ответственных сил](#)
- [Из жизни сапиенсов](#)
- [Кто звонит в колокол...](#)
- [Как брат брата...](#)
- [Как я был осетром](#)
- [Прикладная пушкинистика](#)
- [Лучшие люди города](#)
- [Выборы-99](#)

- [Места знать надо](#)
- [Конец цинизма](#)
- [О пользе пьянства](#)
- [Тост](#)
- [Наша зоология](#)
- [Русская Швейцария...](#)
- [Мэр Иорданский](#)
- [Креста нет](#)
- [По профилю](#)
- [НЛО](#)
- [Кусок элиты](#)
- [Неуважение](#)
- [Признание](#)
- [В нужное время, в нужном месте](#)
- [Голая правда](#)
- [Почему на Западе плохо](#)
- [Кто о чем](#)
- [По тонкому льду](#)
- [Афины-2004](#)
- [Здравствуй, Родина!](#)
 - [Часы с петушком и кукушечкой](#)
 - [Последняя остановка](#)
 - [Внук есаула](#)
 - [Связь времен](#)
 - [Место для метеорита](#)
 - [Всюду заговор](#)
 - [Незачем](#)
 - [Империя в опасности](#)
 - [Татары, климат и Мадлен Олбрайт](#)
 - [А в день выборов](#)
 - [Имена](#)
 - [«Еще парочку...»](#)
 - [Приготовиться Флориде](#)
 - [Страшная авиакатастрофа](#)
 - [В закрытом городе](#)
 - [Знание предмета](#)
 - [Ударить сильнее](#)
 - [Разгром мозга](#)
 - [Русский характер итальянок](#)
 - [Источник патриотизма](#)
 - [На любой случай](#)
 - [По Садовому кольцу ехал «лендровер»](#)
 - [Другие берега](#)
 - [Тонкий подход](#)
 - [Конь право славный](#)
 - [Все свои](#)
 - [Вопросы нормы](#)

- [«Если бы все...»](#)
- [Под Вяткой есть три реки](#)
- [Круглая дата](#)
- [Дороги в России](#)
- [Плохая видимость](#)
- [Урок истории](#)
- [Традиции](#)
- [Трезвый взгляд на жизнь](#)
- [Лощина](#)
- [Главная опасность](#)
- [На недельку в Крым](#)
- [Сигнализация](#)
- [Наша зоология](#)
- [Родные люди](#)
- [Все относительно](#)
- [Утро Родины](#)
- [Духи местности](#)
- [Человек с надписью](#)
- [Терпение](#)
- [Стоимость мессы](#)
- [Понижение цен вручную](#)
- [По дороге на Родину](#)
- [Прощение](#)
- [Тайна трех океанов](#)
- [Мля, нах...](#)
- [День скорби](#)
- [Повезло](#)
- [«Какие старые слова...»](#)
- [Тютюкин из «Чехии»](#)
- [«До самой смерти...»](#)
- [На остановке](#)
- [Пишите письма](#)
- [Перепись населения](#)
- [С афиши](#)
- [Пересвет и Ослябя](#)
- [В рабочий полдень](#)
- [Немного Сартра](#)
- [Разумное сущее](#)
- [Родная корпорация](#)
- [Сокольники](#)
- [Отдыхаем!](#)
- [История Пушкина](#)
- [Допросы с пристрастием](#)
- [Автора!](#)
- [В Святогорском монастыре...](#)
- [Туши его](#)
- [Место встречи изменить нельзя](#)

- [Важное отличие](#)
- [Формулировка](#)
- [Огненная стихия](#)
- [Картошка](#)
- [Придорожный указатель](#)
- [Другого нету нас пути](#)
- [Кризис](#)
- [«Из-за острова на стрежень...»](#)
- [Без комплексов](#)
- [Рашен миракл](#)
- [Какие бывают русские](#)
- [Булгаковский профессор](#)
- [Национальная идея](#)
- [Переход](#)
- [Французский профессор-политолог](#)
- [Горько!](#)
- [Токио — Москва](#)
- [Вдоль иностранцев](#)
- [«Обратная точка»](#)
- [Пупок земли](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
-

«Рассказывают, что...» (Апология жанра)

Записные книжки я вел с молодых лет. Не дневники, а так, от раза к разу: случаи, характеры, диалоги...

Иногда все это пышно называется «творческая лаборатория писателя», но никакого писательства в ту пору, разумеется, не было в помине (проза начинается с личного опыта). Просто нравилось мараить бумагу.

Полжизни спустя эти записные книжки пригодились: издатель Игорь Захаров предложил мне, не дожидаясь маразма или кончины, приступить к жизнеописанию. Он сумел убедить меня, что прижизненный мемуар не является разновидностью завещания и не обязательно свидетельствует о желании автора проползти в пантеон и заранее пристроиться там среди гробниц почище...

Я прекрасно отдаю себе отчет в банальности затеи; но банальность почти синоним необходимости. Нет ничего банальнее хлеба, воды и воспоминаний. Всякий, кто не поленится пройти вдоль этой линии прибоа, разглядит и подберет десятки обточенных историй, в которых окаменело время, характеры... Жизнь!

На этих историях осталась соль эпохи.

Веселые или печальные, они бесценны, если внятно и со вкусом изложены, и нет для меня ничего заманчивее анекдотов в пушкинском значении слова: его table-talk стоит пяти диссертаций. «Как-то раз...», «рассказывают, что...» — именно так и должен начинаться хороший текст!

Что же до подробностей автобиографии — все это, конечно, очень дорого сердцу, но только сердцу автора. Не стоит грузить чужих людей тестом своей жизни — в этой булке можно смело ковырять пальцем в поисках изюма. Сюжет, сюжет прежде всего! Сюжет — и характеры. Глядишь, станут яснее обычаи времени; тогда можно обойтись и без морали.

Но как разделить пережитое и услышанное? Стоит ли, во имя кошерности жанра, жертвовать роскошными свидетельствами современников? Зря я, что ли, полжизни ходил с расставленными ушами и все записывал?

Ну уж нет.

Вы слышали эту историю рассказанной по-другому? Ну что же: даже Евангелие существует в четырех вариантах... Бог с ней, с реальностью, — мы тут с вами не в судебном процессе, а в литературно-историческом, — здесь иные понятия об истине! Возьмите те же пушкинские анекдоты о Екатерине Великой: по отдельности, полагаю, страшное вранье, а все вместе — безусловно, правда...

Как минимум, правда авторского взгляда на эпоху.

Сюжеты и лица, собранные в этой книге, расскажут о временах, в которых мы жили, о людях, милых моему сердцу и милых не очень, — и стране, громко признаваться в любви к которой мешает память о шекспировской Корделии.

Предупреждение

Да, в этой книге встречается ненормативная лексика.

Радость ее своевременного употребления принадлежит не автору, который скромно и с огромным достоинством отходит в тень, — а героям этих историй и русскому языку в целом.

Языку, в котором два-три нехитрых корня лежат в основе доброй сотни глаголов, прилагательных, причастий и междометий, вмещающих всю гамму чувств, оценок и понятий, для выражения которых менее развитые народы вынуждены пользоваться разрозненными и плохо запоминающимися словами, — этому языку не мне указывать, и не мне заменять его великие буквы стыдливой азбукой Морзе!

А кому не нравится русский язык, тот пускай идет по любому из адресов, на этот случай в нем специально предусмотренных.

.....

*Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь;
жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю.*

Исаак Бабель.

«Мой первый гонорар»

Автобио-граффити (часть первая)

Мне кажется, что со временем (...) писатели, если только они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни...

*Лев Толстой — из письма
Александру Гольденвейзеру*

Коврик

На пятом десятке собственной жизни я обнаружил у родителей маленький (метр на полтора) коврик с восточным орнаментом — и вдруг ясно вспомнил: в детстве я играл на таком же, только очень большом ковре. Я спросил у мамы: это отрез от того ковра? А где он сам?

Мама засмеялась и сказала: так это он и есть.

О господи. Такой большой был ковер!

Историческая родина

Когда мой дед Семен Маркович раздражался и становился резким и грубым, бабушка Лидия Абрамовна, сделанная совсем из других материалов, говорила ему только одно слово: «Городищ-ще!».

Так называлось белорусское местечко неподалеку от Мозыря — родина деда.

Особому политесу взяться там было, действительно, неоткуда: мой прадед был биндюжником, ломовым извозчиком, и деда в детстве многократно пороли чересседельником; хорошо помня характер Семена Марковича, могу предположить, что перепадало по мягкому месту и моему отцу — так сказать, по наследству...

Мой старший брат и я — первые непоротые в нашей фамилии.

Городище я искал и не нашел, когда ездил по Белоруссии в поисках своей исторической родины. Двадцатый век безжалостно прошелся по этим краям. Местечек уцелело всего два; уцелели, впрочем, только дома. Евреев там нет в помине — кто в России, кто в Америке, кто на земле обетованной, кто просто в земле: в Белоруссии Гитлеру удалось решить еврейский вопрос практически полностью.

Для Городища не потребовалось и Гитлера: к двадцать девятому году на месте еврейского кладбища устроили артиллерийское стрельбище. Это было актуальнее.

Дед Семен к тому времени тоже успел немало. Центростремительная сила революции сорвала его в Москву, и к окончанию института он был убежденным троцкистом.

Троцкого попросили для начала проехать в Алма-Ату, деда — тоже для начала — в Архангельск...

Семеном Марковичем он в ту пору не был — был Шломо Мордуховичем. В Сёму его переделали однокурсники в химико-технологическом институте, — чтобы не ломать язык. О конспирации еврейства в двадцатые годы думать уже (еще) не приходилось.

Деформация имени-отчества спасла деду жизнь, когда его искали для того, чтобы стереть уже в порошок: искали-то Шломо, а не Семена, на что один из нашедших впоследствии (на допросе) прямо деду и посетовал... А спасение состояло в том, что искали деда в конце тридцатых, а нашли в конце сороковых.

Эта история стоит того, чтобы ее рассказать.

В 1927 году московский студент Сёма-Шлёма написал письмо своей жене, будущей моей бабушке, в Вологду, куда направила ее партия.

Дед писал из самой гущи исторического процесса, рассказывал о московских фракционных боях и в числе прочего черкнул несколько слов о Сталине. Процитировав, в частности, из Ленина: мол, этот восточный повар любит острые блюда...

Дед предположил, что от Кобы будет еще много крови.

А бабушка Лидия Абрамовна была партийная безо всяких отклонений. Когда, уже в старости, они с дедом ругались, то, перед тем как окончательно перейти на идиш (чтобы внуки перестали понимать текст), — бабушка восклицала:

— Ай, Сёма, ты всегда был троцкистом!

Но в 1927 году бабушка сама пустила письмо мужа по рукам товарищей в вологодской партячейке — еще бы, столько свежих новостей из Москвы! Письмо куда-то пропало, и бабушка не придавала этому значения. Времена были, по слову Ахматовой, *относительно вегетарианские*...

Письмо всплыло через двадцать один год, в 1948-м. Его предъявили деду на Лубянке и поинтересовались: ваше? Через пару дней Сёме-Шлёме, отцу троих детей, дали восемь лет лагерей — на осознание своей юношеской неправоты в оценке вождя.

Или — в подтверждение этой правоты?

Сидевший с дедом в одной камере бывший комендант Кремля Мальков, узнав о дедовых восьми годах, сказал ему:

— Молодой человек, это вообще не срок!

(Мальков только что отбыл «десятку» и тут же получил вторую.)

Это — половина истории, вполне типовая.

Вторая ее половина вполне уникальна.

Прошло еще тридцать лет. В свет вышел роман Василия Белова «Кануны», и в тексте романа мой отец обнаружил удивительное письмо.

Автором письма был очень неприятный персонаж — московский студент, троцкист, с явным местечковым акцентом. Фантазия писателя Белова воспроизвела коллизию с поразительной точностью: персонаж писал в двадцать седьмом году, из Москвы в Вологду, жене! Было в романном письме и про столичную жизнь, и про партийные склоки... Начиналось оно словами «Здравствуй, Эйдля!», а заканчивалось — «Поцелуй Надюшку».

Эйдля — было имя моей бабушки (аналогичным образом превращенное товарками по рабфаку в «Лидию»). А Надей звали старшую сестру отца, родившуюся как раз в 1927 году.

Ко времени публикации романа и дед, и бабушка были еще живы.

После их смерти — в начале восьмидесятых — отец написал Василию Белову. Не вдаваясь в моральные оценки, он сообщил писателю, что в романе «Кануны» использовано реальное письмо его отца к его матери; поинтересовался, каким образом оно попало в роман, и попросил, если это возможно, вернуть в наш дом семейную реликвию...

Что удивительно, Белов ответил. Он признал, что письмо в «Канунах» — реальное; сообщил, что подлинника у него нет, а использовал он копию, найденную в архиве Вологодского обкома партии...

В ответе была слышна некоторая растерянность. Белов не мог и предположить, что троцкист, такое писавший о Сталине в 1927 году и попавшийся органам (а архив обкома КПСС — это, как вы понимаете, эвфемизм), мог дожить до начала восьмидесятых...

Писатель Белов перекачивал чужое частное письмо, не потрудившись даже изменить имена. Он думал, что стягивает сапоги — с мертвого.

А вот другое семейное предание — сюжет, годящийся для «Графа Монте-Кристо», но уже с совсем печальным исходом.

Мой дед по материнской линии, Евсей Дозорцев, к началу войны был начальником отдела ПВО Наркомата угольной промышленности. И вот в сентябре 41-го некий сослуживец деда завел прилюдный разговор на русскую народную тему «евреи умеют устраиваться».

В тот же день Евсей положил свою «бронь» на стол и ушел на фронт. Когда я говорю «в тот же день», это следует понимать буквально: дед не простился с бабушкой, передав письмо через ее сестру.

Наверное, дед боялся, что бабушка его отговорит.

Старший лейтенант Дозорцев погиб в октябре 41-го под Ленинградом. Я сейчас уже гораздо старше его...

А в середине 60-х годов, когда мне не было десяти, в коммунальной квартире на Чистых прудах, где мы жили впятером в одной комнате, попросту расползся потолок, и через гнилые доски полилась дождевая вода. И тогда бабушка пошла по инстанциям: ей, вдове погибшего на Великой Отечественной, полагалось по такому случаю некоторое ускорение в очереди на квартиру. В одной средней советской инстанции, высидев очередь, она добилась приема у начальника, вершившего квартирные дела...

Это был тот самый сослуживец деда, знаток еврейского вопроса.

Он благополучно пересидел войну — и теперь от имени советской власти решал, давать ли моей бабушке квартиру.

Увы, дальнейший ход сюжета уводит нас от аналогии с романом Дюма: никто не убил этого человека и даже не опозорил его. Бабушка Ревекка Абрамовна на ватных ногах вернулась домой, всю ночь плакала и пила валерьяновые капли...

Мы жили впятером в комнате в коммуналке, потолок держался на деревянных подпорках, вода лилась в тазы...

Спустя год нам дали новую квартиру на «Речном вокзале».

Евреи умеют устраиваться!

Несчастье

Все это не имеет никакого значения ни для кого, кроме меня. Но, кажется, это мое первое личное воспоминание, и не записать его я не могу.

Мы идем по железнодорожной платформе «Лианозово» — я, мама и старший брат Сережа. Меня везут в мои первые летние ясли-сад. Еще немного — и отдадут чужим людям. У меня в ладошке — спичечный коробок со светлячком. Мы с ним будем жить совсем одни среди чужих людей.

Иногда я останавливаюсь и заглядываю в коробок.

Мы приходим в ясли, мама начинает разговаривать с воспитательницей, а я отхожу в сторонку, чтобы еще раз открыть коробок, сложить ладошки домиком, сделать темно и посмотреть на светлячка.

Светлячка в коробке нет. Я становлюсь на коленки и обползываю все вокруг. Светлячка нет. Мама разговаривает с воспитательницей. Я понимаю, что выронил его по дороге, может быть, еще на станции. Понимаю, что уже никогда его не увижу; что сейчас мама уйдет — и я останусь один на один с огромным чужим миром.

Я стараюсь не заплакать, ведь я мальчик, мне нельзя плакать, но слезы душат, и я прячусь в деревянный маленький домик на площадке — там меня и находит мама, чтобы попрощаться. Она улыбается, она не понимает, как все ужасно.

Я пытаюсь сдержаться, но не могу. Я реву в голос. Я абсолютно, непоправимо, безутешно несчастен...

Полотенца

Как почти всякого еврейского ребенка, меня мучили музыкой.

Хорошо помню эту каторгу — Черни, Гедике, Майкопар... Высиживать перед клавиатурой по два часа в день не позволял темперамент. Даже играя Баха, я немного пританцовывал. В один ужасный день, по просьбе педагога, ноги мне связали полотенцами...

Это — одно из самых ужасных воспоминаний моего детства. Я заплакал. Это был первый опыт несвободы. Я понимал, что полотенца — для моего же блага, но не хотел никакого блага такой ценой.

Предмет гордости

Однажды в нашу музыкальную, имени Игумнова, школу № 5 пришел композитор Кабалевский. Самого этого прихода я не помню — помню последствия в виде фотографии: в окружении девочек в белых парадных фартучках сидит этот Кабалевский, а рядом с Кабалевским сажу я.

Эта фотография некоторое время была предметом моей тайной гордости. Шутка ли! — автор всенародно любимой песни «То березка, то рябина...», добрый высокий седой дедушка...

Много лет спустя я узнал, что этот добрый дедушка травил Шостаковича, доносительствовал, чинил расправы в Союзе композиторов... Потом я услышал «Испанский танец» Сарасате и ясно различил в нем тему песни «То березка, то рябина...».

Нельзя оставлять детей без присмотра! Посадят с кем ни попадя, вздрагивай потом...

«Простая песня»

А еще на хоре в «музыкалке» мы пели песню, слова которой недавно всплыли вдруг в моей памяти, в комплекте с мелодией. Мелодия была скорбно-торжественная, а слова такие:

Барабаны, молчите, и фанфары, молчите,
Не мешайте заветным, задушевым словам.
Наш великий вожатый, самый главный Учитель,
Эта песня простая посвящается вам...

Кому именно посвящалась эта «простая песня» — черт его знает! Руководительница хора ничего нам не объясняла, — а может, и объясняла, но мне было в ту пору шесть лет, и я ничего не помню. Впрочем, при таком тексте, вариантов в стране Советов было, воистину, раз-два и обчелся...

Граждане, может, кто-нибудь в курсе: про которого из людоедов мне велели скорбеть шести лет от роду?

Занимательная топонимика

В Алма-Ате в советское время имелась школа эстетического воспитания имени Маншук Мамедовой.

Маншук Мамедова была пулеметчицей.

Несколько моих знакомых родились в роддомах имени бездетной Крупской.

Издевались над нами, что ли?

Как моя мама спасла советский футбол

К моим детским годам мама преподавала в станкоинструментальном техникуме при знаменитом Заводе имени Лихачева. Начав с установления дисциплины, она подала на отчисление список самых злостных прогульщиков.

Через день ее вызвал директор и задал странный вопрос.

— Инесса Евсеевна, вы замужем?

— Да.

— Муж — болельщик?

Удивившись повороту разговора, мама подтвердила и это.

— Не буду вам ничего объяснять, — сказал директор. — Просто передайте мужу, что вы хотели выгнать Виктора Шустикова. Муж вам всё объяснит.

Муж, разумеется, объяснил: Шустиков был капитаном «Торпедо» и сборной СССР по футболу! Но профессионального спорта в СССР как бы не было — и Шустиков как бы учился в техникуме...

Портить кровь капитану советской сборной перед чемпионатом мира — это пахло политической близорукостью, но мама пошла на принцип и потребовала от торпедовца, чтобы тот хотя бы пришел в техникум.

Чисто посмотреть, где учиться.

Шустиков явился не один, а с красавицей женой, которая и пообещала:

— После чемпионата *мы* всё сдадим!

Семейное предание утверждает, что слово свое семья Шустиковых сдержала.

Этим немислимым блатом (знакомством жены с Виктором Шустиковым) мой отец, не утерпев, однажды воспользовался, и капитан сборной вручил маме два билета на товарищеский матч СССР — Бразилия.

Тот самый, 1965 года, в Лужниках!

Это был первый в моей жизни поход на стадион; знакомство с футболом я начал с Пеле! Может быть, поэтому российский чемпионат дается мне сегодня с таким трудом...

Мы снимали веранду в доме у пары старых латышей — думаю, на двоих им было полтора века. Их сыну, моему тезке, было под пятьдесят. В доме имелся телевизор, но смотреть чемпионат мира по футболу 1966 года мы с дедушкой ходили за тридевять земель, в пожарную часть. Нас пускали в служебную комнатку с крохотным телевизором.

Там, под каланчой, я и переживал за Игоря Численко и К°.

Я не понимал, почему нельзя попросить хозяев дома пустить нас на время матча к ним в комнату — у них же был телевизор! Вместе бы поболели за наших!

Но болеть вместе нам было — не судьба: старики латыши болели за ФРГ. Это мне было объявлено однажды без лишних пояснений, и поразило меня, восьмилетнего, довольно сильно.

Я спросил у дедушки, почему они болеют за немцев, но внятного ответа не получил. Я спросил у бабушки — бабушка почему-то разозлилась.

Это было ужасно и совершенно необъяснимо. Советские люди должны болеть за СССР! И мы с дедом ходили на каланчу.

Первое предательство

Как же его звали, канадского фигуриста-одиночника, который внес в мою неокрепшую советскую душу первый космополитический разлад?

Этот канадец мог отнять «золото» у нашего Волкова! В империи если не зла, то, как минимум, ущемленного самосознания, — это был повод почти для ненависти. Нет, кроме шуток! — фигуристов, брата и сестру Бук из ФРГ, я бы, в моем десятилетнем возрасте, укусил лично. Они воплощали для меня заговор империализма против всего нашего, советского...

Впрочем, Пахомова и Горшков окрашивали патриотическое чувство в эстетические тона. Их «Кумпарсита»... — ах, молодежи не объяснить, а мы не забудем никогда!

Но на противостоянии Волкова с канадцем мои чувства разошлись, как в море корабли. Техническую программу канадец проваливал, — не царское дело, но наступало время произвольной, и он взлетал надо льдом — легкий, точный, вдохновенный! И однажды я понял, что болею за канадца.

Я даже испугался немного, не зная, сказать ли родителям.

Что-то в этом было от государственной измены.

Много лет спустя, уже не такой пугливый, я обнаружил, что не могу болеть за сборную России по футболу — это оказалось страшным насилием над духом игры; ей-богу, для этого надо совсем не любить футбол!

С некоторым тайным ужасом я ждал, что вот сейчас наши забьют дурной гол и выйдут в четвертьфинал, а там — бразильцы! И, значит, из патриотических чувств я должен буду желать, чтобы защитник Ковтун покалечил не одного какого-нибудь рональдо, а пятерых-семерых, потому что других путей к победе природа нам не дала.

Но я ждал этого чемпионата четыре года! Я хочу посмотреть, как Бразилия будет играть с Англией, с Голландией, с Францией! Я люблю Россию, но не хочу Ковтуна, — что же мне делать? Дай ответ, патриот!

Не дает ответа.

А если дает, то лучше бы помолчал.

А началось все с того канадца...

Спасибо Гуглу с Яндексом: его звали — Толлер Крэнстон!

Саулкрасты

Свою футбольную карьеру я начал лет в пять: дедушка вставал между двух сосен, а я лупил мячом...

Незадолго до моего рождения дед вернулся из лагерей. Восемь лет разнообразных (земляных и лесоповальных в том числе) работ в Дубровлаге, вкупе с седьмым десятком жизни, не прибавили Семену Марковичу футбольного мастерства, и к пяти своим годам я деда обыгрывал.

После обеда дед выносил под те же сосны раскладушку и засыпал.

Дело было в Саулкрастах — так называется поселок под Ригой, где прошло мое детство. Саулкрасты — это десять летних лет с бабушкой Ривой, бабушкой Лидой и дедушкой Сёмой...

К тем годам (думаю, мне было лет двенадцать) относится мой первый — и последний из удавшихся! — опыт в области бизнеса.

В летнем кинотеатре в тот вечер шло что-то такое, чего пропустить душа моя не могла, а находился кинотеатр довольно далеко от дома, и я понимал, что никто из моих стареньких родичей в те края со мною не доберется. Поэтому я дождался, когда дед выйдет под сосны с раскладушкой, а потом подождал еще немного... Когда дед уже пребывал в надежных объятиях Морфея, я легонько тронул его за плечо и спросил:

— Деда, можно, я пойду в кино?

— Ухмх... — ответил дед, не открывая глаз.

Дедушка, стало быть, не возражал.

Не заходя домой, чтобы не попасться на глаза бабушке, я втихую почапал в сторону кинотеатра. Я был очень хитрый мальчик. Тридцати копеек на билет не было, но тяга к искусству преодолела все преграды: я подобрал под скамейками несколько бутылок, сдал их и пошел в кино.

Что было за кино, не помню.

Когда я вернулся домой...

А это было уже очень поздно вечером...

В общем, конечно, я удивляюсь, что дедушка меня не убил.

Мы — папа и мама и я — шли по лесной дорожке к морю, а поперек, слева направо, старательно ползла улитка. Чтобы никто улитку не раздавил, мама аккуратно взяла ее за домик и отнесла подальше от дорожки. И мягко бросила на мшистую горку под сосной — туда, откуда, собственно, улитка и ползла...

Папа устоял страшный бенц.

— Ты что, не понимаешь, что ей надо было — на ту сторону дороги!

С маминой точки зрения, мох и сосны справа от дорожки ничем не отличались от тех, что были слева. Отец хватался за голову:

— Но она же ползла направо!

— Зачем?

— Какое твое дело, зачем?

...Прошло почти полвека, но всякий раз, когда я наблюдаю попытку спасти или осчастливить кого-либо против его собственной воли, я вспоминаю ту улитку.

Ей так хотелось направо!

Штандер

Играли так: мяч бросался вверх, и все бежали врассыпную. Водящий, поймав мяч, диким голосом кричал:

— Штандер!

И все должны были застыть там, где их заставлял этот крик.

«Штандер» — «stand hier» — «стой здесь»... Игра-то, видать, была немецкая!

Выбрав ближайшую жертву, водящий имел право сделать в ее сторону три прыжка — и с этого места пытался попасть мячом. Причем жертва двигаться с места права не имела, а могла только извиваться. Я был небольших размеров и очень быстренький, что давало преимущество в тактике.

Канула в Лету эта игра вместе с диафильмами про кукурузу-царицу-полей и подстаканниками со спутником, летящим вокруг Земли. Кукурузы не жаль, подстаканников не жаль — штандера жаль. Хорошая была игра.

Мы живем впятером в одной комнате, мое место — за шкафом. Шкаф сзади обклеен зажелтевшими обоями. Потом поверх них появилось расписание уроков. А до того — ничто не отвлекало от жизни. Пока засыпаешь, смотришь на обойный рисунок, и через какое-то время оттуда начинают выглядывать какие-то лица, пейзажи...

Из-за шкафа шуршит радиоприемник ВЭФ. У него зеленый изменчивый глаз; на передней панели, лесенкой — названия заманчивых городов... Перед радиоприемником, почти прижавшись к нему ухом, полночи сидит отец и слушает голос, перекрываемый то шуршанием, то гудением. В Америке убили президента Кеннеди! Ух ты! Вот было бы здорово не лежать, а посидеть ночью рядом с папой и послушать про убийство. Но если я встану, убьют уже меня...

Непонятно только, почему ночью так плохо слышно? — утром снова ни гула, ни хрипов.

— Вы слушаете «Пионерскую зорьку»!

Ненавистный, нечеловечески бодрый голос. Надо вставать.

— Музыкальное сопровождение — пианист Родионов!

Утренняя гимнастика. «Переходите к водными процедурам». Ужас-ужас...

Гены разбегаются иногда удивительным образом: мой родной старший брат Сережа был рыжий, веснушчатый, флегматичный мальчик. Очень собранный и трудолюбивый. Когда он был совсем маленький, а маме с папой надо было отлучиться, Сереже в манежик клали стопку газет. И пока он не дорывал все до мелкого клочка, ни звука из манежика не раздавалось: Сережа работал.

Он отлично закончил начальную школу и пошел в четвертый класс, а тут как раз подоспел к начальному образованию я — с гладиолусами в руке, в сером мышастом костюмчике...

Меня привели в ту же триста десятую школу, к той же учительнице, которая до того три года учила Сережу — старенькой Лидии Моисеевне Кацен. Мама решила подготовить учительницу к разнице братских темпераментов: знаете, сказала она, Витя совсем другой — непоседливый, шумный, несобранный...

Старенькая учительница ответила маме великой педагогической фразой:

— Инночка, — сказала она, — я ведь только дураков боюсь, а больше я никого не боюсь...

Мой рыжий Опекушин

Брат Сережа всегда был реалистом.

В шесть лет, придя из кружка лепки, он поделился с мамой эволюцией своих творческих планов:

— Сначала я хотел слепить памятник Пушкину. Потом — маршрутное такси. А потом подумал и решил слепить дождевого червя...

В школе я учился хорошо — думаю, что с перепугу: боялся огорчить родителей. Каждая тройка, даже по самым отвратительным предметам вроде химии, была драмой.

Одну такую драму помню очень хорошо.

Дело было на биологии. Биологичка Прасковья Федоровна вызвала меня к доске отвечать, чем однодольные растения отличаются от двудольных. Заморенный хорошист, я все ей как на духу рассказал: у этих корни стержневые, а у этих — мочковатые, у тех то, у этих — се...

Когда я закончил перечисление отличий, Прасковья Федоровна спросила:

— А еще?

Я сказал:

— Всё.

— Нет, не всё, — сказала Прасковья. — Подумай.

Я подумал и сказал:

— Всё.

— Ты забыл самое главное отличие! — торжественно сообщила биологичка. — У однодольных — одна доля, а у двудольных — две.

И поставила мне тройку.

Правильные ответы

Тупизна — вещь наследственная. Это обнаружилось много лет спустя, когда у меня подросла дочка. Жена повела ее в подготовительный класс, на проверку развития, и в порядке проверки развития у дочки спросили:

— Чем волк отличается от собаки?

Девочка рассмеялась простоте вопроса (как-никак, ей было целых шесть лет) — и, отсмеявшись, ответила:

— Собаку называют другом человека, а волка другом человека назвать никак нельзя.

И снова рассмеялась.

— Понятно, — сказала училка и нарисовала в графе оценки минус.

Моя бдительная жена это заметила и поинтересовалась: почему минус-то? Тестирующая ответила:

— Потому что ответ неправильный.

Жена поинтересовалась правильным ответом. Ответ был написан на карточке, лежавшей перед училкой: «Собака — домашнее животное, волк — дикое». Жена спросила:

— Вам не кажется, что она именно это и сказала?

Тестирующая снова сверилась с карточкой и сказала: не кажется.

Жена взяла за руку нашу шестилетнюю, отставшую в развитии, девочку и повела домой, подальше от этого центра одаренности.

Через год в соседнее пристанище для вундеркиндов привели своего сына наши приятели, и специально обученная тетя попросила шестилетнего Андрюшу рассказать ей, чем автобус отличается от троллейбуса.

Андрюша ничего скрывать от тети не стал и честно доложил ей, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус — на силе тока.

Оказалось: ничего подобного! Просто троллейбус — с рогами, а автобус — без рогов.

Самостоятельное мышление

Шло методическое совещание. В зале сидели учителя средних школ, на трибуне стояла главная методистка страны, статная советская дама.

Она сказала:

— Учитель должен уметь самостоятельно — что?

И учителя хором сказали:

— Ду-умать!

Золотая осень

А одну выдающуюся училку, примерно в те же годы, я встретил в парке возле Института культуры. Училка конвоировала первоклашек. Стоял роскошный сентябрь, жизнь была прекрасна, первоклашки скакали по парку, шурша листвой. Одна девочка, распираемая счастьем, подскочила к педагогше и в восторге выкрикнула:

— Марь Степанна, это — золотая осень?

И Марь Степанна, налившись силой, отчеканила (дословно):

— Золотая осень — это время, когда листья на деревьях становятся красного и желтого цветов!

Парк немедленно померк, и небеса потускнели.

А лет за двадцать до той золотой осени...

Я учился в четвертом классе, готовясь к приему в пионеры. Я хотел быть достойным этой чести и страшно боялся, что в решительный момент забуду текст клятвы.

Пожалуй, я боялся этого чересчур, потому что сегодня мне шестой десяток, склероз уже вовсю пробивает лысеющую башку, и я забываю любимые строки Пушкина и Пастернака, но разбуди меня среди ночи и спроси клятву юного пионера — оттарабаню без запинки!

Этот текст приговорен к пожизненному заключению в моем черепе.

За хорошее знание текста в тот торжественный день нас угостили чаем с пирожными, но перед этим дали посмотреть на трупик. Я знал о предстоящем испытании и готовил себя к походу в Мавзолей. Меня можно понять: первый мертвец в жизни, и сразу Ленин! Я готовился страдать и жалеть, но у меня не получилось.

Когда мы вошли в подземелье, где лежало на сохранении главное тело страны, меня одолевало любопытство; когда вышли — оставалось одно недоумение.

Я ожидал от трупа большего.

Страшные слова

Слово «жид» я услышал впервые в четвертом классе от одноклассника Саши Мальцева. В его голосе была слышна брезгливость. Я даже не понял, в чем дело, — понял только, что во мне есть какой-то природный изъян, мешающий хорошему отношению ко мне нормальных людей вроде Саши Мальцева.

И сразу понял, что это совершенно непоправимо.

А мне хотелось, чтобы меня любили все. Для четвертого класса — вполне простительное чувство. Полная несбыточность этого желания ранит меня до сих пор...

Вздрагивать и холодеть при слове «еврей» я перестал только на четвертом десятке. В детстве, в семейном застолье, при этом слове понижали голос. Впрочем, вслух его произносили очень редко: тема была не то чтобы запретной, а именно что — непристойной. Как упоминание о некоем семейном проклятье, вынесенном из черты оседлости. Только под самый конец советской власти выяснилось, что «еврей» — это не ругательство, а просто такая национальность...

Еще одно страшное слово я прочел в «Литературной газете».

Дело было летом, на Рижском взморье; я уже перешел в шестой класс и читал все, что попадалось под руку, но этого слова не понял и спросил, что это такое. Вместо ответа мои тетки, сестры отца, подняли страшный крик, выясняя, кто не убрал от ребенка газету с этой гадостью.

Слово было — «секс».

Так до сих пор никто мне ничего и не объяснил.

Препараты

Прообразы рабства разбросаны по детству.

Шестой, кажется, класс. Химичка *назначает* меня и еще какого-то несчастного ехать с собою после уроков куда-то на край света — покупать препараты для химии.

Я ненавижу химию, я в гробу видел эти колбочки и горелки, от присутствия химички меня мутит, но меня *назначили*, и я покорно волокусь на Песчаные улицы, в магазин «Школьный коллектор», и жду на жаре, когда ее отоварят какой-то дрянью, чтобы вместе с нею и моим товарищем по несчастью отвезти это в школу.

День погибает на моих глазах. Я чувствую, как уходит жизнь...

А ведь я мог ей сказать: «Я не поеду», а на вопрос «Почему?» ответить: «Я не хочу». Это же так просто! Но я не мог.

Я учился произносить слово «нет»; я учился этому десятилетия напролет и продолжаю обучение...

Фамилия

Когда, в конце пятидесятих годов, отец ненадолго соприкоснулся с советской печатью, его фельетоны публиковались под псевдонимом «Семенов». Появиться на полосе с природной фамилией можно было только в разделе «Из зала суда».

Однажды в «Литгазете» папин текст подписали загадочным словом «Шендеров». Это было лингвистическим обрезанием с обратным знаком: обрезанный как бы переставал быть евреем.

Отец издавал газету «Кто виноват?» («орган квартиры № 127») — лист ватмана, обклеенный текстами и фотографиями, оформленный рисунками. Это была настоящая газета — с интервью, рубриками типа «Письма читателей» и «Ответ редакции».

Печатать листочки на пишмашинке «Эрика» и клеить их на лист ватмана — это было настоящее, беспримесное счастье!

Отец был фотолюбитель, пару раз даже получал какие-то премии. Публиковались в советской прессе и его фельетоны, но это было совсем короткое время, в ранней оттепели... К началу семидесятых отец переключился на издание газеты «Кто виноват?», орган квартиры № 127.

Фотолаборатория была в ванной. Красный фонарь, щипчики в кювете с проявителем, утром — листы фотографий на диване, постепенно скручивавшиеся, как листья деревьев...

А еще у нас был магнитофон «Астра-4» — неуклюжий, с огромными бобинами. Впрочем, работал он исправно, потому что отец постоянно протирал детали ватой, намотанной на спичку и смоченной в спирте. Записывал он на эту «Астру» лучшие кусочки из воскресной программы «С добрым утром!»: песни и мелодии, Райкин, Карцев — Ильченко...

Но главное было — Высоцкий! Записи появлялись регулярно, чаще всего — плоховатого качества, с концертов. Разобрав текст, отец своим отличным почерком переписывал слова в отдельную тетрадку. В неясных местах ставил в скобках принятые в научной литературе вопросительные знаки.

Тетрадка шла по рукам во время дружеских застолий — на нового Высоцкого приходили специально!

Вот дантист-надомник Рудик,
У него приемник «Грюндиг»,
Он его ночами крутит,
Ловит, контра, ФРГ...

Борьба с советской властью в нашей семье носила не политический, а общеобразовательный характер. За неимением нормальных книг в магазинах, отец делал их самостоятельно: первые сборники Окуджавы и Ахмадулиной, которые я держал в руках, были отпечатаны отцом на приснопамятной «Эрике» — лично разрезаны, сброшюрованы и аккуратно переплетены.

Переплетал отец и лучшее из журналов: этой рукотворной библиотеки у нас в доме было больше двухсот томов — «Новый мир», «Иностранка», «Юность»... И Солженицын, и Булгаков, и бог знает что еще, гениальное вперемешку с канувшим в Лету...

Номерок каждого тома был вырезан из желтой бумаги и наклеен на торец переплета. Отец изменил бы своему характеру, если бы у этой самодельной библиотеки не было каталога с алфавитным указателем...

Деталь

Когда отец учился в седьмом классе, родители подарили ему записную книжку.

— Писать было нечего, а рука чесалась, — рассказывал отец. — И я написал: «Шестое апреля. Первый день без пальто».

Рассказывая это, отец усмехался и разводил руками: такая, мол, ерунда...

Вовсе не ерунда! Пойманный солнечный зайчик, деталька в ускользающем пейзаже. Вот: отец рассказал это, и теперь я знаю, что в 1944 году в Москве потеплело шестого апреля...

«Хэлло, Долли!»

Шел «Голубой огонек». Со смешным поролоновым тигром в руках (плоская гитара в тигровых лапах) два артиста-кукольника веселили передовиков труда, сидевших за столиками, и советский народ у телеэкранов.

Это было что-то вроде пародии на западную эстраду; «их нравы»...

Поролоновый тигр бил по нарисованным струнам и смешно разевал пасть; хриплый неотразимый голос в фонограмме тянул согласные и пробивал сердце насквозь.

Так я впервые услышал Луи Армстронга.

Ходжа Насреддин и другие

Однажды я сильно заболел, и мне из вечера в вечер читали вслух книгу в обложке морковного цвета: две повести о Ходже Насреддине. Это было такое блаженство, что не хотелось выздоравливать! В двенадцать-тринадцать лет я знал две соловьевские повести, наверное, близко к тексту.

Много позже я узнал, что автор «Насреддина» сидел в сталинском лагере вместе с моим дедом. И даже более того: был его начальником! Дед, «присевший» чуть раньше, бригадирствовал в небольшой «шарашке», когда к нему в барак определили только что посаженного Соловьева. Дед видел, что новенький, работавший в бане санитаром, что-то пишет по ночам и прячет под матрац...

Дед его не заложил, и это — наш главный семейный вклад в русскую литературу! Писал Соловьев как раз «Очарованного принца», вторую часть книги про Насреддина...

В Рейкьявике идет матч за шахматную корону: Спасский — Фишер! Иногда мы с отцом разбираем партии. Я люблю шахматы, на скучных уроках играю сам с собой на тетрадном листке в клеточку. Делается это так: в тетради шариковой ручкой рисуется доска, а карандашом, поверху, «ставятся» фигуры. Ход делается в два приема: фигура стирается ластиком и рисуется на новом месте.

Но я отвлекся, а в Рейкьявике: Спасский — Фишер!

Какое-то время этот матч — чуть ли не главное событие в советской прессе: через день публикуются партии с пространными комментариями... Потом, по мере катастрофы, комментарии помаленьку скукоживаются, потом исчезают тексты партий... А потом я читаю (петитом в уголке газеты): вчера в Рейкьявике состоялась такая-то партия матча на первенство мира. На 42-м ходу победили *черные*.

А кто играл черными? И кого они победили? И что там вообще происходит, в Рейкьявике?..

Так впервые я был озадачен советской прессой.

О, это умение сказать и не сказать! Уже много лет спустя, в андроповские времена, всей стране поставило мозги раком сообщение ТАСС о сбитом южнокорейском лайнере: *«на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря»*.

Как это: продолжал полет в сторону Японского моря? По горизонтали или по вертикали? Стреляли по нему или нет? Военный был самолет или все-таки пассажирский? Понимай, как хочешь.

А еще лучше: не понимай. Напрягись вместе со всем советским народом — и не пойми!

Август, Рижское взморье. Наша московская «колония» сибаритствует, расположившись у речки Петерупе. Друзья родителей — юристы, скрипачи, биологи, историки, математики, физики... Дядя Стасик, тетя Наташа, тетя Регина, дядя Леша...

А по «Голосу Америки» третий день передают о смерти Шостаковича: биография, рассказы современников, музыка... На советских волнах — тишина.

Трое суток в кремлевских кабинетах продолжается согласование прилагательного, положенного покойному в свете его заслуг и провинностей перед партией.

Великий он был, выдающийся — или всего лишь известный? По какому разряду хоронить? Вопрос серьезный, политический, и до его решения о смерти Шостаковича просто не сообщают!

Дома у одноклассницы Жанны Гриншпун висела карта Израиля...

Это было совершенно немыслимо! Как юный баран перед запрещенными воротами, я стоял в коридоре чужой квартиры, рассматривая нечто, чего как бы не было в природе...

Моря, горы, дороги, города... Я умел читать карту, и с фантазией все было в порядке. Внезапная мысль о том, что по этим дорогам в эти города можно приехать — не эмигрировать, боже упаси! я же советский пионер! просто приехать и посмотреть... — вдруг тайно оборвала сердцебиение, наполнив душу сладкой тоской.

Мне было тринадцать лет, и вместо бармицвы я готовился к вступлению в ВЛКСМ.

Сестры Берри

С национальным самосознанием у меня не сложилось с детства.

Девятиклассником я бывал в одном доме — там жила девушка, которая мне нравилась, и ее мама, которой нравился я. Они уезжали в Штаты, хотя считали себя сионистами.

А я был комсомолец с пионерским прошлым.

Мама девушки, желая меня вовлечь (а может, и увлечь), ставила на радиолу диск сестер Берри.

— Нравится?

— Очень, — честно отвечал я.

— Ты чувствуешь себя евреем? — спрашивала она.

— Чувствую, — честно отвечал я.

Мама девушки, которая мне нравилась, была мною довольна.

Вскоре они уехали.

Но до сих пор, когда я слышу песни сестер Берри, я чувствую себя евреем.

А когда слышу спиричуэлсы — чувствую себя негром.

«Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола»

...однажды к нам попали в плен во время матча по футболу!»

Этот жуткий случай датируется семидесятыми годами прошлого века.

Дело было так. Мой отец увлекся генеалогией. Специалист по сетевому планированию, он скрестил системное мышление с гуманитарными наклонностями и начал на досуге составлять таблицы родственных связей царствующих домов Европы — от Эшториала до Зимнего дворца и от царя Гороха до наших дней.

В просторечии таблица эта называлась «Кто кому Вася» (так или иначе, все царствующие особы оказались родственниками).

Компьютеров еще не было в помине — отец вручную исчерчивал ватманские листы и склеивал их в длиннющие простыни. Иногда внесение в таблицу очередного персонажа сопровождалось безответственной рифмовкой, вроде той, что вынесена в заголовок.

Рифма входит в голову гвоздем — и когда тридцать лет спустя, в Брюсселе, мне показали королевский дворец, имена его обитателей выскочили наружу в ту же секунду, и я страшно поразил окружающих своей эрудицией.

Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола!

Про их страдания в плену у советских футболистов я из скромности умолчал.

...мы с мамой встречали в Одессе.

Гуляли по Пушкинской улице — я, мама и мамина знакомая. Параллельным курсом двигалась первомайская демонстрация. Демонстрация притормозила на перекрестке; какой-то дядя, со словами «мальчик, поддержи, я сейчас», всучил мне в руки огромный портрет — и ушел.

Ни «сейчас», ни потом дядя не появился. Когда мама, отвлекшаяся на разговор с подругой, спохватилась, я был уже не один. Чей был портрет, не помню — из глубин памяти лох-несским чудовищем выплывает словосочетание «товарищ Долгих», но я не поручусь.

Демонстрация тронулась с места, и мы пошли вместе с ней. Я — с товарищем Долгих на руках. Мама призывала трудящихся поиметь совесть, я что-то жалобно подвяхивал снизу, но дурного изображения никто у меня не забирал, и все страшно веселились.

Наконец, решившись, мама вынула эту живопись из моих скрюченных ручек, аккуратно прислонила товарища Долгих к стеночке, и мы пошли от греха подальше...

Это называлось — обмен учащейся молодежью. Я был учащейся молодежью, и меня обменяли.

Я шел по Праге — с разинутым ртом и отцовским фотоаппаратом ФЭД [\[1\]](#) на шее. Я щелкал Карлов мост, Яна Гуса, часы на Староместской... — прекрасные дежурные достопримечательности.

Один кадр из той старой пленки спустя много лет поразил меня самым фактом своего существования: летом 1974 года я, советский старшеклассник, сфотографировал крупным планом — лоток у фруктовой лавки.

Апельсины и персики свободно лежали в том лотке, и улица вокруг была пустынна, и ажиотажа не наблюдалось... А еще в лотке лежало — *что-то* . Только спустя десятилетия я узнал, что это *что-то* называется: манго и авокадо...

Весной того года я случайно узнал, что Олег Табаков набирает театральную студию, и пошел на прослушивание. Мне нравилось кривляться, и я думал, что это актерские способности.

Помню чеховскую «Хирургию», разыгранную в шестом классе в вышеупомянутых Саулкрастах, на пару с приятелем Лешей, на лужайке перед домом, при большом стечении теть, бабушек и дедушек. Был большой успех. Дедушка трясся от хохота.

Я не знаю, как я должен был сыграть, чтобы дедушке не понравилось...

Потом я занимался в театральном кружке Городского Дворца пионеров, где, по случаю дефицита мальчиков, играл чуть ли не купцов из Островского. Там меня и настигла весть о наборе в табакоскую студию.

В здание «Современника» на площади Маяковского набилось старшеклассников, как сельдей в бочку. Помню закоулки, в которых я с удовольствием заблудился, помню собственный сладкий ужас от причастности к театру, который я заранее обожал.

Читал я стихотворение Александра Яшина о пропавшей собаке — ужасно жалостливое. Грузил я этой собакой артиста Сморгкова, вскоре прославившегося ролью положительного простака Коли из фильма «Москва слезам не верит».

Сморчков моим гуманистическим репертуаром не проникся, и я нагло протырился на прослушивание в соседнюю комнату, чтобы одарить собакой Константина Райкина.

Косте в ту пору было уже двадцать четыре года, но вести он себя не умел: когда, ближе к кульминации, я взвыл и дал слезу в голосе, Райкин откровенно хрюкнул от смеха. Хорошо помню рядом с его гуттаперчевым лицом озадаченное лицо Марины Нееловой. Может быть, именно размеры моего дарования уберегли Марину Мстиславовну от театральной педагогики...

Отхрюкав, Райкин передал меня вместе с собакой самому Табакову.

От волнения я плакал чуть ли не по-настоящему. Табаков был серьезен, потребовал прозу. Я начал читать из Джерома, но рассмешить Олега Павловича историей про банку ананасного сока мне не удалось. Было велено прийти осенью на третий тур, выучив монолог короля Лира. Оценить глубину этого театрального проекта может только тот, кто видел меня в девятом классе...

С чувством юмора у Табакова всегда было хорошо. А у меня, видимо, не всегда, — потому что к будущей роли Лира я отнесся с немислимой основательностью! Все лето штудировал Шекспира, до кучи прочел все примечания к трагедии, а уж сам монолог в пастернаковском переводе вызубрил так, что до сих пор помню его от корки до корки... «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!..»

К октябрю никто, кроме меня, про Шекспира не помнил, но я настоял на исполнении. То ли бурей, то ли настырностью мне удалось напугать Олега Павловича — и я был принят в «режиссерскую группу» студии.

Груши и цыплята

С осени 1974 года мы оккупировали Бауманский дворец пионеров на улице Стопани — имя этого коммуниста до сих пор отзывается во мне бессмысленной нежностью.

Мир за пределами студии потерял всякое значение, съезжился и исчез.

Поначалу нас было сорок девять человек, не считая педагогов, которых тоже было немало. Табаков пообещал:

— Будете отпадать, как груши!

И мы отпадали.

Исключение из студии было настоящей драмой — с рыданиями и ощущением конца жизни. Присутствие в этом магнитном поле заряжало всерьез — опять-таки, на всю жизнь.

Валентин Гафт называл нас «цыплятами Табака», но больше мы напоминали саранчу. Неся как штандарт табаковское имя, мы прорывались в театр «Современник» — и выкурить нас из-за кулис было невозможно. Да и как в шестнадцать лет уйти оттуда, где обитают и проходят мимо тебя по узкому закулисному коридору Даль, Неелова, Богатырев или Евстигнеев?

«На дне» я смотрел, наверное, раз пять, «Двенадцатую ночь» — не меньше двенадцати уж точно...

Одно из потрясений юности — «Валентин и Валентина» с Райкиным и Нееловой. Потрясение это было огромным и печальным. Огромным — потому что я находился в возрасте роцинских персонажей и все это было мне безумно близко. А печальным — вот почему...

После спектакля я помчался на служебный вход, чтобы поблагодарить Райкина. Я отловил его на выходе и что-то говорил, вцепившись в рукав, когда из лифта вышла Неелова.

— Пока, Костя! — на ходу бросила она.

— Пока, — ответил Костя совершенно бытовым образом.

А пять минут назад они стояли на сцене вместе — да так вместе, что представить их врозь было невозможно! И художественный обман показался мне обманом человеческим...

«Ничего не может случиться...»

За укрепление дисциплины педагоги студии начали бороться за восемь лет до Андропова.

«Уважительной причиной для неявки на репетицию является смерть», — сформулировал добрейший Андрей Борисович Дроздин.

Педагог Поглазов приводил в пример своего друга и однокурсника Константина Райкина.

— Я знаю его восемь лет, — говорил Владимир Петрович. — Пять лет в училище и три в театре. И ни одной пропущенной репетиции!

— Но ведь человек может заболеть, — сказал кто-то.

— Актеры не болеют, — парировал Поглазов.

— Но ведь может что-нибудь случиться!

— Ничего не может случиться, — назидательно ответил Владимир Петрович.

Дальше было как в плохом кино, но было именно так. Дверь открылась, и, что называется, на реплику вошла наша студийка, Лена Антоненко.

Вошла и сказала:

— Райкин сломал ногу.

...Во время репетиции «Двенадцатой ночи» Костя решил показать Валентину Никулину, как надо съезжать с тамошней конструктивистской декорации, и приземлился неудачно.

Отдельным кадром в памяти: загипсованный Костя сидит на подоконнике, на лестничной клетке в больнице Склифосовского; рядом — Марина Неелова и Юрий Богатырев...

Год на дворе — 1975-й.

Шахматная секция Дворца пионеров оккупирована для читки пьесы Володина «Две стрелы». Читает нам ее Олег Табаков.

Через час я пробит этими стрелами насквозь; целый год сердце бешено колотится при одном упоминании персонажей. Фамилия автора пьесы мне ничего не говорит, но я хорошо представляю себе лицо человека, написавшего *такое*: Леонардо, Софокл...

Проходит два года, мы уже студенты; место действия — подвал на улице Чаплыгина. Репетируем «Стрелы».

Однажды в наш двор приходит старичок с носом-баклажаном.

— Саша, — говорит старичку Табаков, — проходи...

Это — Володин? Я страшно разочарован.

С тех пор время от времени драматург сидит на наших репетициях, в уголке. Иногда Табаков просит его что-то дописать: он своими словами обозначает контур диалога, и Володин тут же начинает диктовать, а мы записываем.

Каким-то до сих пор непостижимым для меня образом диктуемое сразу оказывается частью пьесы — без швов, с характерами и даже с репризами. Герои жили в Володине, и надо было только позволить им выйти наружу...

Там же, в чаплыгинском дворе, Володин рассказывал мне своими словами еще не снятый Данелией «Осенний марафон». Я пристал к нему со своим школярским любопытством — что вы сейчас пишете? — и он обрадовался случайным ушам и начал подробно и взволнованно рассказывать эту, теперь уже классическую, историю.

Он рассказывал ее, как жалуются на жизнь. Не на свою, а — вообще... На жизнь как источник несудорожности, несвободы, несчастья... И я очень хорошо помню, что в володинском изложении история эта была не про Бузыкина, а про его несчастливых женщин.

Он вообще умел жалеть и любить. Других — больше чем себя: ведь Бузыкиным был он сам. Бузыкиным в кубе! Его неумение сказать «нет» приводило в отчаяние...

Спустя много лет после тех встреч в чаплыгинском дворе я пару раз был вынужден брать на себя роль человека по имени «нет». Однажды Александра Моисеевича, уже совсем старого и насквозь больного, не удосужившись даже прислать машину, тянули на ночь глядя на спектакль какого-то погорелого петербургского театра: должно было прийти начальство, и решался вопрос о дотациях... Присутствие в зале Володина, по мысли приглашавших, могло решить вопрос положительно.

Он понимал, что его используют, но сказать «нет» не умел.

Тянули жилы минут пятнадцать. Пообещали, что будут звонить еще. Брали измором.

— А что, хороший театр? — спросил я.

— Отвратительный! — крикнул Володин. — Они меня так мучают...

Я сказал все, что думаю про это драматическое искусство.

— Я скажу, что вы мне запретили, ладно? — обрадовался Володин.

И сказал!

Но это было уже двадцать лет спустя. А в середине семидесятых...

«Серьезная профессия»

Сначала я пошел на поступать в ГИТИС, к легендарной Марии Осиповне Кнебель. Я прочел ей, чтобы мало не показалось, монолог Сальери (после Короля Лира, разученного в девятом классе, поставить себе планку ниже я не мог).

Читал секунд двадцать — Марии Осиповне хватило для диагноза.

Когда Кнебель спасла от меня советскую режиссуру, я в тоске побрел на станцию «Левобережная» и отдался Институту культуры (бывший Библиотечный, сокращенно «Кулёк»).

У выпускника этой альма-матери Фазиля Искандера по тому же поводу было сказано: «Я чувствовал, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу».

Славное заведение это выпускало будущих культпросветработников. Получить какую-либо профессию здесь было невозможно, но весело скоротать молодость — запросто! Для этого, в первую очередь, следовало избегать идеологических дисциплин: одно их название могло испортить настроение на всю жизнь.

Один партийный старичок-боровичок читал нам, помню, предмет под названием «История культпросветработы и клубного дела». Требовалось знать количество изб-читален после Гражданской войны и биографию Крупской. До сих пор не знаю, что мне делать с этим интеллектуальным богатством...

Художественным руководителем нашего курса был крупный (в прямом смысле) пожилой красавец; как говорили, ученик Леонидова.

Его первое явление нам было незабываемо. Бордовый вельветовый костюм, стать бывшего героя-любownika... Он обвел аудиторию цепким взглядом. Прищурясь, остановил его на каждом из нас, будто провидя наши судьбы сквозь мглу времен... Мы сидели полукругом и смотрели ему в рот.

Наконец, он сказал.

— Режиссура, — сказал он...

У него был бархатный глубокий голос.

— Режиссура, — повторил он и задумался, подперев подбородок костяшкой среднего пальца. Будто ища некое заветное слово. Словно уже зная его, но раздумывая, как лучше донести это знание до наших некрепких мозгов.

И я понял, что сейчас, вот прямо сейчас мне откроется истина!

Профессор взял мхатовскую паузу — и, наконец, сказал свое петушиное слово:

— ...это серьезная профессия.

Дурак бывает зимний и летний. Летний идет по улице, размахивая руками — и всякий видит: идет дурак! А зимний должен снять шапку и пальто, и только тогда все видят: дурак...

По следу шутки

В первом издании «Ижюма из булки» автором шутки про дурака летнего и дурака зимнего был назван Михаил Светлов.

Вскоре после выхода книги Петр Вайль указал мне, неучу, на авторство Хемингуэя, отослав к диалогу в романе «По ком звонит колокол».

Проверка натолкнула меня на неожиданно примиряющую версию: типологию дураков у Хемингуэя производит советский журналист Карков, протитопом которого был, как известно, Кольцов, а уж от Кольцова до Светлова — рукой подать!

«Видимо, автор “Гренады” пересказывал шутку своего друга-тезки, расстрелянного вскоре после той испанской командировки», — писал я в предисловии ко второму изданию.

Но все оказалось еще интереснее: недавно очередной «зимний дурак» выпал на меня из повести Владимира (Зеева) Жаботинского «Пятеро»...

Будущий классик сионизма родился в Одессе — там же, надо полагать, родилась и эта блестящая шутка, докочевавшая до Киева, где родился Кольцов, а уже оттуда — до испанских окопов и, через Хемингуэя, по всему белу свету...

Бриллианты из «Кулька»

Рядом с вышеописанным мастером по режиссуре нам преподавала Ираида Александровна Мазур — чудеснейшая дама, получавшее свое образование в Оперной студии МХАТ, у Станиславского. Не столько профессии, сколько вкусу и достоинству можно и нужно было учиться у Ираиды Александровны...

А иногда из «Кулька», из пыльной системы советского культпросветобразования, на нас вываливались настоящие бриллианты.

Галина Викторовна Морозова преподавала сценическое движение и фехтование — единственная женщина-«фехтовальщик» в театральных училищах страны! Ее уроки оставляли послевкусие счастья, и дело было, конечно, не совсем в профессии: присутствие Галины Викторовны заставляло выпрямить спину не только в фехтовальной стойке.

В эту женщину нельзя было не влюбиться.

Галина Викторовна на долгие годы втянула меня в свой предмет, и сегодня я понимаю: меня просто примагнитило. Если бы Морозова преподавала вокал, я бы, наверное, запел.

Джульетта Леоновна Чавчанидзе («Иностранная литература»), Клара Максимовна Ким («Эстетика») ... Можно себе представить, в каких оксфордах они преподавали бы, если бы не «совок»; легко вообразить, какими судьбами оказались в «кульке».

Думаю, в элитные идеологические институты людей с их убеждениями и внутренней свободой просто не пускали на порог!

«Отечеством называют государство, когда надо проливать за него кровь», — посреди афганской войны цитировала Стриндберга будущим советским культпросветработникам Клара Максимовна Ким.

Спасибо, Клара Максимовна! Я запомнил — и передаю цитату следующим поколениям.

Другие версии

Доцент Гриненко преподавала «Научный атеизм».

— Историческим материализмом, — говорила Наталья Викторовна, — доказано, что Бога нет. Но есть другие версии — их мы и будем изучать на нашем предмете.

И рассказывала нам — в конце семидесятых годов, в СССР! — про ветви христианства, иудаизм, буддизм...

Особенно впечатлил меня ее способ принимать экзамены.

— Кто согласен на тройки — давайте зачетки, остальных буду спрашивать!

Несколько зачеток передавалось в руки доцента Гриненко, и счастливые троечники освобождали аудиторию.

— Кто-нибудь претендует на пятерку? — вкрадчиво интересовалась Наталья Викторовна.

Несколько смельчаков подтверждали ее предположение.

Гриненко отпускала с богом четверочников, собирала зачетки у оставшихся — и ставила им пятерки.

И каждый получал то, на что претендовал.

Писательство свое я начал, как полагается, с поэзии. Кто ж не поэт в восемнадцать! Во мне бродили читательские соки, и я переписывал своими словами то Пастернака, то Лермонтова... Глубоко трагический я был поэт во время летних каникул в Павловске, после девятого класса! Самому нравилось — ну очень...

Окружающие оставались глухи к этим вершинам духа, но я был упорен и в поисках славы добрался до редакции журнала «Юность», где по вторникам и пятницам проводил литконсультации Юрий Ряшенцев.

Предбанник его кабинета по этим дням был заполнен страдальцами. Молодые и не очень молодые люди с тетрадками в руках сидели, дожидаясь своей очереди. Это напоминало диспансеризацию и, в сущности, ею и было.

Юрий Евгеньевич изучал тетрадки, как истории болезни.

Потом начинался разбор. Разбор был захватывающим, недлинным и очень обидным. Стихотворение, все такое тонкое и глубокое, спустя пару минут оказывалось кучкой необязательных слов.

Случалось Юрию Евгеньевичу и бить ниже пояса.

— Смотрите, Виктор! Вот вы берете тему ностальгии — и едете на ней без единого поворота. А у Цветаевой на эту же тему — помните? «Тоска по Родине — давно // Разоблаченная морока!»

Я кивал, хотя, разумеется, не помнил.

— Но в конце! — увлекаясь, восторженно кричал Ряшенцев. — «...Но если у дороги куст // Встает, особенно — рябина...» А?

Я был раздавлен. Впрочем, хотел бы я посмотреть на того, кто не будет раздавлен сравнением своих строк с цветаевскими... Я возвращался домой, в тоске понимая постепенно, что я, наверное, не поэт.

Впрочем, некоторый яд я накопил уже к тем годам, поэтому однажды не утерпел и спросил у Ряшенцева: рассказывает ли он про Цветаеву членам Совписа, чьи пыльные вирши килограммами публикует журнал «Юность»?

— Ну, вы нахал! — воскликнул Ряшенцев и радостно рассмеялся.

Прошло почти сорок лет, и я нежно благодарен Юрию Евгеньевичу за масштабную сетку, которую он поставил перед моим задраным носом. Это помогло, хотя, конечно, не сразу...

Мне повезло. Мои юношеские стихи нигде не опубликовали.

Дорога в стройотряд: плацкартное купе, оккупированное молодежью семидесятых, с гитарами в руках и либерализмом в башках. Человек, наверное, двадцать набилось в то купе.

А на нижней полке, свернувшись калачиком, спит бабка — полметра той бабки, не больше... Ну и бог с ней. Поехали и забыли! Взяли чаю, накатили какой-то спиртной ерунды, расчехлили гитары, и началось вперемежку: Высоцкий, да Ким, да какой-то самострок, да Визбор с Окуджавой...

Допелись до Галича. А что нам, молодым-бесстрашным!..

А бабка спит себе — глуховатая, слава богу, да и, мягко говоря, не городская. Спели мы «Облака», дошли до «Памятников». Пока допели, поезд как раз притормозил и остановился.

— И будут бить барабаны! Тра-та-та-та!

Бабка зашевелилась, приподнялась, мутно поглядела вокруг и сказала:

— А-а... Галич...

И снова легла.

Тут нам, молодым-бесстрашным, резко похужело. Бабка-то бабка, а в каком чине? Нехорошая настала тишина, подловатая... В этой тишине поезд лязгнул сочленениями, дернулся, и мимо окна проплыло название станции.

Станция называлась — Галич.

Я учился на третьем курсе, когда приятель позвал меня в гости к Визбору.

Это было чистое нахальство: мало того, что приятель сам напросился к классику (взять интервью для какого-то студенческого листка), так еще и взял с собой меня — Визбора, полагаю, не спросивши.

Мы приперлись в чужую квартиру на Садовом кольце и часа два торчали на кухне у Юрия Иосифовича, испытывая его гостеприимство, — которое мне нынешнему кажется запредельным. Я бы выгнал таких нахалов очень быстро.

Пропорций я тогда не осознавал. Я был переполнен своей жизнью — студией, спектаклями, стихами... — и не очень понимал, у кого на кухне сижу. Та самая масштабная сетка еще не устоялась, и я, юная дурачина, трындел без умолку.

Кто бы дал мне сейчас поговорить пару часиков с Юрием Иосифовичем... Я бы, пожалуй, больше молчал.

Маугли и стая

В сентябре 1976 года студия Табакова стала курсом ГИТИСа. К девяти московским школьникам, уцелевшим после табакровских экзекуций, добавились приезжие таланты...

Ни режиссером, ни артистом я не стал, но юность, проведенную в «Табакерке», до сих пор считаю одним из главных везений своей жизни. Говоря точнее, я считаю это главным везением — после самого главного: того, что родился у собственных родителей, а не по соседству.

Тренеры учат прыгунов в высоту целиться выше планки: гравитация сделает свое черное дело сама. У нас были хорошие тренеры, и в шестнадцать-семнадцать лет мы хотели быть лучшими. Мы были влюблены друг в друга и в наш будущий театр, на студийных собраниях кипели шекспировские страсти... Смертей не зафиксировано, но обморок от переизбытка эмоций я видел своими глазами.

Планка была поставлена на мировой рекорд. А уж кто, как и докуда долетел — распорядилась судьба.

Среди «табаковцев» первого призыва сегодня есть и «народные», и просто хорошие артисты; кто-то выбыл из этой гонки, кто-то спился. Многие уже не живут на белом свете. А те, которые живут, делают это в Киеве, в Монреале, в Москве, Нью-Джерси... В страну басков уводят следы польской красавицы Марыси Шиманской (помните, ровеснички, блондинку из фильма «Берегите женщин»? — ну, то-то...)

А еще — на нашем курсе училась Лена Майорова...

Я бы sluкавил, если бы сказал, что ее будущий взлет был виден в ту пору. Нет, — в ту пору видно было только, что в Ленке обитает огромный темперамент. Малоуправляемый, он даже немного пугал: в игру она включалась абсолютно, и поначалу больше восхищала самоотдачей, чем художественным результатом.

В дипломном спектакле по Николаю Островскому роли у Ленки не было вообще — одна реплика. Подавать ее студентка Майорова должна была фактически из-за кулис, просунутой в дверь головой.

Реплика была такая:

— Ребята, Ленин умер!

Студия находилась в подвале на улице Чаплыгина, — Ленка разгонялась от Большого Харитоньевского перулка. Вестник трагедии, по дороге умело роняя ведра, топотом маленьких ног она оповещала зрителя о размерах грядущего ужаса. Какие отношения связывали Майорову с ленинизмом, я не знаю, но находиться в узком студийном коридорчике, по которому с горящими глазами неслась Ленка, было опасно для жизни.

Силу ее включенности в игру мне однажды довелось испытать на себе, чуть ли не физически.

В спектакле «Маугли» я бегал в массовке — в стае. Ближе к финалу эта стая, наущаемая тигром Шер-ханом, шла, как полагается, убивать человеческого детеныша. На защиту Маугли — Смолякова вставала Багира — Майорова.

И говорила она нам, волкам, нечто вроде того, что, мол, вы можете убить его, но прежде умрут многие из вас... И обводя стаю взглядом, завершала эту панораму на мне (будучи скромного роста, в массовых сценах я всегда располагался на переднем плане).

И вот однажды декорации встали неточно, и телами товарищей-волков я был выдавлен гораздо ближе к пантере-Майоровой, чем это предполагалось мизансценой. Обводя своими синими, подведенными черным, глазищами нашу стаю, Майорова уткнулась наконец взглядом в меня — сидящего не в трех метрах, а перед самым ее носом.

Будучи живой, как жизнь, Ленка удивилась чрезмерной наглости этого не слишком крупного волка, зафиксировала на мне очень отдельный, не предусмотренный режиссурой взгляд, и чуть подалась вперед.

Скулы ее свело, глаза потемнели, и безо всяких слов стало ясно, что первым умрет вот этот, и прямо сейчас.

От Ленкиного взгляда меня пробило какое-то и впрямь животное чувство; я заскулил и начал судорожно отгребать передними лапами назад, в стаю. В зале засмеялись. Потом мы пытались этот эпизод закрепить, да ничего не получилось: актер я никакой.

Но этот потемневший взгляд помню до сих пор. Ей-богу, это была уже не вполне Майорова — ее качало на теплых волнах хорошее актерское безумие...

А вот еще одна «табакерская» легенда, вполне кровавая уже в самом реальном смысле слова.

Наш подвальчик был хорош, но невысок. Второго этажа прорублено в ту пору еще не было, и свои дипломные спектакли мы играли там, где в нынешней «Табакерке» сидят зрители. До потолка, таким образом, было рукой подать.

Рукой — это, как оказалось, полбеда.

Ныне народный артист России, а в ту пору просто студент Андрей Смоляков, Маугли наш темпераментный, в эффектной прыжке, не рассчитав инерции, врезался головой в швеллер — чугунную балку под потолком, на которой крепились осветительные приборы.

По счастью (довольно относительному, но все же), дело было перед финалом спектакля. Сойдясь со швеллером, Андрей продолжал что-то яростно кричать волчьей стае, которая начала выть от ужаса уже самым всамделишным образом: соломенные Андрюшкины волосы быстро набухали кровью; через минуту она ручьями потекла по голому смоляковскому торсу...

Зал тревожно загудел.

Во время сцены прощания с Маугли партнерам пришлось обнимать его крепче обычного: выдавая текст «на автопилоте», Смоляков помаленьку отключался...

Последней вышла провожать своего Маугли Мать-Волчица, Аня Гуляренко. Что было делать Анне? Только по правде, как учили. И она начала вылизывать кровь со смоляковского тела. В зале начались легкие обмороки. Поддерживая общее настроение, Смоляков, едва добравшись до закулисья, опустился на пол и немедленно потерял сознание.

— Скажите, — с надеждой спросила после спектакля одна дама, — но кровь-то — бутафорская?

— У нас в театре все настоящее, — отрезал Андрей Дроздин, постановщик пластики, новатор, а впоследствии безоговорочный классик театральной педагогики.

На амбразуру

Вышеупомянутая Мать-Волчица, Аня Гуляренко, была ленинградкой и советские проблемы с пропиской задумала решить советским же способом: через фиктивный брак.

Дело неожиданно осложнилось тем, что Аня была девушка весьма привлекательная, и из желающих ей помочь в решении жилищного вопроса быстро образовалась небольшая очередь. Полагаю, конкурсанты надеялись, что фиктивность сожительства как-нибудь, сама собою, со временем рассосется...

Не скрою, готов был поучаствовать в этом конкурсе и я.

Предложил свою кандидатуру и Гриша Гурвич — впоследствии культовый режиссер, создатель театра «Летучая мышь», сверкавшего на московском театральном горизонте в девяностых, вплоть до трагической Гришиной кончины...

А начинал Гриша свое восхождение в нашем подвале, написав блестящие зонги к «Маугли».

Так вот: когда юный толстый Гурвич предложил свою кандидатуру на роль Аниного мужа, Аня отказалась — и, может быть, сделала это чересчур поспешно и категорично.

И Гриша сказал:

— Ну вот, я лег на амбразуру, а пулемет не работает...

*Будь ты мал иль стар,
Будь ты сер иль сед,
Но закон всех стай —
Будь во всем, как все.
Будь хитер — как все!
Будь матер — как все!
Ты один из ста —
Вот закон всех стай.
Если лжив — как все,
Если тверд — как все,
Если жив — как все,
Если мертв — как все!
Этот злой наказ
Повтори сто раз:
Я — один из вас,
Я — один из вас,
Я какой-то один из вас...*

Эти стихи к нашему спектаклю написал двадцатилетний Григорий Гурвич.

В семидесятых я думал — это про «совок». Сегодня понимаю: про любое время и любое место...

Спектакль «Холстомер»

...привезенный товстоноговским БДТ на московские гастроли летом 1977 года, лошадиной темой озадачивал заранее: у входа в сад «Аквариум» дежурила конная милиция!

Назвать происходившее ажиотажем — значит не сказать ничего. Отчаявшись стрельнуть билетик, московская интеллигенция шла на прорыв билетерских кордонов. Никакие корочки не действовали — по крайней мере, никакие из тех, которые я мог себе представить.

От безысходности ошалевали выдавшие виды администраторы. При мне человек в окошке отшил какую-то бабушку с удостоверением. Бабушка оказалась Анастасией Платоновной Зуевой (см. стихотворение Пастернака). Администратора чуть не убили.

Нам, первокурсникам, ловить тут было нечего.

Потыкавшись на шармачка, мы заходили с тыла: пытались обаять у служебного входа актеров БДТ.

— Ничем не могу... — виновато улыбаясь, отвечал грузный Павел Панков, — ребятки, ничем не могу...

Но мы смогли сами!

В день следующего спектакля четверо смелых — Саша Марин, Витя Никитин, Игорек Нефедов и я — в два пополудни подстерегли на задворках театра, в Благовещенском переулке, грузовик с декорациями «Холстомера».

Шофер получил трешку, и через минуту мы были в кузове. А еще через две минуты — въехали во двор театра имени Моссовета, и наглово покрикивая на рабочих сцены, начали подавать им из грузовика детали декораций.

С последними кусками декораций мы просочились на сцену и через зал ломанули в фойе, а оттуда на самый верх, в мужской туалет, — где и провели несколько часов в ожидании заслуженного чуда...

Петя и Шекспир

Однажды мой товарищ по табачковской студии — назовем его Петей — пришел на экзамен по предмету «зарубежный театр». А принимал экзамен профессор, один из крупнейших знатоков эпохи Возрождения. Назовем его — Алексей Вадимович Бартошевич (тем более что так оно и было).

И вытащил Петя билет, и достался Пете — Шекспир. А Петя про Шекспира знал примерно столько же, сколько Шекспир про Петю. То есть они были примерно на равных.

В отличие от Бартошевича, который про Шекспира знает чуть больше, чем Шекспир знал про себя сам.

И вот они сидят друг против друга (Петя и профессор Бартошевич) и мучаются. Петя — потому что дело идет к двойке, а Бартошевич — потому что, если он эту двойку поставит, Петя придет к нему снова. А он его уже видеть не может.

И оба понимают, что надо напрячься, чтобы встреча стала последней. И Бартошевич говорит:

— Петя! Я сейчас задам вам вопрос на тройку. Постарайтесь ответить.

И спрашивает самое простое (по своему разумению):

— Как звали отца Гамлета?

Петя напрягает все свои душевные силы и в каком-то озарении отвечает:

— Клавдий!

Алексей Вадимович Бартошевич вздрогнул. Потом немного подумал. Потом удивился и сказал:

— Возможно.

И поставил Пете тройку.

Заметки фенолога

Дело было в Щукинском театральном училище.

На экзамен по изобразительному искусству к профессору Бродскому пришел студент Веселкин. Профессор не ожидал от Веселкина больших глубин. Он сразу попросил добром:

— Назовите одну картину Васнецова.

Веселкин ответил вопросом на вопрос:

— Грачи прилетели?

— Прилетели, — вздохнул Бродский и поставил ему тройку. — Идите.

— это горнолыжный курорт в Армении, куда мы с моим приятелем Мишкой попали по большому благу весной 1978-го. Кататься мы не умели, а я так и горных лыж не видел никогда!

Решили — научимся на месте.

Разница в методиках обнаружилась сразу: Мишка запасся самоучителем с картинками и, засев в номере, погрузился в теорию (помню оттуда слово «авельман», вполне созвучное Мишкиной фамилии).

А я взял в прокате лыжи и пошел на подъемник.

«На таланте-с!»

Начало катания мне очень понравилось. У выхода с подъемника, на самой вершине, вырастая из горного гребня, торчало кафе с названием типа «орлиное гнездо». Внутри наливали терпкий кофе, а снаружи, прямо от нагретой солнцем стены, уходил вдаль и вниз нечеловеческой красоты пейзаж...

Золотая советская молодежь, обитавшая на этих бластных склонах (Цахкадзор был олимпийской базой, и абы кому сюда было не попасть), добавляла в кофеек для сугреву бальзам или водочку — и, выйдя наружу, изящно нарезала траверсы в сторону долины...

Потом золотая молодежь возвращалась на подъемнике в гнездо и делилась пренебрежительными впечатлениями от трассы.

— Нет, ну не Альпы, конечно...

— Да и не Татры...

— Разве здесь катание?

Наслушавшись, я наконец решил приступить собственно к катанию, для чего выпил чашечку кофе с бальзамом, вышел наружу и прицепил к ногам лыжи. На этом мое следование теории завершилось.

Дальше пошло на таланте.

Я оттолкнулся и покатил вниз.

Несколько секунд весь склон смотрел на меня с огромным уважением, переходящим в ужас. Потом, на хорошей скорости, я въехал на каменную россыпь и, разбрасывая по пространству инвентарь, начал собирать на себя пейзаж...

Одну прокатную лыжу мне привезли с самого низу, за другой я, с трещиной в ноге, шел к началу гряды наверх — упорный, как альпинист из фильма «Вертикаль».

Через час я доковылял до номера, где друг Мишка, сидя на кровати с самоучителем, осваивал «авельман».

Наутро я снова приковылял к «гнезду» (уже без лыж) и, раздевшись по пояс, сел у нагретой солнцем стены с видом на Кавказский хребет. О кататься не шло и речи, но мне было девятнадцать лет, и мало что могло расстроить меня всерьез.

Я кайфовал, попивая кофе с бальзамом, который здесь наливали, невзирая на степень заслуг перед горнолыжным спортом, а золотая молодежь аккуратными траверсами спускалась в долину и возвращалась на подъемнике, скептически замечая:

— Неплохо, но...

И далее по тексту про Альпы.

И когда две девицы поинтересовались у меня, сидящего у стенки с вытянутыми треснутыми ногами, почему я не катаюсь, мой язык выдал формулировку «на автомате»:

— Да ну, — сказал я, — разве здесь катание?

И до конца каникул, как ящерица, неподвижно грелся на цахкадзорском солнце, и меня страшно уважали!

Из всех искусств...

важнейшим, конечно, являлось документальное кино!

Кинотеатр «Пушкинский» назывался в ту пору «Россия»; слева внизу располагался Малый зал, и в этом зале несколько недель напролет шел документальный фильм о жизни Ленина в Цюрихе в 1916 году.

Какое это было чудесное кино! Особенно если в девятнадцать лет, за десять копеек, сесть в последний ряд пустого зальчика не одному, а с девушкой, интересующейся биографией Ильича так же остро, как ты...

Лента шла минут двадцать пять. На мой вкус, коротковато. Лучше им было не зажигать свет вообще. Впрочем, почти тут же начинался новый сеанс, и гривенника на такое познавательное дело было не жаль...

В полном согласии с опытами академика Павлова, всякое упоминание о жизни Ильича в Цюрихе еще долгие годы вызывало у меня эрекцию.

Фамилию я знал, и синий ущербный томик из «Библиотеки поэта» стоял на книжной полке, но до поры до времени все это словно проходило сквозь меня... Я услышал стихи Мандельштама — именно услышал! — в семьдесят седьмом году, от Константина Райкина, молодого актера театра «Современник» и педагога табаковской студии.

За гремучую доблесть грядущих веков... —

Костя читал нам это, совмещая репетиционный процесс с миссионерством. Он же, помню, поразил меня простым сравнением пушкинской судьбы и судьбы Мандельштама. И ханжество советской пушкинистики, с ее инвективами царскому режиму, травившему поэта... и далеко заводящие обобщения... и холодок в груди от постепенно приходящего понимания, в какой стране живешь... — все это случилось со мной в те годы.

Конспиративное прощание

Моя однокурсница по «Табакерке», Оля Топилина...

Она играла Валентину в лирическом отрывке из рощинской пьесы, и многие студенты (да, думаю, и педагоги) хотели бы оказаться на месте ее партнера: Оля была очень хороша. Сейчас это называется сексапильность, — мы этого слова не знали, а просто обмирали оптом и в розницу.

В восемнадцать лет наша обожаемая Топила вышла замуж за сына известного диссидента.

Говорят, за любовь надо платить. За любовь с отпрыском еврейского отказника русская девочка из Реутова, сирота и красавица, заплатила без скидок. В конце семидесятых она получила отказ в прописке на жилплощади законного мужа с исчерпывающей формулировкой: «на основании действующего положения».

Насчет «положения» советская власть попала в точку: Оля была на девятом месяце.

Отказ в прописке был предпоследним «прости» от Родины. Последним — стала весточка из ОВИРа, ждавшая ее по возвращении из роддома. Советская власть извещала Олю и ее мужа о том, что им разрешено выехать, но сделать это надо немедленно.

Им дали две недели, и они уехали — с семнадцатидневным ребенком, почти без вещей, без ничего.

На Олькины проводы мы собирались конспиративно, инструктируя друг друга, что идем прощаться с однокурсницей, а про мужа-диссидента ничего не знаем: репетировали допрос...

От работы Олег Павлович отказываться не умел, и пересечение графиков остановить его не могло. Табаков играет в Праге, Табаков ставит в Хельсинки, Табаков преподает в Штатах, снимается у Михалкова, набирает курс, директорствует в «Современнике» — и все это одновременно!

В спектакле «Балалайкин и Ко» он играл заглавную роль, но появляться на сцене должен был только во втором акте. «Современник» находился в минуте лихой табаковской езды от Дворца пионеров... Табаков, разумеется, совмещал — и однажды досовмещался!

Сидим мы, стало быть, в переулке Стопани, Олег Павлович ведет занятие — этюд, разбор... Время от времени, не прерывая процесса, он набирает телефонный номер и тихо говорит в трубку:

— Это Табаков. Какой там текст?

Звонит он на вахту «Современника», и вахтерша повторяет ему то, что слышит из трансляции со сцены.

— Еще этюд, — говорит нам Табаков. И увлекается разбором...

Короче: в очередной раз Олег Павлович услышал из телефонной трубки нечто такое, отчего, не простившись, пулей вылетел в дверь. Если я не ошибаюсь, это была реплика на его выход.

Одноименный спектакль этот, по Салтыкову-Щедрину, с самого начала был предприятием рискованным: слишком много совпадений с эпохой имперского застоя вдруг обнаружилось у эпохи развитого социализма...

Но Георгий Товстоногов был опытный тактик и начал заранее обкладывать острые углы ватой.

Писать инсценировку позвали — Сергея Михалкова! Собственно, никаких литературных усилий от гимнописца не требовалось (инсценировку театр сделал своими силами) — требовалось от Сергея Владимировича дать свое красное знаменное имя в качестве охранного листа, с последующим получением авторских.

На это лауреат и подписался.

Как оказалось впоследствии, несколько опрометчиво.

На сдачу спектакля Михалков пришел, обвешанный наградами, — это было частью круговой обороны. Ко встрече с комиссией Товстоногов вообще подготовился основательно; над зеркалом сцены метровыми буквами было написано: «Без Салтыкова-Щедрина невозможно понять Россию второй половины XIX века. М. Горький».

И, значит, никаких вопросов к современности!

Но проверяющие были тертыми калачами и запах свободной мысли чуяли за версту. Вопросы у них возникли, и по ходу спектакля эти вопросы начали помаленьку переходить в ответы, если не в оргвыводы...

Просмотр завершился, в полупустом зале зажгли свет.

— Ну, — в напряженной тишине произнес наконец один из экзекуторов, — может быть, автор хочет что-нибудь сказать?

И, за неимением в зале Салтыкова-Щедрина, все повернулись к Михалкову.

Герой Социалистического труда, неожиданно для себя оказавшийся автором антисоветского произведения, сидел весь в орденах, но уже понимал, что звездочки могут и отвинтить...

— Сергей Владимирович, — вкрадчиво повторило начальство, — какие у вас впечатления от спектакля?

И Михалков сформулировал свои впечатления.

— Д-да-а... — сказал он. — Такой п-пощечины царизм еще не п-получал!

Вставай, проклятьем заклеяменный...

В конце спектакля «Большевики» Совнарком в полном составе вставал и пел «Интернационал». Вставал и зрительный зал «Современника». А куда было деться?

Впрочем, я, молодой дурак, вставал, помню, совершенно искренне.

А отец моего друга, Владимира Кара-Мурзы, — не встал.

Спустя несколько минут, уже на площади Маяковского, к нему подошли двое и поинтересовались: чего это он не встал?

Кара-Мурза объяснил, и его арестовали.

Вот такая волшебная сила искусства...

Только спокойствие!

Не знаю как «Интернационал», а гимн СССР желающие могут сегодня найти на сайте рингтонов, звонков для мобильных телефонов...

В разделе «Спокойная музыка».

Где мак?

В станционном буфете, у стойки, стояла женщина и разглядывала кусочек, оставшийся от съеденной булочки.

— Где же мак-то? — наконец она спросила.

— Чево? — не поняла буфетчица.

— Я говорю: где же мак-то? Я уж почти всю булочку съела, а мака так и нету...

— Не знаю, — отрезала буфетчица. — У меня все булочки с маком!

— Так вот мака-то нету. Я-то ем, ем, все думаю: мак-то будет когда?

— А ты посмотри, может, он в конце там, — обнадежил кто-то из сочувствующих.

— Да чего ж смотреть, уж ничего не осталось! — в сердцах крикнула женщина. — Нету мака-то!

Этот диалог дословно записал мой отец. Год на дворе стоял — семьдесят девятый. Что мака не будет, было, в общем, уже понятно...

Так здоровее!

В инструкции по проведению производственной гимнастики, в Радиотехническом институте, было сказано: «Во избежание обрушения лепнины вместо упражнения “бег на месте” производить упражнение “бег на месте без участия ног”».

Лепнина, однако, все равно отваливалась, и основы дрожали под ногами...

В театре «Современник» шел ночной просмотр фильма Анджея Вайды «Человек из мрамора». Зал, привыкший к аншлагам, был забит под завязку. История рабочего парня, обманутого и преданного Компартией, — в центре Москвы, пускай ночью и один раз, но абсолютно легально!

Год был, наверное, восемьдесят третий — во всяком случае, точно до Горбачева. Советская власть давала трещину прямо на глазах...

Как заголялась сталь

В начале восьмидесятых один студент ГИТИСа нанялся ночным сторожем в музей Николая Островского.

Студент был не дурак: работа не бей лежачего (чуть ли не в прямом смысле), зарплата — семьдесят целковых, внизу — ресторан Дома актера... Но, всей этой синекурой не ограничившись, студент на время своих посиделок в ресторане начал сдавать кровать Николая Островского проституткам с Тверской.

По трешке за сеанс.

Ту самую кровать, где было написано про жизнь, которая дается человеку один раз.

Студент хлопотал насчет приработка, а метафора сложилась сама.

Вышеупомянутый ресторан был частью родного для нас Дома актера. Дом этот сгорел в ужасном пожаре в 1988 году, но и сегодня, сквозь стеклянный куб торговой галереи, я вижу призраки тех коридоров и гостиных.

...Конец семидесятых; Давид Самойлов читает стихи — маленький, крепкий, в огромных лупах-очках. Просят что-нибудь из нового; он некоторое время копается в листках — вот это!

«Но зато — дуэт для скрипки и альты!»

Я слышал едва ли не первое исполнение этого классического стихотворения...

Легкость самойловского ума.

— Почему вы, москвич, живете в Пярну?

Секундная пауза.

— Давайте я вам лучше расскажу анекдот.

И Самойлов рассказывает анекдот про английского лорда, который каждый вечер приходил в гости к другому лорду. Они курили трубки, пили кофе... И так каждый день, двадцать лет подряд. И вот однажды — шесть вечера, а его нет. Семь вечера, восемь... В девятом часу встревоженный хозяин велит запрягать и едет узнать, что случилось.

Приятель сидит дома один — курит трубку, пьет кофе.

— Сэр! Почему вы не у нас? Что случилось?

— Знаете: надоело!

Смех в зале на это «надоело» — совсем не по английскому адресу...

Другой вечер, другой классик — Рита Райт-Ковалева. Переводчик — в ее случае слово недостаточное: сэлинджеровский Холден заговорил на таком поразительном, живом русском языке, которого еще не было и здесь!

Она рассказывает о тех, кого знала близко: Володя, Аня, Боря, Осип... — и дух захватывает от гула времени. Вот же оно, рядом, в одном касании!

На вопрос, кто ей нравится из пишущих сегодня:

— Русский поэт Иосиф Бродский, в настоящее время живущий в Швеции.

Рита Яковлевна ошиблась с географией: в Швеции Бродский гостил, а жил все-таки в США. Я узнал все это гораздо позже, а тогда — надо бы, думаю, запомнить: Иосиф Бродский!

Год на дворе — семьдесят восьмой.

Маршал Кориолан

В театры я проходил по студенческому билету, но на галерку не шел, а, дождавшись темноты, пробирался в партер, где всегда были свободные места из невыкупленной «брони».

Таким образом я оказался и в партере театра Моссовета, где ереванский театр играл шекспировского «Кориолана» — на армянском языке, с русским переводом. Я прополз по темному проходу, нащупал высмотренное заранее свободное кресло, сел и стал шарить руками в поиске наушников.

— Держите, — с легким акцентом сказал голос рядом.

— А вы? — шепнул я.

— Мне не надо.

И я надел наушники.

Хорен Абрамян был замечательным Кориоланом — огромным, страстным...

В антракте зажегся свет, и весь партер, по преимуществу, разумеется, состоявший из московских армян, вдруг повернулся в мою сторону и стал кланяться, улыбаться, воздевать руки и слать приветы.

Секунд пять я пытался вспомнить, чем мог заслужить такую любовь армянской общины, прежде чем догадался, что знаки внимания адресованы не мне, а человеку рядом со мной — тому, который отдал мне наушники.

Я обернулся. Это был маршал Баграмян.

Как я был палестинским беженцем

Это со мною случилось, кажется, в семьдесят седьмом году. Режиссер Колосов снимал телефильм про то, как его жена, народная артистка Касаткина, будучи советским корреспондентом, гибнет в Бейруте.

Бейрут нашли в Троицком переулке — там были такие развалины, что никаких бомбежек не надо. Подожгли пару дымовых шашек, вот тебе и Бейрут!

Палестинских беженцев подешевле набрали в Институте культуры, и в ясный весенний день, за три рубля, я несколько раз сбегал из дымящихся развалин на тротуар, а народная артистка Касаткина за моей спиной раз за разом принимала смерть от израильской военщины.

Израильской военщиной были несколько здоровенных грузин, найденных ассистентами режиссера там же, в Институте культуры. И в целом тоже — очень правдивое получилось кино...

Не стрелять!

К концу семидесятых табачовская студия была на первом пике популярности: барыги в подворотне продавали бумажки-пропуски на наши дипломные спектакли — по пять рублей!

Табачов мечтал сделать из курса театр, он нажимал на все рычаги, и в один прекрасный день в студийном подвале появился министр культуры Петр Нилович Демичев.

Его появлению предшествовали изменения в пейзаже. С утра все подъезды к улице Чаплыгина были перекрыты, а к обеду пожаловала демичевская охрана. (От кого, кроме Суслова с Андроповым, нужно было охранять Петра Ниловича — ума не приложу, но ему полагалось.)

Детинушки из «девятки» оккупировали наш подвал — залезали под стулья, копались в вентиляции, обшарили склад декораций... Их было человек, кажется, шесть или семь.

Один сразу прошел в комнату, отведенную для отдыха товарища Демичева, и начал доводить ее до кремлевских кондиций: протер зеркала, постелил белоснежную скатерть; ближе к вечеру в эту комнату доставили чемоданчик-холодильник с водой и фруктами; каждый персик был обернут в отдельную салфеточку. Я видел этот коммунизм своими глазами.

На случай, если товарищ Демичев, не выходя из подвала, пожелает поговорить с товарищами по строительству св. будущего, человек в штатском что-то сделал с нашим телефоном, и телефон начал разговаривать самостоятельно. А именно: когда студент Леша (ныне заслуженный артист России Алексей Якубов) снял трубку, чтобы позвонить домой, трубка неприязненным мужским голосом велела себя положить и больше не трогать.

Старшим среди охранников был здоровенный и, надо сказать, обаятельный дядька монголоидного типа. Его-то режиссер спектакля Константин Райкин и начал готовить к особенностям предстоящего зрелища (а играть мы должны были «Маугли»).

— Они побегут прямо на зал, и в этот момент начнет гаснуть свет, — предупреждал Райкин. — Не стреляйте в них, пожалуйста. Потом над головами пролетит полуголый на канате — это тоже не покушение...

Дядька кивал, улыбаясь.

Потом начали собираться зрители. Кроме Петра Ниловича и его партийной шарашки, случайных людей в тот вечер в зале не было — только мамы-папы, родственники и друзья. Дрознин, стоя в дверях, каждого входящего представлял дядьке-охраннику персонально. Дошло до драматурга Малягина, чью пьесу мы в ту пору репетировали.

— Это наш автор, — сказал Дрознин.

— Киплинг? Проходи.

Так и не понял: шутил охранник или нет?

Ближе к спектаклю люди в штатском активизировались и по очереди заглянули в женскую гримерную. Потом они разошлись по своим точкам: один остался во дворе, другой за кулисами, — а вот третий...

Этот Третий, со своим перешибленным носом и оловянными глазами, впечатление производил, прямо сказать, жутковатое. Сел он по центру в первом ряду, и я сразу понял, что он будет охранять товарища Демичева — от меня.

Я уже упоминал одно драматическое обстоятельство моей биографии: из-за скромного роста во всех массовых мизансценах я находился впереди. И вот, медленно подняв глаза, чтобы вместе с другими волками-студийцами через секунду рвануться на зрителей, я наткнулся на оловянные глаза бойца из «девятки». В них стояла полная боевая готовность.

Нас разделяло три метра. За спиной бойца сидел Демичев.

Я успел вспомнить, что Райкин предупреждал о «волчьей атаке» начальника охраны, но предупредил ли тот — этого? Я понял, что сейчас выясню это опытным путем. Я успел увидеть полные симметричного ужаса глаза Леши Якубова, и всей стаей мы рванули на члена Политбюро.

До сих пор не понимаю, как выжил.

На дворе стоял восьмидесятый год. Мы хотели славы и свободы, мы были волками и скакали обезьянами. В темноте зрительного зала, в третьем ряду, поблескивали очки Петра Ниловича Демичева, министра культуры с химическим образованием.

Театр Табакову дали, но это случилось только через семь лет, уже совсем в другой эпохе...

...А однажды в «Табакерку», и тоже на «Маугли», пришли Джессика Тенди и Хьюм Кронин, знаменитая бродвейская пара.

Ромео и Джульетту они играли чуть ли не до войны, а на гастроли в СССР приехали в 1980-м, и одно это уже выдавало в них некоторую оторванность от политических реалий.

Пожилым бродвейцам наш спектакль очень понравился. Маленькая Джессика, прослезившись, говорила, что хочет снова быть молодой и играть вместе с нами; Хьюм, высокий жилистый старикан, оказался человеком гораздо более практичным.

Он сказал, что все это покупает.

При этих словах г-н Кронин обвел пальцем пространство нашей студии — со всем реквизитом, студийцами и самим Табаковым.

Засим г-н Кронин конкретизировал предложение: переезд в Америку, год на Бродвее, тур по Европе... А на дворе стоял восьмидесятый год: «афган», бойкот Московской Олимпиады и советские ВВС уже готовятся сбивать корейские авиалайнеры...

Олег Табаков, человек, значительно менее оторванный от этих реалий, мягко заметил бродвейскому мечтателю, что предвидит сложности с выездом такого количества советских студентов на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки...

Хьюм ответил:

— Никаких сложностей. С Госдепом я договорюсь!

Госдепартамент США, три ха-ха. Этот марсианин не знал, что такое «выездная комиссия»... Олег Табаков, как мог, ознакомил коллегу с обстановкой на шарики. Опечаленный политинформацией американец спросил, не может ли он сделать нам какой-нибудь подарок.

Табаков честно ответил: может.

Через несколько месяцев Олега Павловича пригласили в американское посольство и передали презент от г-на Кронина: роскошный звукооператорский пульт. Этот царский подарок служил студии многие годы.

Спустя почти двадцать лет Джессика получила «Оскара» за главную женскую роль в фильме «Шофер мисс Дейзи». Ей было уже за восемьдесят. Весть о ее смерти и смерти Хьюма (он умер совсем недавно, глубоким стариком) неожиданно сильно опечалила меня.

Хорошим людям жизнь к лицу...

Джинсы — быть!

Вместо года на Бродвее советская власть разрешила нам двухнедельные гастроли в Венгрии — низкий ей поклон!

В последних числах мая 1980 года я шагал по Будапешту — свободный, как перышко в небе. Мне нравился Будапешт, но еще больше нравилась нежданная свобода. Я брел, куда глаза глядят, и набрел на лавочку, в витрине которой штабелями лежали джинсы. Не сваренный в кастрюле подольский «самострок», а натуральный американский «левайс»!

Ровесники поймут мои чувства без лишних слов, а молодежи все равно не объяснить. Джинсы!

Я судорожно захлопал себя по карманам — все мои хилые форинты остались в гостинице. Сердце екнуло, но интеллект работал, как часы. Я подошел к ближайшему углу и записал название улицы. Я вернулся к джинсам и записал номер дома. Я идентифицировал место на карте — и рванул в отель.

Выбегая оттуда уже с форинтами в кармане, я столкнулся в дверях с Катариной, нашей переводчицей и гидом.

— О, Виктор! — обрадовалась она. — Как хорошо, что вы тут! Мы идем музей: Эль Греко, Гойя...

Какой Эль Греко — «леваисы» штабелями!

Я, как мог, объяснил Катарине экстремальность ситуации.

— Джинсы — завтра, — ответила она.

И тут я Катарину напугал:

— Завтра может не быть.

— Почему не быть?

В глазах мадьярки мелькнула тревога. Может быть, я знаю что-то о планах Варшавского Договора? Почему завтра в Будапеште джинсам — не быть?

Но я не был похож на человека из Генштаба, и Катарина успокоилась.

— Быть! — уверенно сказала она. — Завтра джинсы — быть! А сейчас — музей...

Репутация культурного юноши была мне дорога, и я сдался. И пошел я в музей, и ходил вдоль этого Эль Греко, а на сердце скребли кошки, все думал: ох, не достанется... расхватают... закроют!

Но Катарина была права — джинсы «быть» в Венгрии и назавтра. На каждом углу и сколько хочешь. Я носил их лет пятнадцать.

Среди вещей, поразивших меня в той поездке, были пакеты молока и батоны хлеба, выставленные ночью перед дверями продуктовых магазинов для нужд припозднившихся мадьяр, — с чашечками для мелочи, стоящими рядом! Это был мираж коммунизма...

Поразили маленькие частные ресторанчики, работавшие по ночам. Мысль о том, что в девять вечера жизнь не прекращается, согревала душу советским теплом.

К хорошему привыкаешь быстро, и с жадностью мальчика, оторвавшегося от родителей, я перешел на полуночный режим. Моих форинтов хватало только на чашечку кофе и бутерброд, но понтов было немерено.

Однажды, часу в одиннадцатом вечера, я сидел в кафе, глядел на иллюминированный Дунай и марал бумагу — и вдруг очнулся от непривычной тишины. Я оглянулся: в кафе никого не было; полы были вымыты, и стулья стояли на столах ножками вверх. Стул стоял и под веревочкой, натянутой поперек входа. Две женщины, хозяйка заведения и официантка, негромко разговаривали у стойки.

Я вопросительно постучал по циферблату, и хозяйка виновато развела руками.

Кафе давно не работало! Они ждали — меня.

Я чуть не заплакал. В Москве уборщицы начинали махать вонючими тряпками перед носами посетителей за полчаса до закрытия...

«Короля играют придворные». В Будапеште, чуть ли не в первый раз в жизни, я подумал, что заслуживаю уважения, — просто так, самим фактом существования на белом свете.

Мои контакты с польской оппозицией

В ту пору мне было двадцать с небольшим, и у меня была девушка, и я ее любил, что не мешало мне хотеть всех ее подруг, а заодно и всех остальных девушек в метро и на улице. Темперамент, как сказал бы Маркс, входил в антагонистическое противоречие с воспитанием.

И воспитание побеждало (увы).

А было оно, признаться, довольно старорежимным: не то чтобы «взялся за руку — женись», но... В общем, нехитрая мысль о том, что котлеты бывают отдельно, настигла меня только на излете юности. И как раз в Будапеште.

Мы жили в Буде, в комсомольской гостинице, набитой соцлагерной молодежью. В один прекрасный вечер я танцевал на дискотеке с одной прекрасной пани, и очень скоро мы дотанцевались до ночного сквера возле Дуная. Был конец мая и всякое такое...

Главная удача заключалась в том, что пани ни слова не понимала по-русски, а я по-польски. Я не обязан был говорить про Тарковского и Любимова! На пальцах мы с девушкой выяснили, что завтра утром она уезжает в свой портовый Щецин, — и больше наши пальцы на подсчеты не отвлекались. С той ночи я знаю несколько польских слов — по-моему, самых главных...

Я возвращался в Москву, рефлексирова из последних сил. Мозги делали какие-то воспитательные усилия, но сердце не признавало вины. Я был поражен собственным бесчувствием и думал, что я, наверное, законченный негодяй. Но сердце было счастливо...

Через полгода пани написала мне письмо — на трогательном, корявеньком русском языке. Родители переслали это письмо в Забайкалье, куда, не видя другого применения, отправила меня Родина. Замполит Ярошенко тряс у меня перед носом синим нерусским конвертом и требовал всей правды о моих контактах с польской оппозицией.

На дворе стоял декабрь 1980-го — портовый Щецин, где жила моя пани, был охвачен забастовкой, Польша стояла в двух шагах от ввода советских войск...

Если бы я был романист, я бы придумал этот ввод войск, чтобы герой повествования, в форме советского танкиста, встретился с *нею*...

Но я не романист. Синий конверт с обратным адресом лежит где-то в ящиках стола — можно написать и даже подъехать. Предположим, и адрес не изменился... Выйдет навстречу пожилая женщина — наверное, располневшая, может быть, некрасивая... Еще, не дай бог, начнем-таки разговаривать. О чем?

Нет, нет, нет! Май 1980-го, ночной сквер в Будапеште, тонкие прохладные пальцы, несколько главных польских слов. Лучше не будет.

«Дядюшкин сон» в Забайкалье

Ночь в майском Будапеште вполне могла оказаться последним романтическим эпизодом в моей жизни.

...Начало 1981-го, Забайкальский ордена Ленина, мать его, военный округ. Я здесь уже несколько месяцев. Я мало сплю, плохо ем и круглые сутки работаю не по специальности. В живых меня можно числить с некоторой натяжкой.

И вот однажды — возвращаюсь из наряда в казарму и слышу за спиной знакомый женский голос. Оборачиваюсь: сержанты и «деды» сидят перед телевизором, а в телевизоре красивая молодая женщина в вечернем платье не из этого века говорит что-то совершенно родным голосом.

Только через несколько секунд я понимаю, что красавица в телевизоре — это Лена Майорова из нашей «табакерки».

— Ой! — сказал я. — Ленка!

«Деды» обернулись. Я стоял, не в силах отвести глаз от телевизора.

Майорова и великий Марк Прудкин играли «Дядюшкин сон» Достоевского. А я уже полгода жил в ротном сортире, где чистил бритвой писсуары. Ее голос был сигналом, дошедшим до меня сквозь черный космос из далекой родной цивилизации...

— Обурел, солдат? — поинтересовался кто-то из старослужащих. — Какая Ленка?

— Майорова, — ткнув пальцем в сторону экрана, объяснил я. Я не мог отойти от телевизора. Это был глоток из кислородной маски.

«Деды» посмотрели на экран. «Я прошу вас, князь!» — низким прекрасным голосом сказала высокая красивая женщина в белом платье с открытыми плечами...

— Ты что, ее знаешь? — спросил старослужащий.

— Да, — ответил я. — Учились вместе.

«Деды» еще раз посмотрели на женщину на экране — и на меня.

— Пиздишь, — сопоставив увиденное, заключил самый наблюдательный из «дедов».

— Честное слово! — поклялся я.

— Как ее фамилия? — прищурился «дед».

— Майорова, — сказал я.

— Майорова? — уточнил «дед».

— Да.

— Свободен, солдат, — сказал «дед». — Ушел от телевизора!

(Справка для женщин и невоеннообязанных: приказы в армии отдаются в прошедшем времени. «Ушел от телевизора!» — не выполнить такой приказ невозможно, ибо в воображении командира ты уже ушел. А за несовпадение реальности с командирским воображением — карается реальность.)

И я ушел от телевизора и, спрятавшись за колонну, в тоске слушал родной голос... Первая часть телеспектакля закончилась, и по экрану поплыли титры: «Зина — Елена Майорова»...

— Солдат! — диким голосом крикнул «дед». — Ко мне!

Я подбежал и столбиком встал у табуреток. Старослужащие смотрели на меня с недоверием и, на всякий случай, восторгом.

— Ты что, правда ее знаешь? — спросил наконец самый главный в роте «дед».

— Правда, — сказал я. — Учились вместе.

— Ты — с ней?

Диалог уходил на четвертый круг. Поверить в этот сюжет они не могли. Впрочем, после полугода жизни в ЗабВО им. Ленина я и сам верил во все это не сильно.

— Красивая баба, — сказал «дед», буровя меня взглядом.

— Очень, — подтвердил я.

«Деды» продолжали испытующе рассматривать меня. Прошло еще полминуты, прежде чем злой чечен Ваха Курбанов озвучил наконец вопрос, все это время одолевавший дембелей:

— Ты ее трахал?

— Нет, — честно доложил я.

Тяжелый выдох разочарования прокатился по казарме, и дембельский состав потерял ко мне всякий интерес. С таким идиотом, как я, разговаривать было не о чем.

— Иди, солдат! — раздраженно кинул самый главный «дед». — Иди, служи.

Служба в ЗабВО имени Ленина могла завершить мою жизнь самым немудреным образом: гибли мы там регулярно. Но рулетка остановилась не на мне, и я вернулся домой, переполненный впечатлениями от этой марсианской командировки.

О возвращении чуть позже, а пока — о курсанте Керимове.

Начну, однако, с затакта...

Армия — вообще местечко не для эстетов, но в моем случае перепад был совершенно трагикомическим. До Читы мои впечатления о советском народе основывались, по преимуществу, на московских интеллигентах из родительского застолья и табачковой студии.

А добрый Олег Павлович, балуя нас, как балуют только первых детей, кого только в наш подвал не приводил! Бывал в студии первый мхатовский завлит Павел Марков («Миша Панин», молодой человек с траурными глазами из булгаковского «Театрального романа!»); Катаев пробовал на нас «алмазный свой венец» — устный вариант этой повести я помню отлично; приходили Ким и Окуджава...

Высоцкий пел в «табакерке»; пел, что называется, на разрыв аорты — по-другому не умел. Жилы на шее вздувались и натягивались хрипом-голосом, лицо становилось красным — помню, было немного тревожно и даже страшновато за него. Но понимания уникальности явления, кажется, не было: ну, Высоцкий и Высоцкий... Мы тут сами гении! (Кто ж не гений в восемнадцать лет?)

Даже немного обиделись, когда, пропев два часа напролет, Владимир Семенович отказался выполнить новую череду «заказов»: простите, ребята, у меня вечером спектакль, голоса не будет совсем!

Володин во дворе нашей студии... Товстоногов, Питер Брук и Олег Ефремов — в зрительном зале... Аркадий Райкин, принимающий по Костиной протекции в своем доме, в Благовещенском переулке... Райкинская библиотека, с автографами Чарли Чаплина и английской королевы...

Все это я рассказываю для того, чтобы вы лучше поняли уровень ментальной катастрофы, пережитой мною во время встречи с курсантом Керимовым. Судьба свела нас за одним столом внезапной армейской зимой 1981 года.

За этим столом, кроме меня и Керимова, сидели еще восемь новобранцев из нашего отделения, а столовая выходила на плац образцового мотострелкового полка, входившего в состав образцовой мотострелковой дивизии, — в образцовом Забайкальском имени Ленина, мать его, военном округе, под Читой.

В этой дивизии когда-то служил Леонид Ильич Брежнев, и мы были обречены на образцовость до скончания его дней (впрочем, ждать оставалось уже недолго).

Как я тут оказался? Как все. В Институте культуры не было военной кафедры, а мой отец скорее бы умер, чем попытался дать «на лапу» военкому или кому-то еще.

Остается объяснить курсанта Керимова на лавке напротив. Тут все еще проще: взводы набирались по росту, и мне достался... нет, лучше сказать, я достался четвертому, узбеко-азербайджанскому, взводу. Я был единственным русским в третьем отделении этого взвода, извините.

И вот сидим мы, десять лысых дураков, за столом — и осуществляем, говоря уставным языком, «прием пищи». Причем принимают пищу девять человек, а десятый (я) на них смотрю. Теоретически (по уставу) пищи должно было хватать всем, и за этим должен был

проследить строгий, но справедливый старшина. В реальности — еще на ступенях полковой столовки начинались бои рота на роту. Ворвавшиеся татаро-монгольской лавой рассыпались по проходам, сметая с чужих столов еду вместе с приборами. Добежавшие до лавок тут же начинали дележ, и это была уже чистая саванна...

К подходу последнего курсанта (а это был я) в чане и мисках не оставалось почти ничего. Умения дать человеку в рыло бог мне не дал, и в борьбе за существование я довольно скорыми темпами направлялся в сторону, противоположную естественному отбору.

В день, о котором я сейчас вспоминаю, в чане и мисках не осталось совсем ничего — девятеро боевых товарищей, между тем, уминали свои порции (заодно с моею) с неослабевающим аппетитом. Это зрелище было столь завершенным в этическом плане, что мне даже расхотелось есть.

Я стал по очереди рассматривать боевых товарищей — в ожидании момента, когда кто-нибудь из них заметит мой взгляд, а потом мою пустую миску. Я полагал, что у человека в этой ситуации должен встать кусок в горле.

Потом вертеть головой мне надоело, и я начал гипнотизировать сидевшего напротив. А напротив как раз и сидел курсант Керимов. Заметив мой взгляд, он, как я и предполагал, перевел глаза на мою пустую миску.

На этом мое знание человеческой природы завершилось.

Керимов вцепился в свое хлебово и быстро укрыл его локтями. А когда понял, что я не собираюсь вступать в схватку за калории, расслабился, улыбнулся и сказал мне негромко и доброжелательно:

— Хуй.

Чем и закрыл тему армейского братства.

«Сила богатырская»

Когда произошел мой личный раскол с государством и его мифологией?

Критическая масса накапливалась, конечно, помаленьку с давних времен — с отрочества, с застольных родительских разговоров, с книг и магнитофонных пленок... Но момент окончательного разрыва я помню очень хорошо — не только день, но именно секунду.

...Сотни московских призывников осени 1980 года, мы, как грудахлама, трое суток валялись вдоль стен на городском сборном пункте на Угрешской улице, будь она проклята. Трое суток мы ели дрянь и дышали запахами друг друга. Трое суток спали, сидя верхом на лавочке, роняя одурелые головы на спины тех, кто сидел в такой же позе впереди.

— Сажаем товарища на кость любви! — руководил процессом пьяный пехотный капитан и радостно ржал в голос.

К моменту отправки в войска все мы были уже в полускотском состоянии — полагаю, так и было задумано. И вот в самолете, гревшем двигатели, чтобы доставить все это призывное мясо в Читу, врубили патриотический репертуар.

«Эх, не перевелась еще сила богатырская!» — бодро гремел из динамика Стас Намин (группа «Цветы»). И еще долго, невыносимо громко и настойчиво этот внук Микояна призывал меня «отстоять дело правое, силой силушку превозмочь». Меня — голодного, бесправного, выброшенного пинком из человеческой жизни в неизвестный и бессмысленный ужас...

Кажется, именно там, в самолетном кресле, под бодрую патриотическую присядку, тупо глядя в иллюминатор на темные задворки аэропорта «Домодедово», я и отделился от государства.

Свидетельство очевидца

Три десятилетия спустя, указывая на степень нравственной деградации подсудимого (меня), депутат Государственной думы Абельцев цитировал в Пресненском суде кусок из моей автобиографии.

— «Служил в Советской Армии, — зачитывал он, — выжил и демобилизовался».

И обратившись к судье, сказал:

— Это кажется мне подозрительным, Ваша честь. Я служил в армии в те же годы, у нас никто не выживал!

Вы не пробовали чистить старую картошку черенком оловянной ложки? Я пробовал — с десяти вечера до четырех утра — и у меня получилось. Жить захочешь, все получится.

...Зимой 1981-го тихий курсант нашей образцовой мотострелковой «учебки», сойдя с ума от бессонницы и унижений, схватил здоровенный кухонный нож и начал гоняться за сержантом (дело было в ночном наряде по столовой).

Следующей ночью наш взвод, сидя вокруг ржавой ванны, чистил картошку черенками ложек: ножи были изъяты с кухни приказом командира полка. К рассвету требовалось заполнить ванну почищенным корнеплодом, и мы скребли старую картошку ложками, обеспечивая полку его утреннее пропитание, — без минуты сна и единого слова протеста.

История болезни

В конце февраля 1981 года меня прямо со стрельбища увезли в медсанбат. Из зеленой машины с крестом вылез незнакомый мне лейтенант и зычно крикнул:

— Шендерович тут есть?

Крикни это лейтенант на месяц позже, ответ мог быть и отрицательным. У меня болела спина. Зеленые круги перед глазами были намертво вписаны в квадрат полкового плаца. Я задыхался, у меня разжимались кулаки — не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом: выпадали из рук носилки со шлаком во время нарядов в котельной.

Человек, не служивший в Советской Армии, спросит тут: не обращался ли я к врачам? Отслуживший такого не спросит, потому что знает: самое опасное для нашего солдата — не болезнь, а приход в санчасть. Тут ему открывается два пути: либо его госпитализируют, и он будет мыть полы с мылом каждые два часа, пока не сгниет окончательно, — либо не госпитализируют, и его умысел уклониться от несения службы будет считаться доказанным.

Меня из санчасти возвращали дважды, и оба раза с диагнозом «симуляция». В первый раз майор медицинской службы Жолоб постучал меня по позвоночнику и попросил нагнуться. Кажется, он искал перелом. Не найдя перелома, майор объявил мне, что я совершенно здоров. Через неделю после первичного обстукивания я снова приперся в этот нехитрый Красный Крест и попросил сделать мне рентген позвоночника.

Наглость этой просьбы была столь велика, что майор Жолоб потерял дар командной речи — и меня повезли на снимок, в госпиталь.

Еще через неделю я был вторично поставлен в известность о своем совершенном здоровье. А *propos* майор сообщил, что если еще раз увидит меня в санчасти, лечить меня будут на гауптвахте.

Проверять, как держит слово советский офицер, я не стал и вернулся в строй. Днем топтал плац, по ночам не вылезал из нарядов и с некоторым интересом, как бы уже со стороны, наблюдал за постепенным отказом организма бороться за существование...

Въезд на стрельбище машины с красным крестом и зов незнакомого лейтенанта были восприняты мною как внеочередное доказательство бытия Господня.

Меня отвезли в медсанбат, выдали пижаму, отвели в палату и велели лежать не вставая. В истории всех армий мира не наберется и десятка приказов, выполненных с такой педантичностью: я лег и тут же уснул.

Когда к концу дня меня растолкали на «прием пищи», я, одурев от сна, попросил принести мне чаю в постель. «А палкой тебе по яйцам не надо?» — спросили меня мои новые боевые товарищи. «Не надо», — вяло ответил я и снова уснул.

Что интересно, чаю мне принесли.

На третий день к моей койке начали сходитьсь ветераны медсанбата. Разлепляя глаза среди бела дня, я видел над собой их уважительные физиономии. Еще никогда выражение «солдат спит — служба идет» не иллюстрировалось так буквально.

При первой встрече со мной рентгенолог, лейтенант медслужбы Анкуддинов, переспросил с нескрываемым любопытством:

— Так это ты и есть Шендерович?

И я ответил:

— В этом не может быть сомнений.

Тут я был неправ дважды. Во-первых, окажись на месте Анкуддинова офицер попроще, я бы огреб за такой ответ по самое не могу, а во-вторых: сомнения в том, что я Шендерович,

уже были.

На второй или третий день после доставки в ЗабВО имени Ленина нас построили в шеренгу, и прапорщик Кротович, глядя в листочек, выкликнул:

— Шендер *е* вич!

— Шендерович, товарищ прапорщик, — неназойливо поправил я.

Прапорщик внимательно посмотрел, но не на меня, а в листочек.

— Шендереvич, — повторил он, потому что так было написано.

Я занервничал.

— Шендерович, товарищ прапорщик.

Моя фамилия мне нравилась, и я не видел оснований ее менять.

Прапорщик снова внимательно посмотрел — но уже не на листочек, а на меня.

— Шендереvич, — сказал он.

И что-то подсказало мне, что ему виднее.

— Так точно, — ответил я и проходил Шендереvичем до следующей переписи.

А в начале марта 1981 года (уже под своей фамилией) я стоял перед лейтенантом медслужбы Анкуддиновым, и он держал в руках снимок моей грудной клетки. Не знаю, какими судьбами этот снимок попал от полковых ветеринаров к профессиональному рентгенологу — но, видимо, чудеса еще случаются в этом мире.

Рассмотрев на черном рентгеновском фоне мой позвоночник и узнав, что его владелец продолжает бегать по сопкам в противогазе, Лев Романович Анкуддинов предложил срочно доставить нас обоих (меня и мой позвоночник) в медсанбат. Лев Романович считал, что на такой стадии остеохондроза долго не бегают даже без противогаза.

Так благодаря чудесному случаю я все-таки сменил шинель на пижаму.

В медсанбате мне было хорошо

Я понимаю, что рискую потерять читательское доверие.

Что как раз в этом месте повествования должен вспомнить, как меня тянуло в родную часть, к боевым товарищам... как просыпался по ночам от мысли, что где-то там несет за меня нелегкую службу мой взвод... — но чего не было, того не было. Не тянуло. Не просыпался.

Зато именно в медсанбате мне впервые после призыва захотелось женщину. До того, целых пять месяцев, хотелось только есть, спать и чтобы ушли вон все мужчины. Признаться, я даже тревожился на свой счет, но тут как рукой сняло.

Здесь же, в медсанбате, впервые за эти месяцы, я наелся.

«Наелся» — это мягко сказано.

Однажды весенней ночью меня, ползшего в лунатическом состоянии в туалет, окликнул из кухни повар Толя.

— Солдат, — сказал он, — есть хочешь?

Ответ на этот вопрос был написан на моем лице с начала зимы восьмидесятого года.

Небольшое лирическое отступление о еде.

Еды в Советской Армии я не застал.

Я не утверждаю, что ее там никогда не было, но могу поклясться на общевоинском Уставе Вооруженных Сил СССР, что однажды, уронив на затоптанный в серое месиво цементный пол кусочек сахара, я поднял его, обдул и съел. Подо всем, что читатель подумает о моем моральном облике, я готов безусловно подписаться.

Среди немногих секунд армейского счастья помяну с нежной благодарностью безымянный декабрьский вечер 1980 года в буфете воинской части № 12651-б. Забившись в угол, давясь и умирая от восторга, я жрал килограммовую булку с орехами и изюмом за 60 копеек, запивая все это молоком из литрового пакета.

Все последующее счастье в личной жизни блекнет рядом с памятью об этом процессе...

— Подгребай сюда через полчаса, солдат, — сказал медсанбатский повар Толя, — я тебя покормлю. Только без шума.

Полчаса я пролежал в кровати, боясь уснуть. Слово «покормлю» вызывало истерические реакции: это было слово из прошлой жизни. В ордена Ленина, мать его, Забайкальском военном округе, кроме уставного «прием пищи», на сей счет имелись только существительное «жрачка» и глагол «похавать».

Через полчаса, поскуливая, я стоял у кухонных дверей. Из-за дверей доносились немыслимые запахи. До армии Толя работал шеф-поваром в хорошем ресторане и не хотел терять квалификацию.

В ту ночь я обожрался. О, как я обожрался в ту ночь...

В общем, в медсанбате было вполне терпимо. Но это сначала. А потом вообще началась лафа...

Однажды, после утреннего осмотра, командир медроты капитан Красовский ни с того ни с сего конфиденциально поинтересовался у меня: не знаком ли я часом с генералом Грозовым из военной прокуратуры?

Никакого генерала я, разумеется, не знал. «Ну хорошо, как-то неопределенно сказал Красовский, — иди лечись...»

Через несколько дней меня попросили зайти к командиру.

В кабинете сидел старлей со щитом и мечом в петлицах — сам же Красовский, пытливо на меня глянув, из кабинета вышел. Мне стало не по себе. Человек я мнительный, со стойкими предрассудками как к щиту, так и, в особенности, к мечу.

— Рядовой Шендерович? — спросил старлей.

Не вспомнив за собой вины, заслуживающей трибунала, я ответил утвердительно.

— Как себя чувствуете? Как лечение? Может быть, есть какие-нибудь жалобы?

И на лице офицера госбезопасности отразилась тревога за мое здоровье. В кабинете повисло и стало стремительно сгущаться ощущение некоторого сдвига по фазе.

— Все хорошо, — ответил я сквозь гул в голове.

— Где желаете продолжить службу? — поинтересовался лейтенант КГБ.

Эх! Ну, что мне стоило попроситься в кремлевские курсанты? Вот бы народу набежало посмотреть! Но я, как мешком ударенный, промямлил что-то благонравное.

Старлей светло улыбнулся и в последний раз спросил:

— Значит, все в порядке?

Мне захотелось зарыдать у него на погоне. Я ни черта не понимал.

После ухода чекиста, в кабинет тихо вошел капитан Красовский и совсем уже домашнему попросил меня не валять ваньку и сознаться, кем я прихожусь генералу Грозову из военной прокуратуры.

Я призываю в свидетели всех, кто знает меня в лицо, и спрашиваю: могут ли быть такие родственники у генерала военной прокуратуры? Ну нет же, о господи! Я спросил капитана: в чем дело? Я поклялся, что фамилию генерала слышу второй раз в жизни, причем в первый раз слышал от него же.

Капитан задумался.

— Понимаешь, — сказал он наконец, — генерал Грозов чрезвычайно интересуется состоянием твоего здоровья.

И с опаской заглянул ко мне в глаза.

Я был потрясен, а когда отошел от потрясения, сильно струхнул. Я догадался, что меня принимают за кого-то другого. Тень Хлестакова накрыла мою голову: я понял, что играю его роль, — с той лишь разницей, что не имею никаких шансов вовремя смыться. Только что, за пять минут, Советская армия израсходовала на меня стратегические запасы внимания к рядовому составу лет на пятнадцать вперед, — и мне страшно было подумать о том, какой монетой придется за это расплачиваться.

Но расплаты так и не последовало.

День за днем я читал в глазах госпитального персонала посвященность в мою родовую тайну — то ли тайный агент, то ли внебрачный генеральский сын... Новый статус располагал к комфорту, и в полном соответствии с гоголевской драматургией я начал входить во вкус: смотрел после отбоя телевизор с фельдшерами, в открытую шлялся на кухню — в общем, только что не врал про государя императора...

Я вообще не врал! И на прямые вопросы по-прежнему отвечал чистую правду, — вот только растущая нагловатость поведения придавала моим ответам смысл вполне прозрачный.

Потом я перестал ломать голову над этой шарадой — просто жил как человек, впервые со времени призыва...

Все открылось уже после демобилизации: весь этот неуставной рай мне устроила родная мама. Получив открытку из медсанбата, а обещанного письма вслед за тем не получив, мама начала фантазировать и дофантазировалась до полной бессонницы.

Уже в некоторой панике она позвонила доброму приятелю своей юности, который — так уж случилось — «вырос» до зампреда Верховного суда РСФСР; позвонила и попросила разузнать, где я и что со мной.

Зампред Верховного суда (видимо, припомнив, что все свое детство я называл его дядей Левой) позвонил по вертушке в Читинскую военную прокуратуру и, для скорости процесса назвавшись именно что моим дядей, попросил генерала Громова найти пропавшего племянничка.

Бедный генерал! Натерпелся он страху, пока меня искали. Если бы на вверенных ему просторах загнулся племянник зампреда Верховного суда РСФСР, — мало бы, конечно, никому не показалось...

Моя лафа закончилась в начале апреля 1981-го. Подлатанный капитаном Красовским, я убыл из госпиталя в родную, мать ее, часть.

Цветовая гамма

А в нашей родной (мать ее) части солдатам, носившим черные погоны, было запаadlo уважать «краснопогонников», и наоборот. Отчего так повелось, не стоит даже задумываться. Просто: не упускать же человеку лишний повод дать в рыло другому человеку!

Дополнительное обаяние этой славной традиции придавал тот факт, что время от времени курсантов перебрасывали из «учебки» в «войска» и обратно, и цвет погон у отдельно взятого бойца мог меняться туда-сюда по несколько раз...

Пару раз перешивал погоны и я — и неизменно получал за это по морде.

Как я был сержантом

Я говорил им:

— Строиться, отделение!

И они строились, но как-то вяловато.

Я ставил им задачу. Я делал это правильным русским языком и говорил положенное по Уставу «разойдись». И они расходились, чем-то озадаченные... Им чего-то не хватало. Они шли делать то, что я велел, но сомневались. У них возникало справедливое ощущение, что их о чем-то попросили. И в глубине души они подозревали, что имеют право этого не делать...

В глубине души так считал и я.

Я был плохим сержантом.

Но однажды я вспомнил книгу Константина Сергеевича Станиславского «Работа актера над образом» и главу про «зерно роли» в этой книге; и собравшись с силами, ненадолго вырастил в себе страшного чечена, старшего сержанта Ваху Курбанова. Меня утяжелило на двадцать килограммов, меня раздуло тяжелым презрением к человечеству, и я проорал безо всякого «разойдись»:

— бя!

И «салаги» как ошпаренные бросились выполнять приказ.

На немыслимую блатную должность я попал в конце мая 1981 года.

Этому событию предшествовало исчезновение прежнего хлебореза — всесильного Соловья (до сих пор не знаю, фамилия это была или кликуха). То ли этот Соловей проворовался так, что продуктов перестало хватать уже и прапорщикам, то ли прибил кого-то сильнее нормы — только его отправили, наконец, в дисбат, наводить ужас на внутренние войска.

А вместо Соловья как раз вернулся из медсанбата я, отъевшийся, как хомяк, и с записью в медкарте об ограничении физических нагрузок. И — с высшим образованием, что в умах местных стратегов справедливо связалось со знанием арифметики...

Глубина моего морального падения к этому времени была такова, что, узнав о назначении, я не стал проситься обратно в строй, а напротив, очень обрадовался. Я вообще человек с кучей гуманистических предрассудков, тихий в быту и вялый в мордобое, и мое глубочайшее убеждение состоит в том, что чем меньше я буду иметь отношение к обороноспособности, тем для нее же лучше.

В первый же день новой службы я получил от нового моего командира, подполковника Гусева, Устав тыловой службы с приказом выучить наизусть нормы выдачи продуктов.

После «Графа Монте-Кристо» я не держал в руках текста столь увлекательного. Тихо икая от волнения, я узнавал, что и в каких количествах нам полагалось все это время.

Потом я запер хлеборезку и начал следственный эксперимент.

Я взвесил указанные в Уставе шестьдесят пять граммов сахара и обнаружил, что это шесть кусочков. Я несколько раз перепроверял весы и менял кусочки, но их все равно получалось — шесть. А в дни моей курсантской молодости никогда не доставалось больше трех!

Двадцать уставных граммов масла оказались невиданной мною ранее, высоченной, с полпальца, пайкой! А то, что, по недосмотру Соловья, мы ели в курсанские времена, можно было взвешивать на микронных весах. И вообще, чаще всего мы жрали маргарин...

Подполковник Гусев приказал мне выучить нормы выдачи, и я их выучил, но дальше начались недоразумения. Я почему-то понял подполковника так, что в соответствии с нормами надо продукты и выдавать, но в этом заблуждении оказался совершенно одинок.

В первом часу первой же ночи в окошке выдачи появилась физиономия. Физиономия сказала: «Дай сахарку». — «Не дам», — сказал я. «Дай», — сказала физиономия. — «Водилы велели». «Скажи им: нету сахара», — ответил я. «Дай», — сказала физиономия. «Нет», — сказал я. «Они меня убьют», — сообщила физиономия. «Откуда я возьму сахар?» — возмутился я. Физиономия оживилась, явно готовая помочь в поиске. «А вон там...» — «Это на завтрак», — сказал я. «Дай», — сказала физиономия. «Уйди отсюда», — попросил я. «Они меня убьют», — напомнила физиономия. «О господи!» Я выгреб из верхней пачки несколько кусков, положил на ломоть хлеба и протянул в окошко. «Мало», — вздохнула физиономия. Я молчал. Физиономия вздохнула. «И маслица бы три паечки», — сказала она и тут же пояснила: «Водилы велели!» — «Масла не дам!» — крикнул я. «Они меня убьют», — печально констатировала физиономия. «Я тебя сам убью», — прохрипел я и запустил в физиономию кружкой. Физиономия исчезла. Кружка вылетела в окошко выдачи и загрохотала по цементному полу. Я отдышался и вышел наружу. Физиономия сидела у стола, глядя мне в глаза с собачьей неотвратимостью. Я длинно и грязно выругался. Физиономия с пониманием выслушала весь пассаж и предложила: «Дай маслица».

Когда я резал ему маслица, в окошко всунулась совершенно бандитская рожа, подмигнула мне и сказала:

— Э, хлэборэз, масла дай?

Стояла весенняя ночь. Полк хотел жрать. Дневальные индейцами пробирались к столовой и занимали очередь у моего окошка. И когда я говорил им свое обреченное «нет», дневальные отвечали с поразительным однообразием:

— Они меня убьют.

И я давал чего просили.

От заслуженной гауптвахты меня спасала лишь чудовищная слава предшественника — после него мои недовесы воспринимались как благодеяние.

Все это не мешало подполковнику Гусеву совершать утренние налеты на хлеборезку, отодвигать полки, шарить в холодильнике и заглядывать за хлебные лотки в поисках ворованного. Отсутствие заначек убеждало его только в моей небывалой хитрости.

«Где спрятал масло?» — доброжелательно интересовался подполковник. «Все на столах», — отвечал я. От такой наглости подполковник крякал почти восхищенно. «Найду — посажу», — предупреждал он. «Не найдете», — отвечал я. «Найду», — обещал подполковник. «Дело в том, — мягко, чтобы не обрушить вселенную в полковничьей голове, пытался объяснить я, — что я не ворую». «Ты, Шендерович, нахал!» — отвечал на это подполковник Гусев и на рассвете опять выскакивал на меня из-за дверей, как засадный полк Боброка.

Через месяц полное отсутствие результата заставило его снизить обороты — может быть, он даже мне поверил, хотя, скорее всего, просто не мог больше видеть моей ухмыляющейся рожи.

Мне между тем было не до смеха. Бандит Соловей успел так прикормить дембелей и прапорщиков, что мои жалкие попытки откупиться от этой оравы двумя паечками и десятью кусками сахара только оттягивали час неминуемой расправы.

Лавируя между мордобоем и гауптвахтой, я обеспечивал полку пропитание. Наипростейшие процедуры превращались в цирк шапито. «Рыжим» в этом цирке работал кладовщик Витя Марченков. Он бухал на весы здоровенный кусище масла и кричал:

— О! Хорош! Забирай!

— Витя, — смиренно вступал я, — подожди, пока стрелка остановится.

Витя наливался бурым цветом.

— Хули ждать! — кричал он. — До хуя уже масла!

— Еще триста грамм надо, — говорил я.

— Я округлил! — кричал Витя, убедительно маша перед моим носом руками-окороками. — Уже до хуя!

Названная единица измерения доминировала в расчетах кладовщика Марченкова, равно как и округление в меньшую сторону с любого количества граммов.

На мои попытки вернуться к таблице мер и весов Марченков отвечал речами по национальному вопросу, впоследствии перешедшими в легкие формы погрома.

Получив масла на полкило меньше положенного, я, как Христос пятью хлебами, должен был накормить этим весь полк — плюс дежурных офицеров, сержантов и дембелей, в накладной не учтенных. И хотя ночные нормы я снизил до минимума, а начальника столовой прапорщика Кротовича вообще снял с довольствия (за наглость, чрезмерную даже по армейским меркам), а все равно: не прими я превентивных мер — трех тарелок на утренней выдаче не хватало бы, как пить дать.

Приходилось отворовывать все это обратно — и, взяв ручку, я погрузился в расчеты.

Расчеты оказались доступными даже выпускнику Института культуры. Полграмма, слизанные с каждой пайки и помноженные на количество бойцов, давали искомые три тарелки масла — плюс еще несколько, которые я мог бы съесть самолично, если бы меня не тошнило от одного запаха.

Так я вступил на стезю порока.

Как и подобает стезе порока, она не принесла бы мне ничего, кроме сытой жизни и

уважения окружающих — если бы не вышеупомнутый прапорщик Кротович.

До моего появления в хлебрезке он уже откормился солдатскими харчами на метр девяносто, и я посчитал, что поощрять его в этом занятии далее опасно для его же здоровья. Прапорщик думал иначе — и как раз к тому времени, как меня оставил в покое подполковник Гусев, забота о солдатах прорезалась в Кротовиче: он начал приходить по ночам и искать недовесы.

Бабелевский Мендель Крик слыл грубияном среди биндюжников — Кротовича считали ворьем прапорщики! Его интеллект и манеры частично подтверждали дарвиновскую теорию происхождения видов — частично, потому что дальними предками Кротовича были никак не обезьяны. Мой выбор колеблется между стегоцефалом и диплодоком.

Единственное, что исключено совершенно, — божественное происхождение. За все человечество я не поручусь, но в случае с Кротовичем Господь ни при чем. В день создания Кротовича Всевышний отдыхал.

Прапорщик начал искать у меня недовесы. Делал он это ретиво, но безрезультатно, и вот почему. В самом начале своей хлебрезной карьеры я отобрал из полутора тысяч оловянных полковых тарелок с десятков наиболее легких — и, пометив их, в артистическом беспорядке разбросал по хлебрезке. Взвешивая масло, Кротович ставил первую попавшуюся на противовес — и стрелка зашкаливала на двадцать лишних граммов.

Кротович презрительно кривился, давая понять, что видит мои фокусы насквозь.

— А ну-ка, сержант, — брезгливо сипел он, — дайте мне во-он ту тарелку!

Я давал «во-он ту», и стрелку зашкаливало еще больше.

Прапорщик умел считать только на один ход вперед. При встрече с двухходовкой он переставал соображать вообще.

Генеральский замер

Впрочем, чего требовать от прапорщика? Однажды в наш полк прилетел с проверкой из Москвы генерал-лейтенант Кочетков, будущий замминистра обороны СССР. Генерал проверял работу тыловой службы, и к его появлению на наших столах расстелились скатерти-самобранки. Инжирины плавали в компоте среди щедрых горстей изюма!

Это был день еды по Уставу — первый и последний за время моей службы.

В тот исторический день генерал размашистым шагом шел к моей хлеборезке, держа на вытянутых руках чашку с горкой мяса («чашкой» в армии почему-то зовется миска). За московским гостем по проходу бежали: комдив, цветом лица, телосложением и интеллектом заслуживший прозвище Кирпич, несколько «полканов», пара майоров неизвестного мне происхождения — и прапорщик Кротович.

Кинематографически этот проход выглядел чрезвычайно эффектно: генерал был здоровенный детина, и семенявшие за ним офицеры едва доходили высокому начальству до погона, не говоря уже о Кирпиче, обитавшем у генерала в районе диафрагмы.

Единственным, кто мог тягаться с генералом длиной, был Кротович, но в присутствии старших по званию прапор съеживался в мошку.

И вот весь этот звездопад обрушился ко мне в хлеборезку, — и, приставив ладонь к пилотке, я прокричал подобающие случаю слова. Генерал среагировал на них не сильнее, чем танк на стрекот кузнечика. Он прошагал к весам, водрузил на них чашку с мясом и устоял на стрелку. Стрелка улетела к килограммовой отметке. «Пустую чашку!» — приказал генерал, и я, козырнув, шагнул к дверям, чтобы выполнить приказ, но перед моим носом, стукнувшись боками, в дверь пролезли два майора.

Мне скоро было на дембель, а им еще служить и служить...

Через несколько секунд майоры вернулись, держа искомое четырьмя руками. В четырех майорских глазах светился нечеловеческий энтузиазм. За их спинами виднелось перекошенное лицо курсанта, который только что собирался из этой чашки поесть.

Чашка была поставлена на противовес, но стрелка все равно зашкаливала на двести лишних граммов.

— А-а, — понял наконец генерал. — Так это ж с бульоном... Ну-ка, — сказал он, — посмотрим, сколько там чистого мяса!

И перелил бульон из правой чашки — в левую, в противовес!

Будущий замминистра обороны СССР... — есть еще вопросы по обороноспособности?

Теперь вместо лишних двухсот граммов — двухсот стало недоставать. Генеральский затылок начал принимать цвет знамени полка. Не веря своим глазам, я глянул на шеренгу старших офицеров. Все они смотрели в багровеющий генеральский затылок, и видели сквозь него одно и то же: отправку в Афган... В хлеборезке царил полный ступор, и я понял, что час моего Тулона — настал.

Я шагнул вперед и сказал:

— Разрешите, товарищ генерал?

Не рискуя ничего объяснять, я вылил за окошко коричневатый мясной навар и поставил чашку на место. И весы наконец показали то, что от них и требовалось с самого начала: 400 граммов.

Внимательно рассмотрев местонахождение стрелки, генерал-лейтенант Кочетков обернулся, посмотрел на меня со своей генерал-лейтенантской высоты и задал вопрос, выдавший в нем стратегическую жилку.

— Армянин?

— Никак нет, еврей, — ответил я.

— А-а, — сказал он и, не имея больше вопросов, нагнулся и вышел из хлебoreзки.

Следом пулями вылетели Кирпич, несколько «полканов», пара майоров и прапорщик Кротович.

Последним выходил замполит полка, майор Найдин. Внезапно остановившись в дверях, замполит похлопал меня по плечу и, сказавши: «Молодец, сержант!», — подмигнул совершенно воровским образом.

В присутствии генерала из Москвы разница между хлебoreзом и замполитом полка стиралась до несущественной. Надувая столичное начальство, мы делали одно большое общее дело.

Но что генерал! Осенью того же 1981-го по округу пронеслось: в Забайкалье летит товарищ Устинов.

Этот Устинов был министром обороны Советского Союза, и с его просторных погон к той осени уже третий год лилась кровь Афганистана, но летел маршал не в Афганистан, а на учения в Монголию. Монголия же в те ясные времена входила в Забайкальский военный округ СССР... Как говорила мужу леди Макбет, «о вещах подобных не размышляй, не то сойдешь с ума».

Устинов летел на учения — с промежуточной посадкой в штабе округа, откуда в любую секунду мог обрушиться на наши образцово-показательные головы.

Полк прекратил свое существование как боевая единица и переквалифицировался в ремонтное управление. На плацу целыми днями подновляли разметку и красили бордюры, в казармах отдраивались такие медвежьи углы, в которые ни до, ни после того не ступала нога человека. Я неделю напролет белил потолок. В последний день перед прилетом министра всё в полку походило с ума — майоры собственноручно отдраивали двери, а командир полка носился по гарнизону, как муха по каптерке.

Рядового, замеченного в перекуре, могли, я думаю, запросто пристрелить на месте.

Но главное было — борьба с осенью. Плац подметали дважды в день, но через час он снова был завален палой листвой. Так продолжалось до решительного дня, и на рассвете этого, выйдя на плац, я увидел на дереве якута.

Якут сидел на осине и обрывал с осины листву.

На якуте была шинель и шапка с красной звездой.

На соседних осинах сидели другие якуты, все в шинелях и со звездами на шапках...

Моя бессонная крыша накренилась и поехала прочь.

Только через несколько секунд я вспомнил про Устинова, борьбу с осенью и про то, что наша третья рота укомплектована в Якутии. Но несколько этих секунд я прожил в вязком тумане личного сумасшествия.

Да! — маршалу не объяснишь, почему плац в листве. Маршал увидит расхождение между Уставом и пейзажем — и огорчится. А когда маршалы огорчаются, полковники летят в теплые страны.

— Осень, товарищ маршал!

Это довод для гражданского ума, не вкусившего нормативной эстетики Устава, а маршал, пожалуй, решит, что над ним издеваются. В армии не существует демисезонной формы одежды! Деревья должны либо зеленеть, либо стоять голыми. Плац должен быть чист. Личный состав — смотреть программу «Время». Даже если телевизор, по случаю чемпионата мира по хоккею, унесли из роты в штаб полка.

— Рота, рассестись перед телевизором в колонну по шесть!

— Нет телевизора, товарищ прапорщик!

Пауза три секунды. Слышно, как под фуражкой пытается проложить себе путь внеуставная извилина. Тщетно...

— Что по расписанию?

— Просмотр программы «Время»!

— Рассестись в колонну по шесть!

Сидим в колонну по шесть и полчаса смотрим на пустую полку и штепсель.

Привет от Кафки.

А Устинов в наш полк так и не приехал.

Фамилия полкового особиста была — Зарубенко. Капитан Зарубенко. С учетом специфики работы звучит, согласитесь, выразительно...

А специфика эта была такова, что, хотя капитан несколько месяцев копался в моей судьбе, как хирург в чужих кишках, я до сих пор не представляю его в лицо. Просто однажды в спортзале повар Вовка Тимофеев сказал мне:

— Зёма, ты это... следи за языком.

— А что случилось? — поинтересовался я.

— Ничего, — ответил Вовка. — Просто думай, что говоришь. Считаю, что я тебя предупредил.

— Ну, а все-таки? — спросил я. Потом спросил то же самое еще раз.

— Капитан Зарубенко тобой интересуется, — пробурчал наконец Вовка. — Что-чего — не знаю, но интересуется.

Кто такой этот Зарубенко, я толком не знал, но Вовка мне напомнил.

Год назад один из наших, стоя на посту у знамени части, слышал (и в ужасе рассказывал потом в караулке), как некий загадочный капитан орал на командира полка, обкладывая его тяжелым матом. Полковник, чья крепенькая фигурка наводила ужас на окрестности плаца, стоял перед капитаном навтыжку — и молчал.

Человек легкомысленный, я успел позабыть о Вовкином предупреждении, когда в одно весеннее утро меня, отсыпавшегося после продуктовых батальи, разбудил батальонный замполит капитан Хорев и предложил прокатиться в штаб дивизии.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю, — соврал капитан, и мы поехали.

В штабе дивизии капитан Хорев скрылся за какой-то дверью и бодро доложил какому-то полковнику, что младший сержант Шендерович по его приказанию доставлен. Но даже этот доклад не замкнул в моей авитаминозной башке логической цепочки.

Доставленного пригласили присесть и рассказать о себе: кто, да откуда, да кто родители...

Я бы рассказывал полковнику свой семейный эпос до самого дембеля, если бы не майор. Майор этот с самого начала сидел в углу кабинета, имея при себе цепкий взгляд и черные петлицы артиллериста. Артиллеристом майор был, видать, замечательным: он начал бомбардировать меня вопросами — и попадать в самые незащищенные места.

Только тут до меня наконец дошло, что это допрос. Лицо Вовки Тимофеева всплыло в бедовой голове вместе с фамилией Зарубенко.

Дивизионный майор знал обо мне все.

Я вертелся, как плевков на сковородке, постепенно проникаясь уважением к собственной персоне: за время службы я, оказывается, неплохо подразложил личный состав части! Помимо пересказа своими словами решений XX съезда КПСС (ужас-ужас), мне инкриминировалась любовь к Мандельштаму — я зачем-то читал кому-то его стихи...

«Держу пари, что я еще не умер...»

По счастью, в соседних показаниях была зафиксирована любовь к Маяковскому, и за это Мандельштама мне скостили, баш на баш. Уточнить, что моя любовь относится ко временам «Флейты-позвоночника», я не стал.

«Будьте добры, причешите мне уши»...

Кстати, об ушах. Как всякого на моем месте, меня, разумеется, чрезвычайно занимал

главный вопрос: кто стукачок? И моя любознательность была удовлетворена тут же, самым замечательным образом.

...Кажется, летом 1981-го в наш полк прибыл свежеиспеченный замполит Седов. Родом он был из Москвы, чем, видать, и породил в моей расшатанной психике некоторую ностальгию. Говорю это исключительно в оправдание собственной лопухости.

Так вот, о лопухости!

За полгода до допроса я сидел в Ленинской комнате и читал свежую «Литературку», в которой некто, как сейчас помню, Н. Машовец топтал ногами автора Чебурашки. Я читал, ужасаясь.

Мирное ушастое существо при ближайшем рассмотрении оказалось безродным космополитом, дезориентирующим советских детей. Бдительный Машовец сообщал всем заинтересованным органам, что прочел детскую книгу Эдуарда Успенского от корки до корки и не нашел в ней ни одного стихотворения о Родине, о хлебе, о гербе.

Это был перебор даже по тем пещерным временам.

— Бред! — сказал я, зачем-то вслух.

— Что бред? — с готовностью поинтересовался лейтенант Седов, на мое еврейское счастье зашедший в Ленинскую комнату — видимо, почитать классиков на сон грядущий.

И я рассказал ему, что именно и почему считаю бредом.

И когда через полгода, на допросе, полковник-замполит сообщил мне, что в придачу ко всем своим грехам, я неуважительно отзывался о гербе страны, у меня в голове наконец замкнуло, и я сказал:

— Ну, тут лейтенант Седов все перепутал!

— Ничего он не перепутал! — оборвал меня полковник — и осекся под взглядом майора. На сердце у меня стало легко: я знал, откуда дует этот вонючий ветерок.

— Перепутал, перепутал, — сказал я.

Допрос ни шатко ни валко тянулся еще полчаса, но майор все ощутимее терял ко мне интерес и вскоре ушел. Как это ни прискорбно для моего самолюбия, на полновесного идеологического диверсанта я не потянул.

Оставшись со мной с глазу на глаз, полковник помягчел, а потом, по случаю ухода особиста, начал приобретать черты настолько человеческие, что я, осмелев, спросил его напоследок: что он думает о замполите, который стучит на солдат?

— Дерьмо он, а не замполит! — с чувством ответил полковник. — Но ты, сержант, тоже хорош: ты же думай, кому что говоришь!

В точности повторив совет Вовки Тимофеева, полковник отпустил меня восвояси. Выходя, я посмотрел табличку на двери и ахнул: допрашивал меня — полковник Вершинин. О, господи... В Москву, в Москву!

Через несколько дней в полк из отпуска вернулся мой стукачок-землячок. Увидев меня, он радостно протянул ладошку:

— Здравствуй!

— Здравия желаю, — ответил я.

Седов удивился.

— Ты не подаешь мне руки?

Я был вынужден подтвердить его подозрение.

— Почему? — спросил он.

— А вы сами не догадываетесь, товарищ лейтенант?

И он догадался.

— А-а, — протянул как бы даже с облегчением, — это из-за докладной?

— Из-за докладной, — подтвердил я. Слово «донос» мои губы не выговорили: трусоват был вана бедный.

— Так это же моя обязанность, — объяснил Седов, как будто речь шла о выпуске боевого листка. — А вдруг ты завербован?

Я заглянул ему в глаза. В них светилась стеклянная замполитская правота. Он не издевался надо мной и не желал мне зла. Он даже не обижался на мое нежелание подать ему руку, готовый терпеливо, как подобает идеологическому работнику, преодолевать мои интеллигентские предрассудки.

— Видишь, — сказал он, — проверили, отпустили; все в порядке. Поздравляю.

В слове «проверили» был какой-то медицинский оттенок. Меня передернуло.

— Разрешите идти?

Он разочарованно пожал плечами:

— Идите.

И я пошел — по возможности подальше от него.

С отдаленностью, впрочем, мне помогли: за возвращением с допроса последовало скорое снятие меня с лейтенантских сборов — и короткая преддедбельная ссылка из образцовой «брежневской» части на задворки дивизии, на хлебозавод.

Так и не став советским офицером, я вернулся домой на две недели раньше срока, — за что моя отдельная благодарность лейтенанту Седову, капитану Зарубенко, майору-артиллеристу и всем остальным бойцам невидимого фронта...

В юности я мучил литконсультантов стихами.

Личного опыта у меня не было, в сущности, никакого, и версификации были безнадежно вторичными... За опытом судьба отправила меня в Забайкальский военный округ, и насчет дозировки никто не спрашивал.

Когда я оклемался, ни о какой поэзии речи уже не шло — то, что я начал писать по возвращении «на гражданку», было в чистом виде ябедой на реальность. Мне казалось важным рассказать о том, что я увидел. Я был уверен, что, если рассказать правду, что-то в мире изменится.

Кстати, я уверен в этом и сейчас.

И вот как все начиналось...

Весной 1982-го личный состав армейского хлебозавода, куда я был сослан из образцовой «брежневской» дивизии (за пропаганду решений XX съезда КПСС), поймал здоровенную крысу. Это событие на целые сутки изменило привычную иерархию; крыса встала ступенькой ниже последнего салаги, и возможность безнаказанно замучить ее до смерти внезапно объединила всех, включая лейтенанта, начальника хлебозавода...

Спустя полгода я вынул из забайкальского апреля тот памятный день и положил его на лист бумаги. Я был молод, и следует снисходительно отнестись к моему острому желанию увидеть рассказ напечатанным.

Я начал ходить по редакциям.

В журнале «Юность» я получил на «Крысу» рецензию, которую до сих пор считаю образцовой: «Очень хорошо, но вопрос о публикации не встает». По молодости лет, я попытался получить объяснение обороту «не встает» и услышал в ответ, что если встанет, то мне же хуже.

Засим мне негромко, но внятно объяснили, что такое Главное политуправление Министерства обороны — и что оно со мной сделает за эту «Крысу».

Аналогичные разговоры со мной вели и в других редакциях, а в одной прямо предложили рассказ спрятать и никому его не показывать. Но не убедили.

Тут я подхожу к самой сути истории.

В те годы я дружил с очаровательной девушкой. Ее звали Нора Киямова, она была переводчиком с датского и норвежского. По дружбе и, признаться, симпатии я давал ей читать кое-что из того, что писал в те годы. Дал прочесть и «Крысу».

— Слушай, — сказала Нора. — Хочешь, я покажу это Ланиной?

Ланина! Журнал «Иностранная литература»! Еще бы я не хотел...

Через неделю Нора сказала:

— Зайди, она хочет тебя видеть.

Я зашел в кабинет и увидел сурового вида даму. Несколько секунд она внимательно разглядывала меня из-за горы папок и рукописей. Мне было двадцать пять лет, и я весь состоял из амбиций и комплекса неполноценности.

— Я прочла ваш рассказ, — сказала Ланина. — Хороший рассказ. Вы хотите увидеть его напечатанным?

— Да, — сказал я.

— В нашем журнале, — уточнила Ланина и поглядела на меня еще внимательнее.

— Но...

— Это будет ваш перевод.

— Как перевод? — спросил я. — С какого?

— С испанского, — без колебаний определила Ланина. — Найдем какого-нибудь студента из «Лумумбы»... Где у нас хунта?

— Гватемала, — сказал я, — Чили. Гондурас.

Я был грамотный юноша.

— Вот, — обрадовалась Ланина, — Гондурас! Прекрасно! Переведем рассказ на испанский, а оттуда обратно на русский. Солдаты гондурасской хунты затравили опоссума. Очень прогрессивный рассказ. Ваш авторизованный перевод.

Дорого я бы сейчас дал, чтобы посмотреть на выражение своего лица — тогда.

— Ну? — спросила она. — Печатаем?

Я ответил, что никогда не бывал в Гондурасе. Я спросил, кто такой опоссум.

— Не все ли вам равно? — резонно поинтересовалась Ланина.

Я сказал, что мне не все равно, не говоря уже об опоссуме. Я забрал рукопись и ушел. Я был гордый дурень.

Спустя много лет я узнал, что Ланиной уже нет на свете. Я вспомнил ту нашу единственную встречу — и вдруг остро пожалел о неосуществленном переводе с испанского. Сейчас я думаю: может быть, Ланина просто шутила? Говорят, это было в ее стиле — вот так, без единой улыбки...

Но то она, а я? Почему я не ударил по гондурасской военщине? Какая разница, Иван или Хуан? Как я мог пройти мимо этой блестящей игры? Дурак, дурак!

...Когда в 1983-м я выходил из ее кабинета, Ланина предложила мне не торопиться и подумать. Что я и сделал.

Сделал, правда, спустя шестнадцать лет, — но ведь лучше поздно, чем никогда. И потом, Татьяна Владимировна сама просила не торопиться с ответом.

Светлой памяти Татьяны Ланиной

Хулио Сакраментес^[2]

ОПОССУМ

Гарнизонные склады находились в стороне от остальных казарм.

Надо было пройти полкилометра по раскисшей дороге вдоль колючей проволоки — тогда только появлялись наконец металлические ворота воинской части. В ту сторону никто из солдат не шел. Шли прямо через дорогу — к дыре, проделанной в проволоке еще при прежнем гаудильо.

Шли и направо — через пару минут пути проволока кончалась, дорога уходила в горы, к индейскому поселку, где жила, переходя от призыва к призыву, утеха солдатских самоволок, толстая Хуанита.

Впрочем, речь не о ней.

Старшина Мендес допил чай и поднялся. Тут же поднялись и остальные — и по одному вылезли из мазанки, служившей складом маисовых лепешек, кухней и местом отдыха.

Рядом с мазанкой, похлопывая на ветру парусиной, лежала новая палатка. Старую лейтенант Пенья приказал снять и сдать на списание до обеда.

Прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Палатка стояла тут много лет.

— Можно? — спросил Глиста (когда-то мама назвала его Диего, но в армии имя не прижилось).

— Мочи, — сказал старшина Мендес.

Через пару минут, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело легла на землю.

— Л-ловко мы ее! — Рядовой Рамирес попытался улыбнуться всем сразу, но у него не получилось.

— Вперед давай, — выразил общую старослужащую мысль Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов. — Разговоры. Терпеть ненавижу.

Через полчаса палатка уже лежала за складом, готовая к списанию. На ее месте дожидались своей очереди гнилые доски настила и баки из-под воды.

Старшина Мендес, прикрыв веки, лежал за занавеской, спасавшей от москитов. Он думал о том, что до дембеля осталось никак не больше месяца; что полковник Кобос обещал отпустить «стариков» сразу после приказа, и теперь главное было, чтобы штабной капитанишко Франсиско Нуньес не сунул палки в колеса. С Нуньесом он был на ножах еще с ноября: на светлый праздник Гондурасской революции штабист заказал себе филе тунца, а Мендес, при том складе сидевший, ему не дал. Не из принципа не дал, просто не было уже в природе того тунца: до Нуньеса на складе рыбачили гарнизонные прапорщики...

Меж тем у палатки что-то происходило. Приподнявшись и отодвинув занавеску, старшина увидел, как хлопает себя по ляжкам Глиста, как застыл с доской в руках Рамирес. Невдалеке сидел огромный даже на корточках Хосе Эскалон, а рядом гоготал маленький Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов.

— Давай сюда! — Лопес смеялся, и лицо его светилось радостью бытия. — Скажи Кармальо — у нас в обед мясо будет!

Кармальо был поваром — он тер в палатке маис и, услышав снаружи свое имя, привычно

сжался, ожидая унижения. Но было не до него.

Влажная земля под настилом была источена мышами, и тут же зияла огромная нора. Рамирес отложил доску и присел рядом.

— Опоссум, — определил Хосе Эскалон.

Личный состав собрался на военный совет. Старшина Мендес обулся и подошел поучаствовать. Район предстоящих действий подвергся разведке палкой, но до водяной крысы добраться не удалось.

— М-может, нет его там? — с тревогой в голосе спросил рядовой Рамирес, пытаясь передать свою преданность всем сразу.

— Куда на хер денется, — отрезал мрачный Эрреро.

Помолчали. Глиста поднял вверх грязный палец:

— Я придумал!

Лопес не поверил и посмотрел на Глисту как бы свысока. Глиста сиял.

— Надо залить его водой!

Эрреро просветлел, старшина Мендес самолично похлопал Глисту по плечу, а Лопес восхищенно выругался. Городской мат звучал в его индейских устах заклинанием: смысла произносимого Лопес не понимал, как научили, так и говорил.

Рамирес побежал за водой, следом заторопился Глиста.

Из-под ящика выскочила мышка, заметалась между сапог пинг-понговым шариком и была затоптана. В этот момент на территорию гарнизона вступил лейтенант Пенья. Лицо его, раз и навсегда сложившись в брезгливую гримасу, более ничего с тех пор не выражало.

— Вот, господин лейтенант. Опоссум, — уточнил старшина. Круг раздвинулся, и лейтенант Пенья присел на корточки перед норой. Посидев так с полминуты, он оглядел присутствующих, и стало ясно, что против опоссума теперь не только количество, но и качество.

— Несите воду, — приказал лейтенант.

Хосе Эскалон хмыкнул, потому что из-за угла уже показалась нескладная фигура Рамиреса. Руку его оттягивало ведро.

Лицо лейтенанта Пеньи сделалось еще брезгливее.

— Быстрее давай, Рамирес гребаный! — Лопеса захлестывал азарт, а лейтенанта здесь давно никто не стеснялся.

Виновато улыбаясь, Рамирес ковылял на стертых ногах, и у самого финиша его обошел с полупустым ведром Глиста.

— Я гляжу: ты хитрожопый, — заметил ему внимательный старшина Мендес.

— Так я чего? — засуетился Глиста. — Ведь хватит воды-то. Не хватит — еще принесу.

— Ладно. Бегом еще за пустыми ведрами...

Через минуту все было готово к засаде на опоссума, и Лопес начал затапливать шахту.

Опоссум уже давно чувствовал беду — он не ждал ничего хорошего от света, проникшего в нору, и когда свет обрушился на него водой, опоссум понял, что настал его последний час.

Крик торжества потряс территорию.

Зверек, рванувшийся на волю от потопа, сидел теперь на дне высокой металлической посуды — мокрый, оскаленный, обреченный. На крик из палатки высунул голову повар Кармальо. Увидел все — и нырнул обратно.

Лейтенант Пенья смотрел на клацающее зубами, подрагивающее животное. Опоссум был ему противен. Ему было неприятно, что животное так хочет жить.

— Старшина, — сказал он, отходя, — давай решай с этим...

И калитка закрипела, провожая лейтенанта.

Спустя несколько минут опоссум перестал бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучал зубами. Там, наверху, решалась его судьба. Людям хотелось зрелищ.

Смерти опоссума надлежало быть по возможности мучительной.

Суд велся без различия чинов.

— Ут-топим, а? — предложил Рамирес.

Предложение было односложно забраковано Хосе Эскалоном. Он был молчун, и слово его, простое и недлинное, ценилось.

— Повесить сучару! — с оттягом сказал Эрреро, и на мощной шее его прыгнул кадык. Эрреро понимал всю затейливость своего плана, но желание увидеть опоссума повешенным внезапно поразило рассудок.

Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов, все это время сосредоточенно тыкал в морду опоссума прутиком, а потом поднял голову и, блеснув улыбкой, сказал:

— Жечь.

Приговор был одобрен дружным гиканьем. Признавая правоту Лопеса, Хосе Эскалон сам пошел за соляжкой. Опоссума обильно полили горючим, и Мендес бросил Рамиресу:

— Бегом за поваром!

Рамирес бросился к палатке, но вылез из нее один. Виноватая улыбка будто приросла к его лицу.

— Он не хочет. Говорит: работы много...

— Иди, скажи: я приказал, — тихо проговорил старшина Мендес.

Лопес выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а опоссум ждет. Эрреро парировал, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Хосе Эскалон высказался по национальному вопросу, хотя в Гондурасе давно не было евреев.

Тут из палатки вышел счастливый Рамирес, а за ним и Кармальо-индивидуалист. Пальцы повара нервно застегивали пуговицу у воротника.

— Ко мне! — рявкнул старшина Мендес и, когда Кармальо вытянулся по струнке рядом с ним, победительно разрешил: — Лопес, давай!

Опоссум, похоже, давно все понял, потому что уже не стучал зубами, а, задрав морду, издавал жалкий и неприятный скрежет.

Лопес чиркнул спичкой и дал ей разгореться.

Опоссум умер не сразу. Вываленный из посуды, он еще пробовал ползти, но заваливался набок, судорожно открывая пасть. Дворняга, притащенная Лопесом для поединка со зверьком, упиралась и выла от страха.

Вскоре в палатку, где, шмыгая носом, яростно тер маис повар Кармальо, молча вошел Хосе Эскалон. Он уселся на настил, заваленный лепешками, и начал крутить ручку старого транзистора. Он занимался этим целыми днями — и по вечерам уносил транзистор с собой в казарму. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, бил на звук москитов — и светящаяся перекладинка полночи ползала туда-сюда по стеклянной панели.

Эрреро метал нож в стены нижнего склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и смерть опоссума не утолила ее.

Рамирес растаскивал в стороны гнилые доски. Нежданный праздник закончился. Впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и сна, в котором он был горд, спокоен и свободен.

Глиста укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и ненавидел людей, с которыми свела его судьба на этом огороженном пятачке между гор.

Лейтенант Пенья, взяв свою дозу, лежал, истекая потом, на постели и презрительно глядел в потолок.

Старшина Мендес дремал на койке за занавеской. Голые коричневые ноги укрывала шинель. Приближался обед. Солнце, намертво вставшее над горами, припекало стенку, исцарапанную датами и названиями индейских поселков. До дембеля оставался месяц, потому что полковник Кобос обещал отпустить «стариков» в первые же дни.

А опоссума, попинав для верности носком сапога, Лопес вынес, держа за хвост, и, поднявшись в поселок, положил посреди дороги, потому что был веселый человек.

...

1983–1999

Рассказ «Опоссум» опубликован в журнале «Иностранная литература» (№ 2, 2000).

Автобио-граффити (часть вторая)

Осенью 1981 года замполит полка майор Буряк царским жестом выписал мне увольнительную на три дня: в Читу прилетели папа с мамой. Наутро в гостинице «Забайкалье» я рассказывал им сагу своей службы...

Изумить родителей удалось не только содержанием, но и лексикой.

— Витя, — переспросил отец, — мне кажется или ты материшься?

Ему не казалось. Год, проведенный в Забайкальском ордена Ленина, мать его, военном округе, сделал свое дело, и мат тек с моих губ самым автоматическим образом...

Печальные лица родителей произвели на меня впечатление: проводив их, я начал готовить себя к возвращению домой. И договорился с боевыми товарищами, что буду получать от них чилим всякий раз, когда они услышат от меня матерное слово.

Что такое «чилим»? Да вы в армии, что ль, не служили? «Чилим» — это вот что. На лоб человеку кладется пятерня правой руки; средний палец сильно оттягивается левой рукой, отпускается и с оттягу бьет человека в лобешник.

Хорошо поставленный «чилим» вырубает человека на срок до полуминуты.

Ставится «чилим» новобранцу за любую провинность — или за то, что показалось провинностью сержанту или старослужащему. Или просто под настроение.

С октября 81-го по май 82-го, во славу академика Павлова, я вырабатывал в себе отрицательный условный рефлекс. Боевые товарищи помогали, как могли. В Москву я вернулся с распухшим лбом и нормативной лексикой.

«Жаль, что вас не было с нами...»

За пару дней до демобилизации я стоял посреди Читы, возле киоска «Союзпечати» — в приятном и сильном недоумении. В киоске, в свободной и легальной продаже, лежала пластинка с рассказом Василия Аксенова в исполнении автора.

На дворе стоял май 1982 года. Аксенов уже несколько лет был беглецом и вражеским голосом. Из московских магазинов давно исчезли его книги; его повести аккуратно выдирались из библиотечных подшивок... А в Чите, в сотне метров от обкома, продавалась его пластинка.

Не дошла до здешних широт политинформация со Старой площади! То ли чересчур большая страна, то ли слишком тяжелый маразм.

Здесь было бы элегантно сказать: уже тогда, стоя у киоска «Союзпечати», я почувствовал — советские времена на исходе... Но нет, ничего такого я не почувствовал. Только приятный холодок в животе.

Аксенова к тому времени я видел лишь однажды: незадолго до своего отъезда в Америку он заходил к нам в студию, чтобы повидаться с Табаковым... Все это было в прошлой жизни. Какой будет моя новая жизнь, я, стоя у того киоска, совершенно не представлял.

Домой из Читы я вернулся странным маршрутом — через Казахстан. Уже давно «уволенный из рядов», я две недели ждал спецрейса на Москву, не дождался — и не в силах более съесть ни одной «пайки», рванул в Павлодар. Лишь бы на запад...

Из Павлодара, андижанским поездом, в компании насмерть проспиртованных товарищей-дембелей, я добирался до Казанского вокзала.

Отдельным кадром в памяти: раннее солнечное утро 12 мая 1982 года, двадцать второй троллейбус, разворачивающийся на площади... И я, стоящий в легком ступоре посреди московского муравейника, такого родного и такого непривычного.

Реабилитации проходила медленно. По целым дням я лежал на диване и слушал Второй концерт Рахманинова. Что-то есть в этой музыке, отчего хочется жить и за что не жалко умереть.

Умереть не умереть (для самоубийства я человек легкомысленный), а жить мне в ту пору не хотелось. Вернувшись, я не застал ни своей девушки, ни табаковской студии, которую благополучно придушила фирма «Демичев и К°»...

Пытаясь нащупать сюжет для дальнейшей жизни, я начал встречаться с хорошими людьми из прошлой жизни. Зашел к Константину Райкину: он к тому времени убыл из «Современника» и работал у папы. Мы договорились встретиться после спектакля; Костя вышел под руку с Аркадием Исааковичем — и вторично, спустя семь лет, я был представлен корифею.

Костя напомнил папе про спектакль «Маугли», в котором Аркадий Исаакович мог меня видеть. Райкин-старший взгляделся в меня и через паузу негромко сказал:

— Я помню.

Только спустя много лет до меня дошло: конечно, он меня не вспомнил! Не с чего ему было помнить меня, скакавшего в массовке... Но эта мастерски исполненная пауза сделала узнавание таким достоверным, что я почувствовал себя старым добрым знакомым Аркадия Исааковича Райкина.

Потом он пожал мне руку.

Эту руку спустя пару часов я продемонстрировал родителям, предупредив, что мыть ее не буду никогда.

Костя в ту пору делал в «Сатириконе» свой первый спектакль, и вскоре я познакомился с молодым драматургом Мишиным — его пьесой Райкин-младший как раз дебютировал в папином театре.

На читку пьесы я пришел в знакомый до сердечного нытья Бауманский Дворец пионеров, на улицу Стопани. Кого только не видел этот Дворец — в тот день он дождался Аркадия Райкина!

Судьбу постановки, как и судьбу всего и всех в своем театре, решал лично Аркадий Исаакович.

Очень симпатичные миниатюры Мишина читал Костя. Райкин-старший сидел в нескольких метрах от него с неподвижным лицом. На месте Мишина меня бы, пожалуй, хватил кондратий.

Труппа смеялась до упаду — Аркадий Исаакович слушал, как слушают панихиду. Он был строг и печален. Только в одном месте, когда хохот уже стал обвальным, классик приподнял бровь, прислушался к себе и тихо (и несколько удивленно) констатировал:

— Смешно.

Работать после армии я пошел в городской Дворец пионеров. Это была попытка, вопреки Гераклиту, войти в ту же студийную реку — правда, с другого берега...

Теперь я был педагог.

И вот мы сидим на общем комсомольском собрании, околачиваем груши; в трибуне бубнит освобожденный секретарь. Я играю в слова с милой девушкой из биологического кружка и размышляю, во что бы мне с нею поиграть дальше.

Дверь открывается, входит какой-то хрен и что-то шепчет секретарю. Тот прокашливается и говорит:

— Товарищи! Сегодня умер Леонид Ильич Брежнев.

Наступает тишина, но не трагическая, а какая-то... технологическая, что ли. Все сидят и соображают, что по такому случаю следует делать. Это потом уж вошли во вкус и стали держать Шопена наготове. А тогда...

Ну умер. Дальше-то что?

— Надо встать, что ли? — неуверенно произносит кто-то рядом.

Помедлив, приподнимаем зады.

— Садитесь, — говорит освобожденный секретарь.

Опускаем зады. Ясно, что доиграть в слова уже не судьба. Собрание заканчивается.

Через пару дней вхожу в редакцию «Иностранной литературы»; телевизор в холле рассказывает биографию товарища Андропова. И никому от этого никакой радости, кроме одного человека. Этот человек спускается в холл сверху, со второго этажа редакции, с громогласным криком:

— Что я говорил? Мой пришел первым!

Они там тотализатор устраивали, антисоветчики.

А мой друг Бильжо в это время работал в маленькой психиатрической больнице — чинил поврежденные мозги строителям коммунизма...

Когда умер Леонид Ильич, уровень тревожности в психушке повысился: врачи ходили напряженные, не ожидая от наступающих времен ничего хорошего; кастелянши были подавлены, старшая медсестра постоянно всхлипывала...

Пациенты с интересом наблюдали за ухудшающимся состоянием медперсонала.

Горе сплотило советский народ не на шутку — больным разрешили посмотреть похороны Генсека вместе со здоровыми. Длительное прослушивание Шопена благотворно повлияло на психов, но не на персонал. Когда лафет тронулся от Колонного зала, медсестры заплакали; когда загудели гудки заводов, старшая медсестра выла уже в голос.

Вдруг со стула встал пациент Волков. Молча подошел к телевизору и резко выключил звук. В больничном холле настала тишина (старшая медсестра от неожиданности тоже перестала выть).

Пациент Волков послушал тишину, удовлетворенно кивнул, вернул звук и сам вернулся на место.

— Зачем ты это сделал? — спросил его любознательный психиатр Бильжо.

— Я хотел понять, за окнами это гудит или в телевизоре, — ответил Волков.

Нормальный человек!

Об этих днях сохранилось много баек. Одну рассказал мне композитор Сергей Шустичкий...

Его закадычный дружок весь застой напролет собирал публикации о дорогом Леониде Ильиче. Скажет ли Леонид Ильич речь на пленуме ЦК, обратится ли к работникам мелиорации, примет ли по большой нужде товарища Юмжангийна Цеденбала, — все тот друг из газеты вырежет и в папочку положит. А потом читает, иной раз и вслух приятелям. То ли изощренная антисоветчина, то ли разновидность мазохизма — компетентные органы разобраться так и не успели...

И вот — ноябрь 82-го, юный Шустичкий уходит в армию из города на Неве и созывает друзей на проводы, а приятель, коллекционер идиотизма, извиняется: приехать не может, должен проститься с Леонидом Ильичом...

Дособирать коллекцию.

Поскольку о том, чтобы не проводить Брежнева, не могло быть и речи, а дружба тоже дело святое, Шустичкий решил пойти в армию на пару дней позже, а заодно, до кучи, проститься с Леонидом Ильичом (когда все равно идешь в армию, с кем только заодно не простишься).

Уже не чересчур трезвый, Шустик прибыл в хмурую столицу нашей Родины; продолжение последовало немедленно, и когда через день они с приятелем отправились в Колонный зал, выносить можно было уже их самих.

Приятель имел твердое намерение почитать над гробом из коллекции, но Шустик его отговорил.

Отстояв на холодке очередь скорбящих (свезенных по разнарядке с учреждений), друзья-добровольцы вошли наконец в траурное помещение. Там играла приятная музыка, причем не фонограмма, а вживую.

Шустик, сам профессиональный музыкант, от этого невероятно оживился и завертел головой, и увидел в глубине небольшой оркестр, а во главе оркестра — дирижера, своего товарища по музучилищу.

— Володя-я! — радостно закричал Шустик. — Приве-ет!

И замахал руками, и прямо из очереди к генсекову телу полез обниматься с дирижером. Напарнику еле удалось его перехватить — и еще долго потом он объяснял скрутившим Шустика гэбешникам, что это не чужеродная провокация, а честное родимое пьянство.

Но Шустичкому, по выходе от тела, друг заявил строго:

— Ты наказан. Я не возьму тебя на похороны.

И не взял!

И наказанный Шустик пропустил главную метафору эпохи застоя — он не увидел, как гроб с Генсеком сорвался напоследок с веревок и на глазах у планеты с грохотом обрушился в яму.

Лучшую «отходную» Брежневу соорудила, говорят, многотиражка Ленинградского мясокомбината.

На всю полосу, в черной рамке, красовался парадный портрет Генсека с наградами до пупа, а сверху, без лишних слов, сияло название газеты: «Мясной гигант».

Продолжение следует

На дворе стояли унылые времена последнего «совка» — что-то андроповско-черненко-ское... N. ехал тряским небыстрым автобусом из Ростова в Горловку, уснул, проснулся и увидел нечто, от чего похолодел сладким холодом. На окраине Горловки, на жилом доме огромными буквами было написано: «Победа коммунизма невозможна».

Несколько секунд N. пребывал в сладком обмороке, потом очнулся и вчитался в окончание фразы: «...невозможна без электрификации».

И подпись основоположника.

Ну слава богу.

Желание быть испанцем

Шел восемьдесят четвертый год.

Я торчал как вкопанный перед зданием ТАСС на Тверском бульваре. В просторных окнах-витринах светилась официальная фотохроника. На центральной фотографии, на Соборной площади в Кремле, строго анфас, плечом к плечу, стояли король Испании Хуан Карлос и товарищ Черненко.

Рядом со стройным Хуаном Карлосом стояла прекрасная королева София — возле товарища Черненко имелась супруга. Руки супруги товарища Черненко цепко держали сумочку типа ридикюль. Но бог с нею, с сумочкой: лица!

Два — и два других рядом.

Меня охватил антропологический ужас.

Я не был диссидентом, я был читатель «Литературки», тихий либерал советского покроя, но этот контраст поразил меня в самое сердце. Я вдруг ощутил страшный стыд за то, что меня, мою страну представляют — эти, а не те.

В одну секунду я стал антисоветчиком — по эстетическим соображениям.

Мало выпил...

В том же восемьдесят четвертом я сдуру увязался за приятелями на Кавказ. Горная романтика... Фишт, Пшехасу... Как я вернулся оттуда живой, до сих пор понять не могу. Зачем-то перешли пешком перевал Кутх, — причем я даже спортом никогда не занимался! Один идиотский молодежный энтузиазм...

Кутх случился с нами субботу, а ранним воскресным утром мы выпали на трассу Джава — Цхинвали и сели поперек дороги, потому что шагу больше ступить не могли. Вскоре на горизонте запылил грузовик — торговый люд ехал на рынок.

Не взяв ни рубля, нас, вместе с рюкзаками, втянули под брезент. Войны еще не было, сухого закона тоже; у ближайшего сельпо мужчины выскочили из грузовика и вернулись, держа в пальцах грозди пузырей с огненной водой.

А я был совершенно непьющий, о чем честно предупредил ближайшего грузина.

— А, не пей, просто поддержи, — разрешил он, передавая мне полный до краев стакан.

И встав в рост в несущемся на Цхинвали грузовике, сказал:

— За русско-грузинскую дружбу!

И я, не будучи ни русским, ни грузином, все это зачем-то выпил.

Чья-то заботливая рука всунула в мою растопыренную ладонь лаваш, кусок мяса и соленый огурец. Когда ко мне вернулось сознание, стакан в другой руке опять был полным.

— Я больше пить не буду! — крикнул я.

Грузин пожал плечами: дело хозяйское, — и сказал:

— За наших матерей!

В Цхинвали меня сгружали вручную — как небольшую разновидность рюкзака.

Но сегодня, после всего, что случилось в тех благословенных краях за тридцать лет, я думаю: может быть, я все-таки мало выпил тогда за русско-грузинскую дружбу?

Свадьба бабушки и дедушки

...состоялась, пока я был в армии.

Дед, старый троцкист, лежал в больнице для старых большевиков (старым большевиком была бабушка). При переоформлении бумаг у бабушки попросили свидетельство о браке, и тут выяснилось, что дедушка — никакой бабушке не муж, а просто сожитель.

В двадцать пятом году они забыли поставить государство в известность о переменах в личной жизни — государство все равно должно было вот-вот отмереть, по случаю победы коммунизма... Но коммунизма не случилось, и в 1981-м лечить постороннего старика в партийной больнице отказались наотрез. И отец написал за родителей заявления, и понес их в ЗАГС.

Отец думал вернуться со свидетельством о браке. Фигушки! Бабушке с дедушкой дали два месяца на проверку чувств.

За пятьдесят шесть лет совместной жизни бабушка с дедушкой успели проверить довольно разнообразные чувства, но делать нечего — проверили еще.

Как вступающим в брак в первый раз им выдали талоны на дефицитные продукты и скидки на кольца. Отец взял такси и привез стариков на место брачевания. Сотрудница ЗАГСа пожелала им долгих совместных лет жизни.

За свадебным столом сидели трое детей предпенсионного возраста.

«Крыса», впоследствии превратившаяся в «Опоссума», была моим первым рассказом. Вернувшись из армии, я написал их еще два-три и начал ходить по редакциям. От меня шарахались, но я был не только нетерпеливый — я был еще и жутко упрямый.

Я писал всё новые тексты и, как подметные письма, оставлял их на редакционных столах. Начавши с «Юности» и «Нового мира», в надежде славы и добра я быстро докатился до «Искателя» и «Сельской молодежи»...

Литконсультанты, как от преждевременных родов, берегли меня от ранних публикаций, за что сегодня я им очень благодарен. Но тогда, в середине восьмидесятых, при получении очередного «отлупа» только напивался тайной злобой.

Рецензии, надо сказать, я получал и впрямь удивительные. «Вызывает раздражение финал, в котором герой противен», — сообщал один специалист по литературе. Другой (в этой же связи) прямо просил меня ничего больше не писать. Третий (году эдак в восемьдесят четвертом) сетовал на невысокий уровень авторских обобщений.

За высокий уровень обобщений в восемьдесят четвертом году я бы уехал в Мордовию, лет на пять.

Консультант Боброва, обратив внимание на непривлекательность главного героя, посоветовала сделать героем кого-нибудь посимпатичнее — и, как для вступления в комсомол, дала рекомендацию эпизодическому персонажу.

Гораздо позднее я узнал об отзыве Николая Первого на «Героя нашего времени» — и был поражен сходством рекомендаций: государь император прямо советовал молодому литератору не морочить себе голову Печориным, а взять в герои, в государственных интересах, доброго Максима Максимыча.

Я, конечно, не Лермонтов (да и Боброва не Романов), а все равно приятно...

Иногда казалось: этих редакторов выводят в специальных питомниках. В каком-то смысле, впрочем, так оно и было: товарища Свиридова, помню, партия бросила на руководство журналом «Крокодил» непосредственно из системы МВД.

Ко времени нашего знакомства этот сумрачный здоровяк числился автором восьми книг, но, по моим наблюдениям, сам читал с трудом. Система МВД наложила на его интеллект неизгладимый отпечаток.

Иногда на тов. Свиридова нападали гуманитарные настроения.

— Заведу собаку, — сообщил он как-то, зайдя в отдел. — Пса. Настоящий друг. Придешь домой — он тебе рад, хвостом виляет... Настоящий друг!

— А если укусит? — уточнил подчиненный.

— Убью нахуй... — без секунды раздумья ответил тов. Свиридов.

Когда однажды на «планерке» я упомянул ассонансную рифму, тов. Свиридов прямо попросил меня не умничать.

Но не одним МВД жива была советская литература — юного Мишу Ляшенко в «Литгазету» отрядил комсомол. Однажды Миша взялся отредактировать мой афоризм...

Первоначально сие нехитрое изделие выглядело так: «Окурок — это сигарета с богатым жизненным опытом». Миша пообещал довести шутку до кондиции и погрузился в работу. Через полчаса напряженного литературного труда мой «окурок» стал «сигаретой, выдавшей виды».

Объяснять посланцу ВЛКСМ, чем парадокс отличается от описи, я не стал — и попросту сбежал из редакции, пока это не опубликовали под моей фамилией...

Блестящий дебют

Впрочем, вышеописанный комсомольско-милицейский фон был все-таки именно фоном, на котором еще ярче выделялись профессионалы. Меня «давали читать наверх», амортизировали отказы, говорили слова ободрения, предлагали приходить еще...

И я приходил, и доприходился: друг-редактор Виталий Бабенко пристроил в журнал «Искатель» мой большой рассказ!

И вот, представьте себе, через какое-то время я обнаруживаю, что «Искателя» с моим рассказом нет в киосках! Предыдущие номера есть, следующие есть, а тот, где дебютировал я, как корова языком слизала! И киоскерши говорят: ну что вы, этого номера давно уж нет, все только его и спрашивают...

Я задыхался от сердцебиения: первая публикация — и сразу такой успех!

Есть такое понятие: проснуться знаменитым. Я несколько дней подряд знаменитым — засыпал. А через неделю, совершенно случайно, узнал: именно в этом номере «Искателя», впервые в СССР, был опубликован роман классика английского детектива Хедли Чейза...

Из-за чего, разумеется, и случился ажиотаж.

Можно так поступать с человеком, я вас спрашиваю?

Существо всеядное, чего я только в те годы не писал — даже, наглец, переводил Шекспира: десять штук главных сонетов, как с куста! «Измученный, я призываю смерть...»

Смерти я не хотел — хотел жизни и славы!

Первой публикацией, в феврале 1984 года, стал мой стихотворный фельетон (почему-то это называлось — пародия). Я открыл «Литературную газету» — и увидел свою фамилию, набранную типографским шрифтом.

Йес-с-с!

Я закрыл газету, переждал сердцебиение — и открыл снова. Фамилия была на месте. Этот фокус я проделал в тот день еще несколько раз: никак не мог нарадоваться.

Потом я ехал в метро — и если видел у кого-то в руках «Литературку», то старался понять, не заветную ли полосу изучает пассажир. Если да — начинал ревниво всматриваться в лицо...

И горе было этому человеку, если он не смеялся!

Первый успех страшно меня ободрил, и я быстро затоварил редакцию «Литературки» своими пародийными упражнениями. Из счастливого стахановского состояния меня вывел заведующий «шестнадцатой полосой» Павел Хмара, обративший мое внимание на то, что мои шутки по силе комизма не дотягивают до эпиграфов.

И тогда я принес Хмаре практически заявление в суд.

История этого сюжета такова.

Роясь «в окаменевшем говне» корифеев советской литературы, я наткнулся на очередной опус Сергея Михалкова. Изделие называлось — «Советы начинающему поэту».

Я прочел михалковские советы и испытал чувство, пережитое Остапом Бендером наутро после того, как, вслед за Пушкиным, он написал «Я помню чудное мгновенье».

Я уже читал это, — правда, в гораздо более изящном изложении. И вспомнил, где я это читал! И достал с родительской книжной полки томик Библиотеки всемирной литературы, и принес в «ЛГ» «Два документа и элегию».

Документ № 1.

Раймон Кено, перевод Мих. Кудинова ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово,
Возьмите мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного звезд, немножко перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз, и два,
И много, много раз все это.

Теперь — пишите! Но сперва

Родитесь все-таки поэтом.

Документ № 2 выглядел так.

Сергей Михалков СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЭТУ

Как мне помочь своим советом

Тому, кто хочет стать поэтом?

Чтоб написать стихотворенье,

Помножь желанье на терпенье...

Для экономии места опускаю десяток наспех зарифмованных банальностей. Заканчивалось стихотворение так:

Вот мой совет. Но и при этом

Сперва, мой друг, родись Поэтом!

Элегия (уже моего производства) была совсем короткой:

Лысеют бывшие ребята,

Бурьяном зарастает сквер,

А дядя Степа — плагиатор,

Хоть в прошлом — милиционер...

Сегодня, с высоты знания предмета, я думаю, что обвинение в плагиате было не по адресу. Наш гимнописец, скорее всего, не читал ни Раймона Кено, ни даже собственный текст в журнале «Аврора». Сварганил все это какой-нибудь бойкий литературный негр с михалковских плантаций...

Хмара вернул мне мой листок и сказал:

— Замечательно.

Я спросил: как насчет того, чтобы это напечатать? Павел Феликсович посмотрел на меня, как на тяжелобольного, и сказал:

— Виктор! Это Михалков.

Я сказал: ну и что?

Хмара посмотрел на меня так, как будто я только что на его глазах, с рожками на плоской голове, вышел из летающей тарелки.

— Вы молодой человек, — задумчиво обронил Павел Феликсович, — у вас все только начинается...

Сказавши это, Хмара замолчал, но отчего-то я понял его в том смысле, что если произведение будет напечатано, у меня тут же все и закончится. За окном стоял восемьдесят четвертый год. Не вполне оруэлловский, но все же.

В общем, конечно, я нарывался — и не исключено, что нарвался бы, но тут случилась перестройка. Яд, накопленный мною к двадцати восьми годам, понадобился аптеке, и меня начали помаленьку публиковать...

«Забавная история...»

За двухстраничный рассказ на радио платили двадцать рублей — отличные деньги, по советским временам! На бойком отхожем промысле промышляли стаи юмористов.

Игорь Иртеньев каждое воскресенье, с утра, не приходя в сознание, шарашил парутройку «радийных» рассказов, после чего целую неделю бесплатно писал стихи, впоследствии сделавшие его классиком.

Такое соотношение труда и заработной платы мне очень нравилось, но протиснуться в советский эфир я так и не сумел, хотя формула успеха была раскрыта, по знакомству, Львом Новоженовым.

— «Радийный» рассказ, — учил он, — это забавная история, приключившаяся с хорошим человеком...

Засим следовал пояснительный список запретов.

Нельзя было писать рассказ про старушку: среди слушателей имелись старушки, и они могли обидеться. Среди слушателей также имелись: военные, рабочие, колхозники, учителя, врачи, горожане, селяне, местные, приезжие... И все они могли обидеться!

Хорошему человеку, с которым приключилась забавная история, надлежало быть просто хорошим человеком, палка-палка-огуречик, без социального наполнения. В идеале, следовало избегать какого бы то ни было смысла вообще. Что же до смыслов политических — тут все было заминировано по периметру!

— На нашей полосе, — инструктировал Павел Хмара, — ни в каком контексте не могут появиться слова: «Андропов», «тюрьма», «КПСС»...

Черт возьми. А такие смешные слова!

Светлый путь

Иногда, впрочем, цензурный бетон давал течь в самых неожиданных местах.

На исходе брежневской эпохи в газете «Вечерний Киев», среди невинной юмористической ерунды, был напечатан многотысячным тиражом афоризм Владимира Голобородько: «Прошел путь от спермы до фельдмаршала».

Через неделю Голобородько выгнали из партии.

Для усиления комического эффекта судьба позаботилась, чтобы его звали — Владимир Ильич.

Градация времен деградации

На рабочем столе у предшественника Хмары, Ильи Суслова, заведовавшего полосой сатиры и юмора «Литгазеты» в ее лучшие годы, лежали три папки с текстами.

На первой было написано «Может быть».

На второй — «Никогда».

На третьей — «Что вы, вообще никогда!».

Самые отменные тексты, разумеется, находились в третьей папке...

Фамильные драгоценности

Илья Суслов и К° вообще любили играть с огнем.

Как-то раз (наверное, в память о записных книжках Ильфа) в «Клубе 12 стульев» объявили внутриредакционный конкурс на лучшую фамилию. Ветер легенды донес до меня две из них.

Серебряную медаль взял индейский вождь Неистребимый Коган. А первое место занял — Пал Палыч Смертью-Храбрых!

...по редакции журнала «Итоги» (лучшего журнала свободных девяностых) пронеслась эпидемия, виной которой стал поэт и эссеист Лев Рубинштейн: в небольшую, но беспрецедентную голову Льва Семеновича пришла фамилия чеченского террориста — Ушат Помоев!

В результате, в течение пяти минут, коллективным мозгом редакции была рождена такая «новость дня»:

«В следственном изоляторе “Лефортово” ведутся предварительные допросы таких известных террористов, как Ушат Помоев, Рулон Обоев, Квартет Гобоев, Улов Налимов, Букет Левкоев, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев, Черёд Застоев, Подшум Прибоев, Погром Евреев, Поджог Сараев, Захват Покоев, Исход Изгоев, Подсуд Злодеев, Обвал Забоев, Угон Харлеев, Загул Старлеев, Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Разгром Шалманов, Друган Братанов, Забег Дебилов, Учёт Расходов, Парад Уродов, Разбор Полётов.

В качестве подозреваемых задержаны также гражданки Чеченской республики Сиди Покудова и Вали Отседова. По некоторым сведениям, среди арестованных имеется также воевавший на стороне боевиков абхазский снайпер Партучёба...»

Рубка «хвоста»

Отделом «Сатиры & юмора» в «Московском комсомольце», в перестроечные времена, заведовал упомянутый выше Лев Новоженев. Делал он это так. Брал из рук у автора рассказик и знакомился с содержанием первого абзаца. Потом заглядывал в последний абзац, получая представление о размере текста, откладывал листки в сторону и говорил:

— Сдам в четверг.

Мое честолюбие рвалось наружу — мне надо было, чтобы меня оценили, похвалили...

— Лева! — просил я. — Ну прочти!

— Ну, чего я буду это читать? — резонно отвечал Лева. — Я же вижу: хороший рассказ...

Лев Юрьевич имел в виду размер.

Если на верстке выяснялось, что текст не влезает в полосу, его сокращали простым арифметическим способом: отсчитывали лишние знаки с конца и ставили точку в том месте, где заканчивался отсчет.

Эта процедура называлась — «рубить хвосты».

Когда однажды, эдаким образом, мне отрубили «хвост» по самые уши, я потерял пиетет и возопил дурным голосом. Лев Юрьевич переждал авторскую истерику и меланхолично поинтересовался:

— Фамилию твою набрали правильно?

— Да.

— Ну вот, — сказал Новоженев. — Сегодня еще сто тысяч человек узнают, что ты есть на свете. Скажи спасибо!

И я благодарил Новоженева, и учился у него относиться ко всему философски... Но так и не выучился, кажется.

А насчет правильно набранной фамилии — Лев Юрьевич как в воду глядел!

Летом восемьдесят четвертого случилось одно из моих первых эстрадных выступлений. Этот дневной ужас происходил на окраине Москвы, в парке имени Дзержинского. За кулисами маялся пьяный в зюзю конференсье — москонцертковский детинушка в розовой рубаше.

— Старик, — сказал он, когда я втолковал ему, кто я и зачем пришел. — Как тебя объявить?

Видя состояние товарища по эстраде, я печатными буквами написал в тетрадке имя-фамилию, выдрал лист и отдал его в нетрезвые руки. Конференсье глянул в листок и сказал:

— Это мало.

— Нет-нет, — торопливо заметил я. — Совсем не мало. Больше ничего не надо!

— Старик! — улыбнулся детинушка и, приобняв, обдал меня запахом, свойственным здешней местности. — Ты не волнуйся, я тебя объявлю!

И он меня объявил.

— Выступает! — крикнул детинушка, как будто за кулисами ждал выхода как минимум Кобзон. — Лауреат премии журнала «Крокодил»! лауреат «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты»! лауреат...

Минуты полторы пьяница, набирая высоту, пророчил мне мои будущие лауреатства, и закончил незабываемо:

— Виталий Шендрякевич!

В те годы я частенько приходил в «МК» — и не только к Новоженову. Через пару дверей по тому же коридору в «Комсомольце» работал Александр Аронов.

Простенькая песенка «Если у вас нету тети...», ставшая классикой после выхода «Иронии судьбы», почему-то не сделала известным ее автора. Поразительным образом Аронов не умел — или не хотел — быть знаменитым!

Его поэзия — мощная, самобытная (как невозможно было ни с кем перепутать и самого Аронова: кряжистого, похожего на сильно выросшего тролля), — еще ждет настоящего признания.

Хорошему стихотворению некуда торопиться, но прочтите «Когда горело гетто...», прочтите «Остановиться, оглянуться...», прочтите «1956 год» — и вы удивитесь, что прожили десятки лет, не зная ни этих стихов, ни фамилии их автора.

История, однако, не про стихи, а про практическое напутствие, данное Ароновым перед моей женитьбой (невеста обитала в том же редакционном коридоре).

— Жениться, — сказал он, — нужно один раз, потому что каждая следующая жена хуже предыдущей!

И блистательно развил этот сомнительный тезис.

— Ей не можешь простить не только ее недостатки, но и отсутствие достоинств, которые были у предыдущих жен...

«Не делайте этого...»

Однако и единственная моя свадьба чуть было не расстроилась уже в ЗАГСе.

Мы пришли подавать документы и сели заполнять бумажки в кабинете у какой-то государственной тетушки. Тетушка включила радио, и строгий голос из приемника сказал:
— Не делайте этого!

Наши руки дрогнули и замерли над заявлениями.

— И скажите своим друзьям, чтобы этого не делали! — распорядился голос.

Через пару секунд выяснилось, что речь идет о разрушении муравейников.

Напоследок злобная радиоточка спела:

Нам дворцов заманчивые своды

Не заменят никогда свобо-оды!

Из армии я вернулся в некондиционном виде: оплывший от дембельской жизни, растолстевший от капусты с водой и забывший, что такое обычный кувырок через голову.

Не имея в виду ничего, кроме восстановления организма, я начал ходить на тренинг в Щукинское театральное училище — к родному со студийных времен Андрею Борисовичу Дрознину. Вставал сзади — и потел заодно с первокурсниками.

Тело возвращалось в человеческое состояние неохотно, зато помаленьку происходила реабилитация психическая: я снова был при деле, при людях, при театре...

Занятия Дрознина были интеллектуальным наслаждением: он гнул тела, одновременно атакуя мозги. Один из самых парадоксальных и штучных людей, которых послала мне щедрая судьба, Андрей Борисович всегда был немного миссионером!

И вот, будучи, так сказать, «дембелем» табаковской студии, я помаленьку втянулся в преподавание: сначала просто ассистировал Дрознину, а потом его куда-то вызвали с занятий, и, убегая, он оставил меня за себя...

Как сказано у О. Генри, «песок — неважная замена овсу», но провести разминку я был уже в состоянии. Ну, и пошло-поехало...

В один прекрасный день я провел с первым курсом целое занятие.

Потом судьба пошла на второй круг — Табаков набрал в ГИТИСе новый курс, и я начал преподавать в том же «табаковском» подвале на улице Чаплыгина, где провел юность.

И еще восемь лет потом работал на курсах Гончарова, Хейфеца, Захарова, Фоменко... Полы в помещении гитисовского тира, где проходили занятия по сцендвижению, крепко пропахли моим потом. Скажем так: и моим тоже!

Педагог я был, полагаю, на крепкую троечку, не выше, — зато сегодня, поймав в разговоре фамилию какой-нибудь звезды театра и кино, имею право небрежно кивнуть: а-а, да-да... мой ученик!

В 1986-м черт дернул меня подать документы в аспирантуру ГИТИСа.

Сдавши на пятерки специальность, я доковылял до экзамена по истории партии (другой истории, как и другой партии, в стране еще не было).

Взявши билет, я сразу понял, что сдам на пять.

Первым вопросом стояла дискуссия по нацвопросу на каком-то раннем съезде ВКП(б), вторым — доклад Андропова к 60-летию образования СССР. Все это, как назло, я знал назубок и, быстренько набросав конспект ответа, стал слушать, как комиссия допрашивает абитуру, шедшую по разнарядке из братских республик.

У экзаменационного стола мучалась девушка Лена из Киргизии. Зоя Космодемьянская рассказала немцам больше, чем эта несчастная — приемной комиссии.

Проблема экзаменаторов состояла в том, что повесить Лену они не могли: это был ценный республиканский кадр, который следовало принять в аспирантуру.

— Лена! — сказали ей наконец, — вы не волнуйтесь. Назовите нам коммунистов, героев Гражданской войны!

— Чапаев, — сказала Лена, выполнив ровно половину условия.

Комиссия тяжело вздохнула.

— А еще?

— Фурманов, — сказала Лена, выполнив вторую половину условия.

Ждать большего не имело смысла. Комиссионные головы переглянулись промеж собой, как опечаленный Змей Горыныч.

— Лена, — тактично подсказала одна голова. — Вот вы откуда приехали? Из какого города?

— Фрунзе, — сказала Лена.

Змей Горыныч светло заулыбался и закивал всеми головами, давая понять, что в поиске коммуниста-героя девушка находится на верном пути.

— Фрунзе! — не веря своему счастью, сказала Лена.

— Ну вот видите, — сказала комиссия. — Вы же все знаете, просто волнуетесь...

Получив «четыре», посланница советской Киргизии освободила место у стола, и я пошел за своей пятеркой с плюсом. Мне не терпелось возблагодарить экзаменаторов за их муки, и я сходу обрушил на них свою эрудицию.

Первым делом — подробно изложил ленинскую позицию по национальному вопросу. Упомянул про сталинскую. Отдельно остановился на дискуссии по позиции группы Рыкова — Пятакова. Экзаменаторы слушали меня, мрачняя от минуты к минуте.

К концу ответа у меня появилось тревожное ощущение, что я рассказал что-то лишнее.

— Все? — сухо поинтересовалась дама, чьей фамилии я, к ее счастью, не запомнил. Я кивнул. — Переходите ко второму вопросу.

Я снова кивнул и начал цитировать доклад Юрия Владимировича Андропова. Вывалив его наружу крупными кусками, я посчитал вопрос закрытым. И совершенно напрасно.

— Когда был сделан доклад? — поинтересовалась дама.

Я прибавил к двадцати двум шестьдесят и ответил:

— В восемьдесят втором году. В декабре.

— Какого числа? — уточнила дама.

— Образован Союз? Двадцать второго.

— Я спрашивала про доклад.

— Не знаю. — Я мог предположить, что и доклад случился двадцать второго, но не хотел гадать. Мне казалось, что это не принципиально.

— В декабре, — сказал я.

— Числа не знаете, — зафиксировала дама и скорбно переглянулась с другими головами.

И вдруг, в долю секунды, я понял, что не поступлю в аспирантуру!

В течение следующих двадцати минут я не смог ответить на простейшие вопросы. Самым простым из них была просьба назвать точную дату подписания Парижского договора о прекращении войны во Вьетнаме. Если бы я вспомнил дату, меня бы попросили перечислить погибших вьетнамцев поименно.

Шансов не было.

Как некогда говорил нам, студийцам, Костя Райкин: «Что такое страшный сон артиста? Это когда тебя не надо, а ты есть».

Я понял, что меня — не надо, получил свои два балла и пошел прочь.

Я ехал после того экзамена домой, стараясь не смотреть в отражение в темном стекле вагона. Из стекла на меня смотрел неудачник. Окончательный лузер, полное социальное ничтожество, полунищий графоман...

Сегодня я вспоминаю об этом с печалью совершенно иного рода.

О господи, — ну зачем, зачем была мне та аспирантура? Ведь я же видел, что близко не подхожу к высотам, на которых ведут восхождение мои учителя по театральной профессии — Дроздин, Карпов, Морозова?

Видел.

Я же понимал, что мое место — за письменным столом? Понимал.

Но батюшка «совок» еще крепко сидел во мне и требовал статуса. Аспирант, кандидат, доктор наук, место в президиуме, венок от месткома... Чтобы все, как у людей!

Через год, запасшись *разнарядкой*, я, сам не знаю зачем, поступил в эту чертову аспирантуру, чтобы бросить ее перед самой защитой.

Я писал каждый день, я жил пишмашинкой «Эрика» и своими листочками на скрепочках, я был все свободнее и веселее в этом волшебном занятии и всем организмом чувствовал, что хочу заниматься только этим, — но еще несколько лет по инерции продолжал поливать потом полы гитисовского тира и гимнастического зала в Щукинском училище...

Сила воображения

Нас, ассистентов-стажеров, было в Щукинском училище четверо. Однажды, придя в назначенный день к окошечку кассы, мы, вместо ассигнаций, получили вежливое сообщение о том, что денег нет.

— Как нет?

А так — нет, и все! Перед нами закончились.

Год на дворе стоял восемьдесят восьмой, советская машина на ходу отбрасывала колеса, и взятки были гладки.

Но дома хотела есть маленькая дочь, и я пошел к ректору.

Ректор Пелисов, устало глядя на меня, подтвердил: денег нет. При всем его желании и сочувствии. Через месяц отдадут непременно, а сейчас — увы. И ректор коротко развел руками, давая понять, что диалог закончен.

Но мне уходить было некуда.

— Может быть, попробуете их где-нибудь найти? — в растерянности спросил я.

— Где я найду? — пожал плечами Пелисов.

Найти надо было четыреста рублей (по стольнику на стажера). Искомая цифра встала у меня перед глазами, и вдруг я понял, что недавно видел ее наяву. И вспомнил, где именно видел.

В ведомости я ее видел, разумеется, и много раз!

Напротив строчки «Симонов Евгений Рубенович».

— Георгий Александрович, — холодея от собственной наглости, сказал я. — А вот если бы этих четырехсот рублей не хватило на зарплату Евгению Рубеновичу, — как вы думаете, они бы нашлись?

Я сказал это — и сам представил эту картину. Вот Евгений Рубенович приходит в кассу училища; вот ему говорят: знаете, а вам денег нет (всем есть, а вам — нет)...

Вот Щукинское училище взлетает на воздух...

Видимо, перед глазами ректора прошла та же картина, потому что он сильно изменился в лице.

— ...нашлись бы деньги? — спросил я.

— Нашлись бы, — угрюмо согласился ректор и только тут, кажется, в первый раз посмотрел на меня, а не сквозь.

Назавтра нам выдали наши стольники.

Я веду предварительное прослушивание, принимая на себя первый вал абитуриентов: по семьдесят страдающих в день, с перепадами репертуара от Цветаевой до Асадова...

«Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского я выучил за это время наизусть, сцену Наташи и Сони из «Войны и мира» — близко к тексту... Однажды мне прочли стихи Баратынского, объявив их автором Евтушенко. Какая, действительно, разница? — Евгений и Евгений!

А однажды...

В тот день я позвал на прослушивание свою молодую жену. Решил подраспустить хвост: мол, знай наших, принимаю экзамены в Щукинском училище! Ну, и довыпендривался.

Со стула поднялась девушка и без лишних формальностей (фамилия, имя, возраст, город, имя автора, название произведения), приблизившись ко мне почти вплотную, сказала интимным голосом:

— Я хотела бы жить....

Она внимательно посмотрела мне в глаза и уточнила:

— ...с вами.

Я похолодел. Девушка была хороша; грудь ее неровно вздымалась в полуметре от моих глаз.

— В каком-нибудь маленьком городе... — прикинула девушка обстоятельства нашей совместной жизни. Давая, впрочем, понять, что готова рассмотреть варианты. Кажется, в крайнем случае, она была готова пожить со мною и в большом городе.

— У тебя трудная работа, милый, — сказала жена после прослушивания.

Да на износ!

Танцы с народными

Я работал во МХАТе...

Звучит нагловато, но факт есть факт: пластические номера в одном тамошнем спектакле в конце восьмидесятых — моих рук дело. Особого следа в драматическом искусстве от этого спектакля не осталось, зато какие воспоминания!

Главную мужскую роль играл замечательный Петр Иванович Щербаков. По замыслу драматурга, ближе к финалу он должен был танцевать с героиней (народной артисткой Гуляевой) некое танго...

Я придумал совсем простенький рисунок, но добиться его выполнения от двух «народных» не мог, хоть убей! Опытным путем я выяснил, что если с ними «пройти» танго три раза подряд, на четвертый они начинают попадать в нужную долю. Проблема, таким образом, заключалась в том, чтобы этот четвертый раз приходился на спектакль... Но тут-то меня и ждал облом.

На мой трудовой энтузиазм народные артисты реагировали сдержанно. Говоря определеннее, на репетицию перед прогоном приходил только я. День сдачи спектакля приближался. Я начинал вибрировать.

— Маэстро, — сказал Щербаков, — ты не волнуйся. Мы же артисты. На сдаче все сделаем... Вот увидишь!

Отчасти слово свое он сдержал: я увидел. К сожалению, не я один.

Впрочем, общего впечатления моя работа испортить не могла; задолго до танца, на четвертом часу просмотра, Олег Ефремов тоскливо прокричал из зала:

— Давайте как-то заканчивать эту бодягу!

Худруку МХАТа было легче, чем мне: он должен был отсмотреть произведение один раз, и гори оно огнем...

— Маэстро, — сказал Щербаков. — Ты, главное, не волнуйся. На премьере мы тебя не подведем.

— Давайте пройдем хоть пару раз! — взмолился я.

Щербаков приобнял меня за плечи:

— Маэстро, на премьере все будет замечательно. Мы же артисты!

К премьере они действительно резко прибавили, но к танцу это не относилось.

И я понял, что — не судьба. Только время от времени еще приходил на спектакль, а потом являлся Петру Ивановичу за кулисами, молчаливой тенью отца Гамлета...

При крупном телосложении Щербаков был тонким человеком.

— Маэстро! — сказал он мне наконец. — Ты не приходи. Когда тебя нет, мы танцуем замечательно! Зал аплодирует! Спектакль останавливается! А когда я знаю, что ты смотришь, я волнуюсь, — сказал народный артист и лауреат всего на свете безвестному ассистенту по пластике.

И строго посмотрев мне в глаза, закончил почти с угрозой:

— Не приходи!

И я перестал приходить. Но через пару месяцев все ж таки тихой сапой проскользнул в зал — ближе к девяти вечера, как раз к злосчастному танцу. Никто из артистов не догадывался, что я здесь, и чистота эксперимента была обеспечена. Я знал, что в моей профессии чудес не бывает, но сцена началась, и сердце забило учащенно.

Когда заиграл патефон, я подумал: а вдруг?..

Ничего не вдруг.

Народный артист СССР Щербаков и народная артистка СССР Гуляева умело миновали мой пластический рисунок, станцевали, что бог послал, — и устремились к финалу.

Откланявшись, Петр Иванович вышел за кулисы и увидел меня.

— Маэстро! — воскликнул он и развел руками. — Ты! Черт возьми! А я чувствую: что-то мне сегодня мешает!

Так, сокращенно, называется пьеса Петера Вайса, полный титул которой невозможно выговорить, не задохнувшись: «Преследование и убийство Жана Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада».

Замечательный Ефим Давыдович Табачников ставил пьесу в Нижнем Новгороде, а я был у него ассистентом по пластике.

Славное было время! Однажды репетицию прервало появление помрежа с криком:

— Там Сахаров говорит!

И все побежали к телевизору, стоявшему за кулисами.

Шел Первый съезд Советов народных депутатов... Страна менялась каждый день.

Но, слава богу, есть люди, которым нет необходимости меняться, чтобы совпасть с новым временем: любое время может сверять себя с ними — и сокрушаться несовпадению.

Маркиза де Сада играл Вацлав Янович Дворжецкий — отец двух блистательных и, увы, тоже покойных ныне артистов: Владислава и Жени. Сам Вацлав Янович был артистом недюжинным, но поражал прежде всего человеческим величием. Это было именно величие, притом подкрепленное физическими данными. Когда этот почти восьмидесятилетний человек пожимал руку, ладонь потом болела. Огромные голубые и как будто детские глаза, в сочетании с биографией, делали его совершенно неотразимым.

А биография у Дворжецкого-старшего была — что надо.

Я, разумеется, знал, что Дворж, как все его называли, был репрессирован — но кто не был репрессирован? Поражали подробности. Однажды, когда кто-то из молодых высказался насчет того, что при Сталине сажали ни за что, Дворж заметил довольно надменно:

— Это их ни за что, а меня — за дело!

Он был арестован в двадцать девятом году в Киеве как участник кружка «Группа освобождения личности». Каково?

И какая честь — знать, что тебя арестовали за дело!

Бодрое перестроечное время, когда каждую неделю рушилось по бастилии, напивало меня оптимизмом довольно неадекватным. В этом расположении духа я зашел однажды в редакцию «Крокодила» и застал там ядовито хохочущего редактора Флорентьева...

В руках у Лени были листки, набитые точечным принтером. Ровные прямоугольнички текста означали, что хохочет Леня над стишками.

— Слушай! — велел он и продекламировал:

Пусть ни один сперматозоид
Иллюзий попусту не строит,
Поскольку весь наш коллектив
Попал в один презерватив...

Когда я разогнулся и снова смог дышать, то спросил: кто это?

И Леня ответил:

— Борис Заходер.

Мой приятель

...прозаик Михаил Попов сформулировал в те годы: «Берия разоблачен окончательно, но рифма должна оставаться точной!».

Александр Гольц, работая в те годы в «Красной звезде», придумал заголовок, подходивший к любому материалу этой славной газеты: «Их планам не сбыться!».

Но военное руководство газеты в его помощи не нуждалось: вивисекция русского языка происходила там ежедневно. Однажды на партсобрании — в целях повышения улучшения доходчивости изложения — было решено «собрать круг ограниченных людей»...

...тоже не отставала!

Отец любил цитировать отчет о пуске электростанции, обнаруженный им в газете «Труд»: «оператор повернул рубильник, и ток медленно побежал по проводам...».

Начальственный окоп

Однажды на встречу с молодыми литераторами пришел большой литературный начальник Феликс Кузнецов. Типа перестройка!

Боясь спугнуть свое счастье, творческая молодежь осторожно покатила бочку на унылую реальность. На невозможность пробиться к читателю, на рабскую зависимость от цензуры...

Феликс Феодосьевич с полчаса брезгливо терпел эти ламентации, а потом сказал:

— Вот я слушаю вас и вот о чем думаю... Сегодня — годовщина битвы под Москвой! Сорок пять лет назад мы с поэтом Сергеем Викуловым, с винтовками-трехлинейками в руках, лежали в окопах, защищая столицу... Мы защищали Родину, защищали вас. А вы — все только о себе да о себе... Подумайте о Родине!

И ушел.

Много раз с тех пор я наблюдал, как парализует державное хамство. Встанет эдакий кадавр, на котором клейма негде ставить, заговорит от имени Родины, отхлещет тебя прилюдно по щекам от имени ветеранов войны, — и ты, внук погибшего на той войне, будешь сидеть, отводя глаза и глотая слова...

Ни с какой трехлинейкой ни в каких окопах этот тип, разумеется, отродясь не лежал. В сорок первом ему было десять лет.

Возрастная категория

А еще из того собрания мне запомнилась реплика Вячеслава Пьецуха.

— Мне сорок два года, — сказал он, — я уже с тревогой смотрю в сторону кладбища, а все «молодой писатель»...

Внедрение в литературу

В конце восьмидесятых в пансионате «Березки» проходило Совещание (именно так — с прописной буквы) молодых советских писателей. Я там был, мед-пиво пил.

По результатам Совещания ожидалась раздача слонов: приглашенные в «Березки» автоматически становились будущим советской литературы. Но особо одаренным было невтерпех.

Вечером третьего дня не сильно молодой писатель по фамилии, ну, скажем, Сеструхин, начал агитацию среди товарищей. Целью операции было скорейшее внедрение в литературу.

— Идти на полставки, — инструктировал Сеструхин, — садиться в редакции, брать отделы!

— Зачем? — спросил кто-то. В сумерках голоса звучали вполне конспиративно.

— Печататься, — лаконично отвечал Сеструхин. — Пора вытеснять сорокалетних!

Стоял летний вечер. Стрекотали кузнечики, плыла луна. Молодые писатели, сгучковавшись вокруг внезапного лидера поколения, прикидывали свои возможности по вытеснению сорокалетних.

— Иначе не пробиться! — говорил Сеструхин.

Он был похож на уцененного Пестеля. Революционный пафос его речей оборачивался скучной правотой короеда. Чтобы преодолеть цензуру, предлагалось стать ее частью.

И все же за нескрываемой обидой этого человека виделись чердаки, забытые тайными рукописями, вечные истины, ждущие своего часа под спудом безвременья, практически из-под глыб...

— Миша, — спросил я, — а много у тебя написано?

Глядя в закатное небо, Сеструхин пошевелил губами, что-то перемножил в уме и ответил:

— Тыщ на двадцать!

На семинар Андрея Кучаева я попал в 1984-м.

Андрей Леонидович был для меня в ту пору, прежде всего, автором рассказа «Мозговая косточка», от которого я помирал со смеху еще в незапамятном детстве... Знакомое имя материализовалось в крупного мрачноватого мужчину, больше похожего на боксера-полутяжа, чем на юмориста.

Обучение Кучаев начинал с нокаута. Все мы, выходявшие на этот ринг в статусе гениев (а кто не гений по молодости лет?), расползались потом по углам еле живые.

Условия тренировок были предельно жесткими: человек читал вслух — остальные слушали. Слушали чаще всего, увы, молча...

Я знаю, почему «легкий жанр» считается самым трудным: как минимум, потому что он — самый честный! У поэта или новеллиста публичный успех отделен от провала полутонами — глубиной дыхания, качеством тишины, длиной аплодисментов...

Юморист обязан рассмешить здесь и сейчас. Не рассмешил — проиграл, и твое поражение безусловно! Как, впрочем, безусловна будет и твоя победа — ибо нельзя же, отхохотавшись, заявить, что было не смешно...

Удач на нашем семинаре, за несколько лет, я вспомню не больше десятка. Замечательные рассказы Георгия Заколядажного «Река» и «Фабрика грез», симпатичные стилизации Федора Филиппова, стихи Сергея Сатина... Успехи помню поштучно — провалы были нормой. Автор заканчивал читку в тишине и к середине обсуждения проклинал тот день и час, когда взял в руки перо.

Последним говорил Кучаев.

Мои экзерсисы тех лет он похвалил, кажется, только пару раз: мрачноватое лицо вдруг освещалось усмешкой и становилось теплым. Эта фирменная кучаевская усмешка стоит перед глазами.

Он обладал настоящим чувством юмора — по аналогии с шахматами, я бы назвал это чувство позиционным. Он учил не смешить, а вышелушивать смысл.

Некоторые его формулировки я запомнил как рецепты — и пользуюсь ими уже много лет. Но главное, конечно, не рецепты: Кучаев помогал пишущему понять себя, осаживал самодовольных, жестко стыдил за потерю вкуса. Безжалостно лечил литературную местечковость, заставлял увидеть свой текст в большой координатной сетке...

Работаете в жанре черного юмора? Отлично. Что читали Хармса? Роальд Даль, Борис Виан? В первый раз слышите? Поговорим, когда прочтете.

В начале девяностых Андрей Леонидович уехал в Германию. В Москве появлялся нечасто. Испытывая пожизненную благодарность, я продолжал прислушиваться к его оценкам.

Кучаев умер в мае 2009-го.

Почему смешно?

С Леонидом Лиходеевым я познакомился в 1988 году, на том самом Совещании в «Березках».

Я, конечно, знал, с кем имею дело: фельетонами Лиходеева страна зачитывалась в первую оттепель — собственно, он и вернул в русскую литературу этот жанр.

Симпатия и уважение к Леониду Израилевичу были у меня наследственные: мой отец приносил ему на пробу свои тексты еще в конце пятидесятых... Сам я в личном обучении у классика был всего один день — тот самый день Совещания молодых писателей.

Разбор моих текстов Лиходеевым помню дословно. Впрочем, запомнить было нетрудно. — Вот смотрите, — сказал классик, взявши в руки мои листки. — Над этой шуткой смеялись, а над этой — нет. Почему?

Я не знал.

И тогда он сам ответил на свой вопрос:

— Потому что это — правда, а это — нет. А смешно то, что правда!

Все гениальное просто. Полтора десятка лет я прикладываю лиходеевскую мерку к текстам, своим и чужим, и все больше убеждаюсь в ее точности. Смешно то, что правда.

Непременно парадоксальная, но обязательно — правда!

В апреле 1989-го я положил в чемодан белую рубашку и несколько машинописных листков — и устремился на юг, на конкурс молодых писателей-сатириков, объявленный, по случаю разбушевавшейся перестройки, на «Юморине» в Одессе.

Перед этим пришлось пройти отборочный тур в Туле.

Отбирала победителей публика, и воспоминание об этом до сих пор продирает меня крупной дрожью.

Желание понравиться публике — то, от чего первым делом отучивают студентов театральных институтов. Для литератора же такой критерий — вообще смерть! Там, где оценивается не текст, а способность, как говорят суровые профессионалы жанра, «положить зал», — мало шансов у Зощенко и Вуди Аллена. Гениальные исключения (Жванецкий) лишь подтверждают жутковатое правило...

Писал я на ощупь, об эстрадном хлебе представление имел самое смутное и до сих пор благодарен тулякам, позволившим мне вскочить на подножку поезда (я занял третье место).

А победил в том отборе, а потом и на конкурсе — блестяще и без вопросов — рижанин Борис Розин. Зачем ему, автору текстов Геннадия Хазанова и признанному профессионалу, понадобилось участие в этом состязании, так и осталось для меня загадкой. Вообще-то его место было в жюри...

Наутро мы завтракали в тульском гостиничном буфете, и выяснилось, что Розин только что вернулся из Торонто и вскоре уезжает туда насовсем.

Две недели, проведенные в мире мытых с мылом мостовых, окончательно сорвали и без того желчного Бориса с советской резьбы. С трудом удерживая себя от мордобоя, Розин терроризировал официантку. Его интересовало буквально все: почему на скатерти пятно, почему на столе нет салфеток, почему у вилки отломан зубчик, почему к нам не подошел менеджер...

Менеджер — в восемьдесят девятом году, в гостиничном буфете в Туле!

Когда Розин холодно полюбопытствовал, почему официантка ему НЕ УЛЫБАЕТСЯ, я понял, что бить морду, и в самое ближайшее время, будут — нам...

Впрочем, Боря был прекрасен и до всякой Канады. Геннадий Хазанов вспоминал, как однажды (в глубоко советское время) он пригласил Розина прокатиться с ним не то в Подольск, не то в Серпухов — выступить, подмолотить денег, а заодно пообщаться.

Оттуда прислали машину — и они поехали. И когда съехали со стратегического шоссе собственно в Россию и машину затрясло по колдоебинам, рижанин Розин вежливо осведомился у шофера:

— Простите, а что: вчера бомбили?

Шофер поглядел на Борю из зеркальца дикими глазами.

Гран-при

В жюри одесского конкурса молодых писателей-юмористов по случаю перестройки сидели: журналистка, банкир, советский работник, редактор радио... Обидно, что никак не были представлены железнодорожники и работники ГАИ.

Но! Председателем жюри был — Григорий Горин!

Потом он уверял меня, что я бормотал текст, глядя на него чуть ли не с вызовом: мол, вы вообще не умеете стоять на эстраде, а туда же: сидите в жюри... Я этого не помню — я вообще ничего не помню; кажется, я был без сознания.

Журналист, банкир, советский работник и редактор радио твердо видели меня в гробу, Горин вступался, и в результате компромисса я занял пятое место. Жутко переживал я по поводу этого пятого места; оно казалось мне поражением...

Я вернулся в Москву, и через какое-то время мне стали звонить из редакций и интересоваться, нет ли у меня чего-нибудь для них. Это было что-то новенькое... Вдруг начали приглашать на выступления в хорошие места. Я шел по следу и раз за разом обнаруживал, что мое имя называл и рекомендовал ко мне присмотреться — Горин.

Тут только до меня дошло, что я получил в Одессе настоящий «гран-при»: внимание и симпатию Григория Израилевича...

ПРИЛОЖЕНИЕ

Этот текст был написан в марте 2000 года: Горину только что исполнилось 60 лет...

Горин

«Писать о Горине трудно. Виною этому пиетет — чувство, не прошедшее за десять лет личного знакомства.

Откуда бы?

В нашем бойком цехе, где принято, без оглядки на возраст, называть друг друга сокращенной формой имени в уменьшительно-ласкательном варианте, Горин твердо остается Григорием Израилевичем. Он, конечно, отзовется и на Гришу, но раньше у меня закаменеет язык и пересохнет гортань.

Потому что он, конечно, не чета нам, сухопутным крысам эстрады и ТВ. Горин давно отплыл от этих гнилых причалов. С командорской трубкой в зубах он возвышается на капитанском мостике и вглядывается вдаль.

Перед ним — необъятные просторы мировой драматургии и всемирной истории. Он плывет туда, где бушуют настоящие страсти, — и там, на скорости пять драматургических узлов, как бы между прочим ловит рыбку-репризу.

Она идет к нему в сети сама, на зависть нам, юмористам-промысловикам, в это же самое время, в разных концах Москвы, мучительно придумывающим одну и ту же шутку ко Дню милиции.

Завидовать тут бессмысленно, ибо шутка у Горина — результат мысли, и блеск его диалогов — это блеск ума. Этому нельзя научиться. То есть научиться, конечно, можно, но для начала необходимо выполнение двух условий. Во-первых, надо, чтобы черт догадал вас

родиться в России с душой и талантом, но при этом еще и евреем с дефектом речи. А во-вторых, чтобы все это, включая дефект речи, вы сумели в себе развить — и довести до совершенства.

Чтобы всем окружающим захотелось стать евреями, а те из них, кто уже, чтобы пытались курить трубку в надежде, что так будет глубокомысленнее, и начинали картавить в надежде, что так будет смешнее...

Будет, но недолго.

Потому что в инструкции одним черным записано по белому — “с душой и талантом”.

Горин, конечно, давным-давно никакой не писатель-сатирик. Эта повязка — сползла. Или, скорее, так: Горин — сатирик, но в старинном качестве слова. Его коллегой мог бы считать себя Свифт — и думаю, не погнушался бы, особенно если бы прочел пьесу про самого себя.

Выдержав испытание театром и телевидением, горинская драматургия выдержала главное испытание — бумагой. Горина интересно — читать! Прислушиваясь к себе и сверяя ощущения. Вспоминая.

Помню, как я ахнул, в очередной раз прилипнув к телеэкрану — “Мюнхгаузена” показывали вскоре после смерти Сахарова, и еще свежи были в памяти скорбно-торжественные речи секретарей обкома с клятвами продолжить правозащитное дело в России. Я будто впервые увидел вторую серию этой ленты — и поразился горинскому сюжету, как пророчеству.

Григорий Израилевич чувствует жизнь, он слышит, куда она идет — и умеет написать об этом легко, смешно и печально. Поэтому, как было сказано по другому поводу у Бабеля, он Король...»

Ему оставалось жить три месяца. Проклятым летом 2000-го я вспоминал печальное ахматовское: «Когда человек умирает, изменяются его портреты»...

Зиновий Гердт говорил про Андрея Миронова: «После смерти Андрюша стал играть еще лучше». Конечно, лучше! Смерть устаканивает масштабы, прочищает восприятие... «Время — честный человек...»

Блестяще одаренный при жизни, после смерти Григорий Горин стал писать гениально.

Два редактора

Редактором моей первой книжки — в 1990 году, в библиотечке журнала «Крокодил» — должен был стать фельетонист Александр Моралевич, человек блестящий и едкий.

Едкость эта стоила ему недешево. Рассказывают: как-то в разгар застоя он сдал свой очередной фельетон и уехал в отпуск на Черное море. Купил там свежий номер «Крокодила» — фельетона нет. Александр Юрьевич позвонил в редакцию. Секретарша главного сказала: ваш фельетон читают. Фельетон не вышел и в следующем номере. Моралевич позвонил. Секретарша сказала: еще читают...

Тогда Моралевич пошел на ближайший черноморский телеграф и послал в издательство «Правда», в журнал «Крокодил», на имя главного редактора, телеграмму-молнию следующего содержания: «Напоминаю вам зпт что русский алфавит состоит из следующих букв двтч А зпт Б зпт В...»

Дошел до конца алфавита и подписался.

Надо ли говорить, что большой карьеры в советской журналистике этот человек не сделал?

Ко мне Александр Юрьевич отнесся с приязнью — и во внутренней рецензии на мою рукопись рекомендовал ее к публикации в довольно смелых выражениях. Вот что надо печатать в библиотечке «Крокодила», написал Моралевич, а не то говно, которое мы издаем!

После такой рекомендации моя книжка была отодвинута с текущего года на будущий, Моралевича от работы отстранили, и редактировать меня взялся лично главный редактор «Крокодила» Алексей Пьянов.

Алексей Степанович подошел к работе ответственно и начал книжку улучшать, изымая из нее тексты, портившие впечатление от молодого автора. Молодой автор в возрасте Христа, будучи евреем, торговался, как цыган.

Миниатюра про деревню Гадюкино, впоследствии довольно известная, стала поводом для любопытнейшего диалога...

— Виктор! — сказал главред «Крокодила», ознакомившись с судьбой несчастной деревни (ее, как вы, может быть, помните, смыло). — Это совершенно оскорбительная вещь. У нас в стране шестьдесят процентов населения живут в сельской местности. Они не виноваты, что живут так плохо!

Будучи человеком осторожным, я не стал выяснять у Пьянова, кто же в этом виноват, а забормотал в том смысле, что вещь вообще про другое написана. Не про низкий уровень благосостояния в сельской местности.

— А про что? — заинтересовался Пьянов.

Тени Ключевского и Чаадаева встали по углам редакторского кабинета. Я заговорил о странной судьбе России, о ее замкнутости в себе, метафизической оторванности от мира...

— Ну что вы, Виктор! — мягко прервал меня Алексей Степанович. — Какая оторванность? Я только что вернулся из Канады.

«Деревня Гадюкино» изменила мою судьбу.

Летом 1989-го, за кулисами ДК имени Владимир Ильича, я подстерег Геннадия Викторовича — и подсунил ему, заодно с другими листками, листок с этим текстом.

Перезвонив в назначенный день, я очнулся в новом статусе. Очень хорошо помню этот момент: вешаю трубку в подземном переходе на «Пушкинской»... оборачиваюсь... мимо идут ничего не подозревающие люди... а у стеночки, эдак скромно, как простой смертный, стою я — «автор» Геннадия Хазанова!

Когда Геннадий Викторович стал оптом скупать мои тексты, я начал свысока поглядывать на памятник Гоголю. Я писал и приносил еще, и Хазанов снова это покупал...

Большую часть купленного он так никогда и не исполнил.

Только через несколько лет до меня дошло: Геннадий Викторович просто оказывал мне гуманитарную помощь, — заодно привязывая к себе прочными материальными нитями. Благосостояние мое изменилось в тот год заметно, но привязал меня к себе Хазанов — не гонорарами...

Эстрадные тексты Геннадий Викторович пробовал на «станиславский» зуб, хорошо знакомый мне по театральному институту. Персонаж говорит *это*, а потом поступает *так* — почему? Мотивы, социальный портрет, психологическая правда...

Эта разборчивость была особенно заметна на фоне, который я успел разглядеть: едва по эстраднему цеху прошел слух о новом хазановском авторе, мне начали делать предложения.

— Виктор! — говорила мне одна звезда союзного значения. — Ты талантливый парень! Напиши мне текст, чтобы зрители умерли.

Идея мне приглянулась. Но как достичь этого чудесного эффекта? Может быть, есть какой-то сюжет?

— Какой нахуй сюжет? — удивилась звезда.

— Ну, может быть, персонаж? — пытался зацепиться я.

— Какой нахуй персонаж? — закричала звезда. — Просто чтоб они сложились, блять, впополам и сдохли!

Я был не против того, чтобы зрители сложились впополам и сдохли, но без сюжета и персонажей делать этого не умел (надеюсь, никогда и не научусь).

А на хазановские концерты я ходил в те годы через день, наслаждаясь хохотом на своих текстах. Впрочем, Хазанов мог исполнить и телефонную книгу — попутно обнаружив там и сюжет, и персонажей. И зрители бы сложились впополам!

С осени 1989 года я начал ездить с ним на гастроли.

Первой была — Полтава. Дождя в Полтаве не было полтора месяца — весь запас воды природа приберегла на день хазановского концерта под открытым небом. Публика стояла под отвесно бьющими потоками — и не уходила...

Наступили времена, когда ради хорошего текста стоило и промокнуть до нитки, и высохнуть до костей. Времена эти начались еще до Горбачева...

Отступление: Жванецкий

КАК? ВЫ НЕ БЫВАЛИ НА БАГАМАХ? НУ, ГРУБО ГОВОРЯ, НЕ БЫВАЛ...

Зато я был в Пярну летом восемьдесят второго года.

Пять пополудни; плотная толпа полуголых людей обоего пола, стянутых, как магнитом,

со всего пляжа к кассетнику на песке. Внутри не пробиться. Можно только всунуть ухо между чужих подмышек и замереть там в попытке расслышать текст.

И ЧТО СМЕШНО? МИНИСТР МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕСТЬ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫГЛЯДИТ.

В море не идет никто. Одиноким мужчина средних лет, плещущийся там с утра, не в счет: он либо глухой, либо уже спятил. А мы, нормальные люди обоего пола, замороженные ритмичным течением смешной русской речи, остаемся стоять, сидеть и лежать на песке в ожидании теплового удара, боясь только одного: пропустить поворот мысли, образующий репризу.

И КОРАБЛЬ ПОД МОИМ КОМАНДОВАНИЕМ НЕ ВЫЙДЕТ В НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ... ИЗ НАШИХ НЕ ВЫЙДЕТ!

Кто это? Как фамилия?

Объем талии, рука с рукописью на отлете и клубящийся лукавством глаз — эти подробности обнаружились позже, а тогда, в восемьдесят втором, — только голос, только ритм; это невозможное уплотнение языка, с пропусками очевидного, с синкопами в самых неожиданных местах...

И ВЪЕХАТЬ НА РЫНОК, И ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ СПРОСИТЬ: СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?

Они столько лет просили, чтобы писатели были ближе к народу, и вот, кажется, допросились: этот, из кассетника, был ближе некуда. Он был — внутри. Меченый атом эпохи, хохоча и рыдая, он метался по нашей общей траектории.

И НАМ, СТОЯЩИМ ТУТ ЖЕ, ЗА ЗАБОРОМ...

Человек из кассетника говорил «мы» — он имел на это право, ибо нашел слова для того, что мы выражали жестами. Жалко было слушать его в одиночестве — не хватало детонации; славно было слушать его в раскаленный день, будучи плотно зажатым среди своего народа.

Народа, выбирающего в жару между морем и голосом из кассетника — голос!

Пляж в Пярну летом 1982 года — место и время самого потрясающего успеха, который я когда-либо видел своими глазами...

Хазанов (продолжение)

...Вода стояла стеной, но публика не расходилась, и Хазанов вышел на сцену. Ему построили навес с микрофоном на стойке, — но что делать под навесиком артисту эстрады? Хазановский костюм мгновенно потемнел; Гена метался от края к краю по подмосткам размером с футбольное поле; микрофон начал бить током, и Гена замотал его стебель носовым платком.

Потом на сцену со своими листками вышел я. Прежде чем я успел открыть рот, листки превратились в бумажную кашу. Надо было продержаться до конца хазановского антракта, и я начал судорожно вспоминать собственный текст, благо пишу недлинно.

Певческое поле, где происходило дело, вмещало восемь тысяч человек, и смех доходил до меня в три приема: сначала из первых рядов, потом из темной стометровой глубины; когда же, переждав вторую волну, я начинал говорить снова, меня накрывала третья волна — пришедшая откуда-то уже совсем издалека.

Потом началось второе отделение. Тропический ливень не прекращался. Хазанов, как боцман во время шторма, управлялся с этим стонущим от смеха кораблем. После нескольких номеров на бис, мокрый и изможденный, он покинул палубу, и пассажиров немедленно смыло.

Потом был Барнаул — пятитысячный, забитый под завязку ледовый Дворец спорта. В

первых рядах сидел обком — эти лица видно невооруженным глазом, и в любом регионе это одни и те же лица. Стоя у дырочки в заднике, я любовался теткой с партийной «плетенкой» на голове, сидевшей прямо по центру. Презрительно поджав губы, она покачивала головой: какая пошлость, как не стыдно! И так — два часа.

Билеты на концерт, где, по случаю перестройки, говорили гадости про партию, в обкоме выдавали бесплатно, и не попользоваться напоследок халявой они не могли. Страдали, а наслаждались!

Времена стояли замечательные: от звукосочетания «ЦК КПСС» в зале начиналась смеховая истерика, ставропольский акцент сгибал людей в искомое положение «впополам»...

Счастливое единство артиста и народа вскоре перешло в новое качество: на сцену, прямо во время номера, выполз трудящийся с початой бутылкой водки и бутербродом. Он радостно воскликнул «Генаша!» и полез лобызаться.

Что делает в такой ситуации нормальный человек? Вызывает милицию или дает в глаз сам. Что делает артист? Он включает чудовище в предлагаемые обстоятельства.

И Хазанов присел на корточки и начал общаться с трудящимся, превращая стихийное бедствие в номер программы. Зал подышал от смеха. Лицом Хазанова, когда он вышел со сцены, можно было пугать детей.

Проходя мимо меня, он выдохнул:

— Это не имеет отношения к театру... Это коррида.

Потом на сцену вышел я со своими листочками. Ливня не было, было хуже. На шестой минуте моего выступления в девятом ряду открыл глаза очередной гегемон — кармический брат того, с бутербродом... Некоторое время перед этим гегемон дремал, потому что на дворе стояло воскресенье, а забываться он начал с пятницы.

Открыв глаза, гегемон обнаружил на сцене не знаменитого еврея, за которого заплатил двадцать пять рублей, а другого, совершенно ему неизвестного. Он понял, что его надули, встал и, обратившись ко мне, громко сказал:

— Уйди!

Хорошо помню полуобморочное состояние, наступившее в ту же секунду. Такой контакт с народом случился у меня впервые, и я был к нему не готов. Готов был Хазанов. Выйдя на сцену после антракта, он первым делом поинтересовался у публики:

— А кто это сейчас кричал?

Публика, предчувствуя номер сверх программы, немедленно заложила гегемона: вот он, вот этот!

— Встаньте, пожалуйста, — попросил Хазанов.

И тот встал!

— Вы по стойте, — попросил Гена, — а вам, — обратился он к публике, — я расскажу историю.

История, рассказанная Хазановым

В немецком театре шел «Ричард Третий»:

— Коня! Полцарства за коня!

— А осел не подойдет? — выкрикнул какой-то остроумец из публики.

«Ричард» ненадолго вышел из образа, внимательно рассмотрел человека в партере и согласился:

— Подойдет. Идите сюда...

Барнаульский зал грохнул смехом (как грохнул, полагаю, и тот немецкий), — и Гена, схарчив гегемона живьем, продолжил программу...

Мы с ним путешествовали и дружили шесть лет. Потом наши пути разошлись. Но те шесть лет были для меня незаменимой школой и огромной радостью.

Лидеры

Осень восемьдесят девятого, совхоз под Ленинградом. До выхода к труженикам села нас знакомят с жизнью подопытных коров.

И вот — огромное, на полторы тыщи голов, коровье гетто, жуткая вонь, тоскливое мычание... Экскурсию ведет парторг совхоза, сыплет цифрами удоев... Вдоволь наглядевшись на обтянутые кожей скелетины, я неосторожно интересуюсь: а как их тут кормят? Как вообще организовано питание?

Тут парторг мне застенчиво отвечает:

— Там есть корова-лидер.

— То есть? — не понял я.

— Ну-у... Корова-лидер! — Парторг помедлил, не зная, как еще объяснить, и наконец решился. — Она всех от кормушки отталкивает и жрет, а остальным — что останется.

С тех пор я знаю, что такое лидер.

Марк и Лена женились в Ленинграде в позднесоветские времена, то есть в такие времена, когда палка твердой колбасы считалась удачей, а апельсины — роскошью.

Но любовь сметает все преграды: счастливый жених добыл для возлюбленной трехлитровую банку черной икры! Как говорится: *на все* . И придя из ЗАГСа, они начали готовить свой маленький счастливый пир...

Марк держал банку под горячей водой, чтобы открыть крышку, и банка выскользнула и разбилась о раковину, и три литра икры ушли в горловину, где и образовали засор.

Печальный Марк вызвал сантехника. Пришел сантехник, залез под раковину, разобрал колено и увидел содержимое засора... И, вылезши наружу, одарил новобрачных взглядом, полным неподдельного классового чувства.

Через несколько лет они уехали в Израиль.

Не то чтобы от этого взгляда, нет... Ну так, по совокупности.

Серпом по молоту

На сельпо висело объявление о совхозном собрании. Одним из пунктов повестки значилось: «Последствия сева».

Как о стихийном бедствии.

Так вот, о стихии. В Забайкальском военном округе я стал свидетелем народных гуляний в совхозе, располагавшемся неподалеку от нашей части...

Трезвых не было. В опустошенном сельпо давно кончилась закуска; у калиток стояли ведра с самогоном. Родители, покачиваясь, ложились на землю рядом с детьми, бывшими в отрубе уже давно...

Природное любопытство заставило меня поинтересоваться причиной праздника. Оказалось: наводнение! Местная речка разлилась и затопила посевы, по каковому случаю совхозу был «закрыт» план и выплачены премиальные.

Все это происходило через год после наступления коммунизма, осенью 1981-го.

А в 1988-м, в составе делегации Союза театральных деятелей, я полетел в Иркутск — провести семинар по сценическому движению в местном театральном училище.

Семинар семинаром, а кушать надо! Зашел я в кафе-столовку на улице, что ли, Карла Маркса (а может, на проспекте Энгельса? — в общем что-то такое, сугубо иркутское), а еды нет. То есть, буквально: нет еды! Вот тебе, за рупь, раскляканные пельмени с рассыпающейся горчицей, два куса несвежего черного хлеба, кофейный напиток из неясного порошка — и приятного аппетита!

Из магазинов выпадали наружу очереди — за тем же хлебом и молоком...

Этот Иркутск и впрямь был на полпути к Северной Корее.

Пару дней живем эдак, а потом директор театрального училища интересуется: как мы устроились в бытовом смысле, все ли нормально, как питание? Ничего, отвечаем, вот в кафе ходим... Директору аж поплохело: какое, говорит, кафе? Мы же вас *прикрепили*!

Оказывается, все эти дни мы должны были питаться в обкоме, который к тому времени уже полвека стоял посреди города на месте взорванного храма.

И мы пошли напоследок пообедать в обком.

Милиционер, пропуская, посмотрел на меня зверем — фейс-контроль я бы у него не прошел, но у меня был волшебный пропуск. Спустились в буфет, сели за стол. Накрахмаленная официантка подошла сразу, накрыто было мгновенно...

И случился у меня, братцы, посреди 1988 года обкомовский обед из пяти блюд! Язык с хреном, помидоры с лучком и сметаной, рассольник с олениной, омуль с рассыпчатой картошечкой с укропом — и компот. Компота потом принесли второй стакан.

Что интересно, все это стоило тот же рупь.

Вернулся я в столицу нашей Родины, а тут как раз какой-то пленум или уже партконференция, черт их душу знает... Короче, когда товарищ Лигачев, тряся седым чубом, вскричал с трибуны: «Мы не можем отдать наши завоевания!» — я вдруг его понял.

А раньше, признаться, не понимал. Все думал: о чем это они?

А тут — как вспомнил обкомовские, набитые едой, подвалы посреди издыхающего города, так в один момент проникся партийной болью. Действительно, глуповато им было бы отдавать эти завоевания...

Да они, собственно, и не отдали.

«What a wonderful world...»

— Вот какую красоту сотворил Господь Бог, — любил повторять N.
И неизменно прибавлял:
— Но только для партактива!

В защиту Егора Кузьмича

Однажды жена принесла в дом котенка, отбитого у юных пионеров: юные пионеры пытались замуровать его в подвале нашего блочно-панельного дома.

Котенок был бело-серенький и некоторое время жил в нашем доме безымянно, пока не обнаружилось, что он не дурак приналечь на молочко. В сей славный час за успехи в поедании всего, что плохо лежит, и тягу к здоровому образу жизни животное было названо Егором Кузьмичом (так звали члена Политбюро товарища Лигачева).

А дочке нашей только исполнилось три года. По интеллекту она стремительно приближалась к новому обитателю квартиры, а по физическому развитию его опережала. Котенок улепетывал от нашей крошки, но она настигала его и тискала в порыве любви...

Однажды жена строго выговорила за это юной Валентине, пригрозив, что если тиранство над Егором Кузьмичом не прекратится, мы его кому-нибудь отдадим. Дочь выслушала угрозу, насупившись.

Педагогическая мина рванула в самый неожиданный момент, в метро: ребенок вдруг зарыдал в голос. Испуганная жена, обнимая дитяtko, не понимала, в чем дело, пока дочка не взмолилась на весь вагон:

— Мама-а! Я не буду больше бить Егора Кузьмича-а-а!..

Жена утверждает, что пассажиры посмотрели с уважением.

Вежливая какая девочка

В электричке напротив трехлетней Валентины уместился дяденька с лукошком свежей клубники. Валентина внимательно смотрела на дядю, на лукошко, снова на дядю...

Через пару минут гипноз подействовал, намек дошел, и дядя протянул девочке клубничину.

— Что надо сказать? — спросила дочку педагогически заточенная мама.

— Наконец-то, — пробурчала Валентина.

Способности к обобщению

Гостили у тещи.

Дочь, пяти лет от роду, увидела фотографии за стеклом книжной полки и начала подсчет: «Мама — две фотографии, дедушка Володя — две фотографии, тетя Марина — три фотографии...»

Моя жена попыталась внести в статистику лирический момент:

— Это фотографии тех, кого любят в этом доме...

Дочка внимательно изучила комплект карточек, повернулась ко мне и сообщила:

— Тебя не любят в этом доме!

Первый урок демократии

По воскресеньям она ходила в бассейн во Дворце пионеров. Однажды с утра мы огорчили дочку известием о том, что бассейн сегодня закрыт: там будет избирательный участок. Выборы!

— А что это?

Жена пропиталась ответственностью момента и приступила к политинформации. Мол, люди договорились о том, что один раз в несколько лет они выбирают тех, кто потом будет управлять страной...

Картину идеальной демократии нарисовала за минуту.

— Все поняла?

— Да, — ответила Валентина.

И осторожно уточнила:

— А почему этих людей надо выбирать в бассейне?

Дедушка Толя (мой отец) регулярно просвещал юную внучку: рассказывал про неандертальцев, про древние царства, про Средневековье... Рассказывал, надо полагать, довольно убедительно, потому что однажды, когда в продуктовом советском магазине в очередной раз не обнаружилось еды, пятилетняя Валентина предложила маме:

— Давай позвоним дедушке Толе? Вдруг у него кефирчик остался с древних времен...

Практический склад ума

На досужий вопрос: «Кем ты будешь, когда вырастешь?» — наша четырехлетняя дочь ответила в девяностом году вполне рационально:

— Многодетной матерью. Им продукты дают...

Поэтический склад ума

В эти же годы она сочинила жизнерадостное приложение к Продовольственной программе КПСС:

А пока, а пока
Будем кушать облака!

До двенадцати лет

...она считала, что Никитинская улица, на которой мы жили, названа в честь композитора Сергея Никитина, а метро «Сухаревская» — в честь поэта Дмитрия Сухарева...

Счастливого же детство было у моей дочери!

Сейчас она выросла и живет на Маленковской.

Тут особо не пофантазируешь.

...Кончалась советская власть. Кончалась очевидно — покамест бескровно, но очень мучительно. Влажным холодным ноябрем 1990-го меня подвозил по каким-то делам мой приятель Юра.

Бывший инженер, он по первой горбачевской отмашке ушел в бизнес. Впереди у него было семь с половиной лет строгого режима, полученные от неподкупной российской Фемиды (у Юры не хватило денег ее купить), — этот сюжет я расскажу чуть позже...

А осенью 1990-го «новый русский» Юрка заехал за мной на «вольво». За рулем «вольво» сидел шофер. Мы толчками продвигались в пробке, мимо булочной, вдоль угрюмой зябкой очереди, ждавшей вечернего завоза хлеба. Люди недобро смотрели в затененные стекла ползшей вдоль них машины, — и я, чуть ли не в первый раз в жизни находившийся внутри иномарки, вдруг кожей почувствовал: вот так они постоят, постоят, а потом просто подойдут и перевернут «вольво».

Призрак гражданской войны висел в воздухе той влажной осенью, и стоило ненадолго оказаться в теплой иномарочной утробе, чтобы почувствовать это по-настоящему...

В это самое время — когда советская власть в стране еще была, а еда уже кончилась, дюжина голодающих артистов, иллюстрируя постулат насчет горы и Магомета, тронулась в путь за продуктами. За пару-тройку концертов для тружеников Ярославщины нам обещали по несколько десятков яиц, по три курицы и залейся молока.

Это был огромный гонорар осенью девяностого года — деньгами в ту осень можно было заинтересовать только нумизматов.

Среди фокусников, дрессировщиков и мастеров искрометной шутки поехала за едой известная народная певица с двумя подручными баянистами. Ее патриотический номер завершал нашу целомудренную программу.

«Гляжу в озера синие...» — тянула певица, протягивая к народу белы рученьки ладошками вверх. Потом одну переворачивала ладошкой вниз и проводила ею направо, бесстыже любуясь воображаемым простором: «В полях ромашки рву...».

Отпев, она кланялась поясным поклоном, уходила за кулисы, снимала кокошник, вылезала из сарафана — и, отоварившись, мы ехали за новыми курицами.

Ехали в «рафике», по классическому русскому бездорожью — и певица, вся в коже, замше и драгметаллах, только что со своими кокошниками и баянистами вернувшаяся из Германии, в такт колдобинам повторяла:

— У, блядская страна!

Баянисты, побрякивая на ухабах, дули баночный «Хольстейн».

В очередном совхозе певица нацепляла кокошник, протягивала руки в воображаемый простор — и все начиналось сначала:

— Зову тебя Россиєю...

И через полчаса, на очередной рытвине:

— У, блядская страна!

Из-за совпадения ритмики это звучало как неспетый вариант куплета.

Красивая «виньетка»

...к этой истории появилась два десятка лет спустя.

Шел концерт в честь очередного съезда очередной руководящей партии. Все, как полагается: Кремль, Путин-шмутин, орел о двух головах, медведь на триколоре...

Гляжу: на сцене — она! В сарафане по новым размерам, в том же кокошнике на то же бесстыжее лицо. Тот же репертуар, та же ручка, в том же месте обводящая бескрайние просторы...

Да, в общем, и страна — та же самая.

В этой патриотической песне

...есть строчка совершенно фрейдистской силы: «Спроси, переспроси меня — милее нет земли...». То есть автору мало просто любить Родину — он хочет, чтобы его об этом спросили, а потом переспросили!

Хорошо представляю себе процесс этого уточнения. Впрочем, тут уже — какие шутки? И спрашивали, и переспрашивали, и стирали в пыль, не поверив ответу...

Потому, наверное, и подмывает не дожидаться, пока за тобой придут, а самому настоять на допросе и заранее, в письменном виде, зафиксировать любовь к Родине.

Всю жизнь он лудил «лукичей».

В кепке и без. Указующих направление и слушающих «Апассионату». Сидящих на скамеечке. Говорящих речь. Всю жизнь — одни «лукичи»... Страна шла к коммунизму, и «лукичами» предстояло наглухо заставить одну шестую земной поверхности. Благополучие скульптора неуклонно росло, но душа рвалась из-под спуда в горные выси...

В годы перестройки он сам позвонил в газету.

Приехала журналистка, и партийный Роден начал свою исповедь. О том, как советская власть иссушила его талант; как, вместо того чтобы лелеять божий дар (а в юности его хвалили и Коненков, и Кербель), приходилось делать *вот это*...

Мастерская скульптора была заставлена лысыми уродцами всевозможных видов.

На дворе, однако, уже занимались новые времена, солнце демократизации подрастопило идеологические снега, ручьи гласности журчали по обновляемой стране...

— Над чем вы работаете сегодня? — спросила журналистка.

Скульптор застенчиво улыбнулся:

— Пойдемте покажу.

Они прошли в другую часть мастерской, к окну. Скульптор отодвинул занавеску.

— Вот...

На фанерном постаменте стоял бюстик Ленина.

У Маяковского: «что такое го-ро-до-вой?»

А как теперь объяснить молодежи, что такое — «совок»?

У меня, для пользы юношества, имеются два замечательных свидетельства...

Начало девяностых, зима; звезда программы «Вокруг смеха» пародист Иванов прибывает на гастроли в гостиницу «Центральная» в городе N.

За неимением свободных рук входную дверь в гостиницу Сан Саныч лягает ногой. Дверь распаивается и со скрежетом застревает на неровно залитом цементном полу. Волоча по этому полу сумку и связку книг на продажу, а вешалку с костюмом прижимая к плечу чуть ли не ухом, Иванов начинает ползком продвигаться к стойке администратора.

И швейцар, все это время сидевший на диванчике у входа, интересуется ему в спину:

— А дверь за тобой — Пушкин закрывать будет?

Второй эпизод

...случился на гастролях в Минске, куда я приехал вместе с одним уездным театром. В Минске играли премьеру, а я в том спектакле ставил пластические номера.

И вот сидим мы после премьеры в гостиничном номере, выпиваем-закусываем, — а в телевизоре, во главе группы дрессированных мулатов, скачет Майкл Джексон. И я, тыча пальцем в экран, дружелюбно говорю артистам: вот, смотрите, сволочи, что такое «синхронно»! Вот это называется «синхронно», а не ваше «плюс-минус трамвайная остановка»...

Пьяненькая заслуженная артистка Ч. поворачивается к телевизору, несколько секунд скептически смотрит на Джексона, хмыкает и говорит прокуренным голосом:

— Х-ха! Вы мне заплатите миллион долларов, я вам так станцую.

На пятой секунде того, что делал Джексон, она бы умерла. Она бы задохнулась, но перед этим у нее отвалились бы ноги и сошла с винта голова. Заключая с ней пари (а пари я предложил, разумеется, немедленно!), я ничем не рисковал...

Простая мысль о том, что сначала надо что-то сделать, а уже потом назначать за это цену, — просто не приходила актрисе в голову.

Дети! Вы запомнили, что такое «совок»?

Курточка

Весной 91-го я выступал на рижском фестивале «Море смеха». Заключительный концерт проходил в Доме офицеров, в двух шагах от вокзала, что было для меня очень кстати. Я попросил, чтобы меня выпустили на сцену пораньше, и, выступив, рванул на московский поезд.

И в спешке оставил в примерной комнате — куртку!

Курточка была кожаная, дорогая сердцу и подходящая телу.

Из Москвы я дозвонился своему рижскому приятелю, и через какое-то время тот меня успокоил: куртка цела, вот телефон начальника Дома офицеров. Я не понял, зачем мне начальник Дома офицеров, но оказалось: товарищ подполковник хочет со мною поговорить.

Видимо, он решил удостовериться, что куртка моя, подумал я — и с легким сердцем набрал номер. Но все оказалось серьезнее.

— Скажите, — спросил начальник Дома офицеров, — это вы вчера читали «Письмо солдата»?

И я понял, что не увижу своей курточки никогда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Дорогая мамочка!

Пишу тебе из воинской части номер *(вычеркнуто)*, где два года буду, как последний *(вычеркнуто)*, исполнять свою *(вычеркнуто)* почетную обязанность.

Живем мы тут хорошо. Так хорошо, что *(вычеркнуто до конца фразы)*. Сержанты любят нас, как родных, и делают это, мама, круглые сутки.

Ты спрашивала о питании. Ну что тебе сказать? *(Вычеркнуто две страницы.)*

В увольнение мы ходим по городу *(вычеркнуто)*, по улице Карла *(вычеркнуто)* и Фридриха *(вычеркнуто)*, возле которых на горе *(вычеркнуто)* и стоит наш *(вычеркнуто)* полк.

С этой *(вычеркнуто)* горы через прицел хорошо видно границу нашей *(вычеркнуто)* Родины, и за ней, как сама понимаешь, *(вычеркнуто)* — и как они там бегают, за голову схватившись. Но мы, мамочка, в них не стреляем, потому что наш *(вычеркнуто)* полковник сказал: «*(вычеркнуто)* с ними, пускай еще побегают!».

Так что ты, мама, за меня не волнуйся, а пришли мне лучше *(вычеркнуто семь страниц)*.

С боевым приветом, твой сын, рядовой *(вычеркнуто)* ».

— Это читал я, — признался я.

В трубке повисела тишина, а потом вкрадчивый подполковничий голос спросил:

— Зачем же вы клеветеете на Советскую армию?

Если бы не несчастный заложник — моя легкая, кожаная на подкладке курточка — товарищ подполковник был бы послан мною, самое близкое, в Забайкальский военный округ, на акклиматизацию. Но уж больно хотелось встретиться с курточкой.

— Это не клевета, — сказал я, стараясь сохранять достоинство, но не сжигать мосты.

— Как же не клевета?

— Это шутка, — сказал я самое глупое, что можно было сказать в этой ситуации. Но мой минус неожиданно помножился на минус в голове собеседника, и на том конце провода наступила тишина.

— Шутка? — переспросил наконец начальник Дома офицеров.

— Конечно! — боясь спугнуть свое счастье, сказал я.

— Точно шутка?

Информацию о том, что шутка — это заостренная разновидность правды, до товарища подполковника еще не довели.

— Ну разумеется... — И я достал из головы довод убийственной силы. — Ведь это был вечер юмора!

Подполковник еще подумал и сказал:

— Тогда ладно.

И вернул мне куртку.

Представители штаба Одесской юморины ждали нас у трапа: группа молодых людей с подчеркнуто томными манерами. Принимая во внимание лица прилетевших, можно смело сказать: это была встреча представителей национальных меньшинств — сексуальными...

Нас с Игорем Иртеньевым поселили в одном номере.

Скандалить я не стал, а только, позвонив в штаб, доверительно сообщил, что мы с Игорем Моисеевичем еще не афишируем наши отношения — и нас тут же тактичным образом расселили, трогательно определив в соседние номера.

И эта близость мне, поймите меня правильно, пригодилась.

Через несколько дней, получив отличный (от предыдущих) гонорар, я в прекрасном настроении пошел бродить по прогретой солнцем Одессе, в сладких грезах добрел до Аркадии и увидел — тир!

Я немедленно впал в детство, и на глазах у всех достал свой разбухший от гонорара кошелек, и начал вынимать оттуда дикие девальвационные рублевичи, и менять их на пулечки, и палить по жестянкам...

Случилась ли импровизация — или по случаю выходного дня в Аркадии работал профессионал, в точности сказать не могу, но когда я отстрелялся, кошелек со мной не было.

Еще минуты три, на радость отдыхающим, я хлопал себя по карманам и поминутно залезал головой в полиэтиленовый пакет: не найдется ли там чего-нибудь, кроме тетрадки с текстами?

По дороге в гостиницу, в порядке психотерапии, я начал писать стишок философского содержания. Ночью, встав, как по будильнику, от появления в голове ключевой строки, я дописал стишок — и с чувством исполненного долга завалился спать снова.

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Какое счастье! — сперли кошелек.
Как нынче я отделался легко-то.
А ведь могли раздеть до босых ног,
Глаз выдавить, пырнуть заточкой в бок...
Да мало ли чего? Была б охота.
Могли для смеху челюсть своротить,
В психушку спрятать, для эксперимента,
В чулан, как буратину, посадить
За оскорбление чести президента.
Могли послать сражаться в Сомали,
Копаться на урановую залежь...
Да мало ли чего еще могли?
У нас на что надеяться, не знаешь.
На кухне ли придавит потолок,
В больнице ли пришьют к затылку ногу...
А тут какой-то сраный кошелек —
Да пропади он пропадом, ей-богу!*

Утром в дверь постучал живший за стенкой Иртеньев.

— Шендерок, — сказал он. — Слушай, чего я ночью написал.

И прочел мне — первому, чем до сих пор страшно горжусь! — стишок, очень скоро ставший народным:

Просыпаюсь с бодуна.
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!

Еще хохоча над свежим иртеньевским текстом, я вдруг понял происхождение собственного ночного вдохновения. Это, летя по назначению, в соседний номер, транзитом заглянула ко мне иртеньевская Муза!

Как говорится, от щедрот...

В качестве улики — обращаю внимание литературоведов на общее в обоих текстах слово «сперли».

Полезно спать через стенку с классиком!

Стук в дверь с благодарностью

В семидесятые годы Таня П. работала телевизионным режиссером в Ленинграде. Ее партийный начальник был человеком необычайной широты — и однажды, в ответ на Танину просьбу о прибавке жалованья ответил так:

— Ты хоть понимаешь, что ты единственная еврейка на всем ленинградском телевидении? Ты не денег должна просить, а каждый день, когда приходишь на работу, стучаться ко мне в кабинет и говорить «спасибо».

Не в силах выразить своей благодарности руководству, Таня эмигрировала в Израиль.

Прошло пятнадцать лет. Она продолжала работать по специальности — телевизионным режиссером. Вместо члена КПСС начальствовал над нею теперь марокканец, бывший торговец фалафелем.

Когда это марокканское руководство наконец достало Таню по самое не могу, и она попыталась встать поперек, начальник сказал:

— Эй! Ты хоть понимаешь, что ты единственная русская на израильском телевидении?

И далее по тексту: про стук в дверь и ежедневное «спасибо».

Дословно, только на иврите.

В начале 80-х я вел театральный кружок в Городском Дворце пионеров и школьников — и в добрый час поставил там спектакль «До свиданья, Овраг!», инсценировку замечательной повести Константина Сергиенко.

История о бездомных псах, обитающих на окраине Москвы, заметно выпадала из репертуара Пионерского театра, густо насыщенного Михалковым и Алексиним. Первым это выпадение заметило партбюро отдела эстетического воспитания, руководимое тихой тетей из судомодельного кружка.

Засим последовало обсуждение на партбюро Дворца пионеров.

Присутствовать на обсуждении мне как беспартийному не разрешили, но приговор был передан дословно: «чернуха», «воспитание в детях жестокости» и — «фига в кармане Советской власти»!

Формулировки принадлежали директору Дворца пионеров Ольге Ивановне Грековой.

Спектакль не дали показать даже родителям маленьких артистов (видимо, боялись за родителей). Старенький партиец Израиль Моисеевич, руководивший фотокружком, при разговоре об «Овраге» переходил на шепот.

Прошло несколько лет, началась перестройка.

Уходя из Пионерского театра, я — из принципа или из вредности, думайте, как хотите — решил восстановить этот спектакль. Подросли новые артисты, но текст и мизансцены я оставил неизменными. В сущности, это был тот же самый спектакль...

И начались чудеса.

Перестроившийся худсовет проголосовал за «Овраг» единогласно! Партийная тетя из судомодельного кружка поздравляла меня с тем, что все так хорошо закончилось. Старенький Израиль Моисеевич поздравлял тоже, но по-прежнему шепотом — он помнил, что бывает вторая волна репрессий.

Потом наш «Овраг» стал чего-то там лауреатом, потом был признан лучшим детским самодеятельным спектаклем года в СССР, а потом случилось то, ради чего я рассказываю эту историю: меня позвали в Октябрьский райком КПСС и дали там грамоту «За успехи в коммунистическом воспитании подрастающего поколения»!

Я свято храню ее — с ленинским профилем в углу, с красными гвоздиками...

Вручала мне эту лепнину — второй секретарь райкома Ольга Ивановна Грекова. Та самая, которая за пять лет до этого говорила про чернуху и фигу в кармане — что интересно, по тому же самому поводу.

Холодный пот прошиб меня, когда я увидел Ольгу Ивановну и понял, что встречи не избежать. Мне было стыдно и тоскливо. Я съеживался и подумывал о побеге из зала, но не сбежал, и правильно сделал.

Товарищ Грекова дала мне урок исторического мышления.

Я-то, дурачок, думал, что бывшая директриса сделает вид, будто видит меня впервые, и по малодушию готовился ей подыграть... Как бы не так! Встретившись со мною на сцене, второй секретарь Октябрьского райкома КПСС сказала: «Виктор, я очень, очень рада именно за вас!».

И крепко, со значением пожала мне руку.

В эту секунду мне почудилось, что мы с Ольгой Ивановной вместе, плечом к плечу, противостояли эпохе застоя. Я понял, как сходят с ума. Я взял грамоту и похоронные красные гвоздики и вернулся в зал, абсолютно опустошенный.

Она опять была права! Она была права, когда в андроповском 1983-м закрывала мой спектакль; права, когда в горбачевском 1988-м его же награждала...

Году эдак в 1999-м, уже глубоко при Ельцине, меня пригласили выступить на открытии какой-то синекуры типа Фонда помощи детям-сиротам при президенте России, специально подчеркнув, что руководит Фондом знакомая мне Ольга Ивановна Грекова, и приглашение — ее личная просьба. Что она меня помнит и ценит...

Выступать перед г-жой Грековой я отказался, но с удовольствием узнал, что Фонд располагается в просторном здании в центре Москвы. Недвижимость, аппарат, федеральное финансирование... За детей-сирот я спокоен.

Чем-то вы руководите при Путине, Ольга Ивановна?

Настало время

...первых съездов, и весь этот партхозактив явился перед нами в прямом эфире, во всей неотразимости естества. Я начал за ними записывать, и сам не заметил, как коллекция приняла эротический характер. Вот лучшее из услышанного в те годы:

Анатолий Иванович Лукьянов: «Мне товарищ Бирюкова дала два раза в письменном виде».

Николай Тимофеевич Рябов: «Ну вот: мы утром не приняли, и теперь у нас все повисло...»

И — звезда Востока, незабвенный Рафик Нишанович Нишанов: «У нас регламент: кончил, не кончил — три минуты, и все!»

Альтернативный вариант решения проблемы предложил Михаил Сергеевич Горбачев, когда на съезде сломалась машинка для подсчета голосов. Он сказал: «Давайте удовлетворим товарища руками...»

Любовь к двум треугольникам

Летом 1988 года — о радость! — меня пригласили в Чехословакию: в Татрах проходила Универсиада, и я попал в культурную программу. Долго упрасивать себя я не заставил, и чуть ли не в тот же день пошел искать треугольник ^[3].

В «треугольнике» по месту работы против меня ничего не имели, но давать характеристику отказались: я работал у них только два месяца, и ручаться за мой морально-политический облик они еще не могли. Рекомендовали обратиться по прежнему месту работы.

«Треугольник» на прежнем месте работы знал меня как облупленного и любил как родного, но характеристику давать не хотел, потому что я у них уже не работал!

Спустя неделю все шесть углов видеть мое лицо не могли. Я выскакивал перед ними, как отец Федор перед инженером Брунсом, и просил завизировать засаленный листочек с добрыми словами о себе, которые сам же и сочинил. Я прикладывал руки к груди, строил глазки и признавался в любви к советской власти. Советская власть, едина в шести лицах, признавалась мне во взаимности, но бумаженцию подписывать отказывалась. Особое обаяние происходящему придавало то, что все шестеро довольно искренне мне сочувствовали.

В начале второй недели на старом месте работы дали слабинку и дыхнули на печать.

Легкость, с которой я обтяпал свое дельце, радовала меня недолго. Через пару дней выяснилось, что ангельская характеристика с печатью — филькина грамота, не имеющая никакой силы, ибо после слов «рекомендует к поездке в ЧССР» не было написано «...и несет за него ответственность»!

А штука была именно в том, чтобы кто-то, ежели чего, понес ответственность!

Выездная комиссия (еще одно ностальгическое словосочетание) даже глядеть на меня не пожелала, и я пошел по собственным следам: старая работа, новая работа... Нести за меня ответственность не хотел никто! На наводящий вопрос: какую именно, по их мнению, пакость я могу устроить в братской Чехословакии, — мелкая партийно-пионерская мышка смущенно пискнула:

— Но ведь там рядом Австрия...

К этому моменту, впрочем, я действительно был близок к тому, чтобы ползком ползти через Татры туда, где люди живут без *треугольников* ...

Из любви уже не столько к путешествиям, сколько к чистому знанию, я решил идти до упора.

Упор состоялся в Октябрьском райкоме КПСС. Большая партийная тетя, брезгливо переждав мои претензии, позвонила симметричной тете, обитавшей во Фрунзенском райкоме. Две партийные небожительницы мирно ворковали минут двадцать, выясняя, какой именно район должен брать на себя ответственность за мое поведение за границей, и пришли к компромиссному выводу о том, что этого не обязан делать никто!

Татры меня так и не увидели, — но и райкомы, слава тебе господи, увидели в последний раз...

Посвящение

Выступали под Ярославлем.

— А эта миниатюра, — сказал я со сцены, — посвящается диктору Центрального Телевидения Юрию Ковеленову!

Ковеленов вел наш концерт, и игра показалась мне забавной.

И я прочел...

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИКТОР. Внимание! Передаем экстренное сообщение.

(Читает про себя).

Не может быть!

(Достает платок, вытирает пот со лба).

С ума сойти. Вот ужас!

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Читай текст, гадина!

ДИКТОР. Может, не надо, на ночь-то?

Занавес.

Я прочел сценку. В публике рассмеялись. Ковеленов светски улыбнулся.

Дело было в июне 91-го...

Через пару месяцев, ровным поставленным голосом, ни разу не сбившись, он зачитывал из телевизора Заявление ГКЧП.

Это я ему напороочил!

Гибель советской власти

...тем жарким летом накликала моя пятилетняя дочка. Мы стояли на летном поле в аэропорту Минводы, и любознательная грамотейка заинтересовалась надписями на хвостах у всех самолетов: «сэ-сэ-сэ-рэ, сэ-сэ-сэ-рэ...».

— Что это?

— А что, — невинно спросил я, — не нравится?

Дочка пожала плечами:

— Да нет, надоело просто.

Ну и вот, пожалуйста.

«Плохой день...»

Дело было под Ригой, в тихом курортном местечке Пабажи.

Восстав ото сна часу в одиннадцатом, я спустился к кастелянше, взял у нее ключи от более просторного номера, освободившегося накануне, и начал перетаскивать туда вещи.

Новый номер выходил окнами на море. За окнами раскачивались под солнцем сосны. Я весело волок сумки по коридору, вполуха слушая бухтение диктора из радиоточки.

«Всемерно укреплять колхозное движение...» — говорил диктор.

Толком не проснувшись, я раздражился на этот пассаж довольно вяло: какое колхозное движение, пятый год перестройки, что они там, с ума сошли... Вернусь — всех убью.

Перетащив вещи, я вернулся к кастелянше — доплатить за улучшение жилищных условий. Пожилая строгая латышка аккуратно заполнила квитанцию, дошла до даты и вздохнула:

— Девятнадцатое августа... Какой плохой день.

— Почему плохой? — радостно поинтересовался я.

Кастелянша глянула мне в глаза, проверяя, не придуриваюсь ли.

— Вы радио не слушаете?

— Нет.

— У нас переворот, — сказала кастелянша.

— У вас? — уточнил я. Я уже перенес вещи в новый номер и даже оплатил его, но проснуться так и не успел. Я подумал: может быть, Рубикс сместил Горбунова... или кто там у них, в Латышской ССР... — У вас? — спросил я.

Кастелянша холодно посмотрела на меня и отчеканила:

— У вас.

Так произошло отделение Прибалтики от Советского Союза.

«Если победят наши...»

Дело было в Чите.

20 августа 1991 года, когда чаша весов колебалась, и было неясно, чья возьмет, мой приятель сцепился с подполковником КГБ. Тот, разумеется, был за ГКЧП. Упершись друг в друга лбами, они до хрипоты проспорили целый день на чьей-то кухне, прерываясь только на последние новости.

В Москве стреляли. Развязки не было, и они снова упирались друг в друга лбами.

Наконец спор иссяк по причине полной непоколебимости сторон, и, уходя, подполковник сказал: «Запомните! Если победят ваши — этого разговора не было!»

И, подумав, добавил: «Если победят наши — вы ответите за свои слова!»

Пить надо меньше!

В начале девяностых N. поехал на стажировку в США. Был он журналистом, и стажировку, по случаю перестройки энд гласности, проходил на знатной американской телекомпании.

Стажировка закончилась 18 августа 1991 года, и N., будучи человеком твердых правил, *немедленно выпил* . До отлета оставалось несколько дней, и за это время он успел показать янкам российские масштабы отлучки из сознания.

Затем N. (будучи, повторяю, человеком твердых правил!) принял душ, выскреб щеки, надел пиджак с галстуком и пошел на телекомпанию: прощаться с коллегами.

Он вошел в аппаратную и увидел на десятках экранов с надписью «live»: на фоне Лубянки ночная стрела крана несла на тросе подвешенного за шею Железного Феликса...

И N. понял, что допился до «белочки».

А это был всего лишь конец эпохи.

Смена репертуара

Конец эпохи этот оказался гораздо заметнее, чем начало.

На сей счет в нашей семье имеется любопытный документ: почтовая открытка, посланная дедушкой моей жены родителям, в Тамбов, на Дворянскую улицу, 52.

«Дорогие! — писал семнадцатилетний Володя, занимавшийся по классу скрипки у профессора Пресса. — Сегодня, в среду 25/X-17 г., выступаю на ученическом вечере с концертом Мендельсона-Бартольди e-moll...»

Через пару дней Володя с печалью сообщил родителям, что долгожданный концерт 25 октября не состоялся: в Москве, написал он, в этот вечер случились какие-то безобразия — и даже стреляли...

А в общем, я считаю: правильно отменили тот концерт!

Либо Ульянов-Ленин, либо Мендельсон-Бартольди...

Письмо из Аргентины

В начале двадцатого века юная N. перебралась из российской черты оседлости в Аргентину. Эмигрантский хлеб легким не был нигде, в Буэнос-Айресе тоже.

И вот однажды она получила письмо с родины...

Ключевую фразу этого письма любят цитировать правнуки N., снова сделавшие ноги из России (уже из «демократической» России, восемьдесят лет спустя), — ибо их аргентинская прабабушка последовала совету российской сестры.

«Возвращайся, — писала та из Петрограда весной 1917 года, — скоро здесь будет хорошо!»

Времена вразвес (часть первая)

Почетный караул от Мавзолея убрали не сразу, и в августе 1992 года я своими глазами увидел чудо: улыбку на губах кремлевского курсанта при исполнении. Он еще стоял на страже мумии — стоял навтыжку! — но уже улыбался, и это означало настоящий конец эпохи.

Жизнь, как муравей, проточила свои ходы в этом замшелом дереве.

Ленин как?

Союз Советских оставил по себе тяжелую интоксикацию и горы сладких воспоминаний.

Спустя десять лет после гибели этой атлантиды, я стал участником фантастического диалога. Происходил он в сельской части Узбекистана — с милиционером, остановившим нашу машину для проверки документов.

— Откуда? — спросил он.

— Из Москвы.

— Из Москвы? А город какой?

— Да Москва же, — отвечаю, — Москва.

Последовало грандиозное уточнение.

— Где ЗИЛ?

— Где ЗИЛ.

— Работал там, — сообщил узбекский милиционер, расплывшись в улыбке. — «Выхино» метро есть?

— Есть.

— Жил там. Общежитие... — пояснил он и, помолчав, спросил главное. — Ленин как?

— Спасибо, — ответил я, — ничего.

— Лежит? — с тревогой в голосе уточнил он.

— Лежит-лежит, — успокоил я.

Милиционер удовлетворительно поцокал языком и отпустил, не проверив документы.

Тонкая работа

Из той поездки, из Бухары, были вывезены мною причудливые серьги, изготовленные из мелко резаных двадцатикопеечных монет двадцать пятого и тридцать седьмого года выпуска. Их изготовитель, поди, и не думал, что он — законченный постмодернист!

Тревожный сигнал

Лето девяносто четвертого. Еду в троллейбусе по Москве, читаю «Спорт-экспресс». Передо мной — два скорбных северных корейца: синие пиджаки, значки с Ким Ир Сеном... А его аккурат в это время по Пхеньяну лежачего возят, помер он.

И вот, значит, один скорбный кореец вежливо так трогает меня за рукав и спрашивает — что бы вы думали?

— Бразилия?

Я не понял, говорю: чего?

Он повторяет:

— Бразилия? — И пальцем в мою газету тычет. А накануне как раз чемпионат мира по футболу закончился.

Я говорю: Бразилия, Бразилия! Он широко улыбается и второго скорбного корейца локтем в бок — тырк: мол, что я говорил! И они начинают оживленно лопотать про футбол.

Вместо чтоб скорбеть.

Кажется, идеи чучхе в опасности.

«Бактерии не ошибаются...»

Древнее китайское проклятье — пожелание жить в эпоху перемен... Тяжесть этого проклятия россияне многократно испробовали на себе. Есть, однако, люди, которых не смутит никакой поворот исторического сюжета. Об Ольге Ивановне Грековой я уже рассказывал — вот персонаж еще более выразительный...

Главного редактора газеты «Московский комсомолец» г-на Гусева я помню с начала восьмидесятых. В ту пору он был товарищем Гусевым, ответственным организатором международного отдела ЦК ВЛКСМ; ходил гладко выбритым, носил пиджак со значком «член ЦК ВЛКСМ» на лацкане — и был не на шутку озабочен реализацией решений очередного Пленума партии.

Над головой товарища Гусева на его рабочем месте висел тканый коврик с изображением Владимира Ильича — дар газете какого-то среднеазиатского комсомола. Потом началась перестройка, и Павел Николаевич пошел колебаться вместе с линией партии...

Году эдак в 1989-м мой приятель Боря Рейцен, работавший в ту пору в «МК», задумчиво сообщил при встрече:

— Знаешь, кажется, перестройка победит...

— С чего ты взял? — поинтересовался я.

— Да вот, — ответил Боря, — Гусь после отпуска вышел на работу — в бороде и джинсах! Такой стал демократ-демократ...

(Значок «член ЦК ВЛКСМ» слинял с гусевского пиджака еще на прошлом повороте сюжета.)

— Гусь — он ведь зря не меняется... — глубокомысленно заметил Рейцен.

Гусь менялся не зря: прогрессивное крыло в ЦК победило. Потом случился и был подавлен путч, а на следующий день коврик с тканым Лукичом исчез со стены. И не просто исчез, а — внимание, барабанная дробь! — лег у входа в гусевский кабинет.

О Лукича было предложено вытирать ноги, в буквальном смысле.

Вскоре «МК», приватизированный бывшим членом ЦК ВЛКСМ, уже несли вперед по волнам демократии...

В середине 90-х я увидел Гуся в президиуме Конгресса русских общин, рядом с секретарем Совбеза Скоковым. Поговаривали, что этот Скоков будет следующим премьером — а может быть, даже и...

Гусь сидел в президиуме, озабоченно кивая в такт патристическим словесам.

Когда Скокова с присными бесследно смыло очередной номенклатурной волной, Гусь немедленно вынырнул рядом с Лужковым, возле которого и маячил до появления на горизонте Владимира Владимировича Путина...

Поэт Сергей Гандлевский, услышав это жизнеописание, сформулировал, как высек на граните: «Бактерии не ошибаются».

Всегда вместе с питательной средой.

Парный конференс

В начале девяностых два российских главных редактора (одной крупно-либеральной газеты и одной жутковато-патриотической) отправились на совместные гастроли по городам США.

С диспутом.

На это продавались билеты — и хорошо продавались! Полные залы эмигрантов, истосковавшихся по русской политической жизни, становились свидетелями нешуточной идеологической битвы, до крика и сжатых кулаков, до полной гибели всерьез...

— Вы погубили Россию!

— Нет, это вы погубили Россию!

Хорошо представляю себе это шоу. Еще лучше представляю дальнейшее: аплодисменты, высвобождение из рук эмигрантов, желающих продолжить диспут на дому; получение гонораров от скуповатого антрепренера, придумавшего этот цирк-шапито и срубившего отличный куш...

Потом, в одной машине, бочком к бочку — на совместный ужин в каком-нибудь нехитром «бургер-квине». Вроде неплохо прошло, да? Отлично прошло! И в гостиницу, в соседние номера...

А наутро — снова в машину и, бочком к бочку, в соседний штат; там попить кофейку — и на сцену:

— Вы погубили Россию!

— Нет, это вы погубили Россию!..

Сегодня они оба — верные путинцы.

Как я попал

В январе 1993-го меня приняли в Союз писателей — при весьма поучительных обстоятельствах.

Примерно за год до того Григорий Горин обнаружил, что я не состою в писательском Союзе. Я пытался кокетничать, изображая вольного питомца муз, но был сурово осажен классиком.

— Не валяйте дурака, — сказал Горин, — Состаритесь — будете лечиться в поликлинике... И потом, я же дал вам рекомендацию!

Тут выяснилось самое интересное. Оказалось: в августе 1991-го, на следующий день после победы демократии, в ЦДЛ стихийно собрались «прогрессисты» — и назло побежденным ретроgrадам, одним голосованием, приняли в Союз писателей человек триста либеральной молодежи.

Я не подсуетился, но два классика сами вспомнили о моем существовании — и написали по рекомендации. Это были Григорий Горин — и Леонид Зорин, автор «Покровских ворот» и «Варшавской мелодии».

Ну, раз такое дело... В общем, пошел я в Московскую писательскую организацию и написал заявление. Мне сказали: позвонят.

Позвонили почти через год и вместо «здрасьте» довольно раздраженно поинтересовались: я корочку забирать собираюсь или как? И поехал я, питомец муз, за документом.

Приезжаю в учреждение, открываю искомую дверь. Внутри пусто, а в смежной комнатке сидит мужик в бороде и говорит по телефону.

— «Макаровы», — говорит мужик, — десять стволов, новые, в масле...

Я сверился с табличкой на двери: все верно, отдел прозы. В отделе поэзии небось гранатометы ремонтируют. Времена переходные, страна входит в рынок...

— Простите, — говорю, — мне сказали сюда...

— Она отошла, щас будет, — буркнул бородатый и махнул рукой: заходи. И как-то странно на меня посмотрел.

Я зашел, сел. Послушал через стенку разговор бородатого — все про какие-то стволы и амунизию... Тетка все не шла, и я начал помаленьку свирепеть.

Когда, минут через двадцать, она наконец появилась в кабинете, я уже закипал.

— Что это такое! Мы договаривались на одиннадцать!

Тетка опешила:

— Мы договаривались?

— Конечно! Я должен получить корочку.

— Какую корочку?

Я почувствовал, что начинаю дымиться.

— Члена Союза писателей, — раздельно произнес я.

— Как ваша фамилия?

Я сказал.

— Как?

Я повторил. Фамилия моя тетку явно озадачила.

— Мы вас принимали? — уточнила она.

— Да! — крикнул я.

Тетка хмыкнула удивленно и как-то даже озадаченно.

— Сейчас посмотрю.

И она начала рыться в картотеке. Ничего похожего на «Шендерович» там не нашлось.

— А мы вас точно принимали? — спросила она.

Я понял, что сейчас из меня, как из чайника, пойдет свист. Боясь совершить убийство по неосторожности, я обогнул тетку и ее стол, чтобы найти себя в картотеке — и убить ее уже с полным основанием. Но до картотеки мой взгляд не дошел, потому что зацепился за машинописный лист под стеклом, на столе.

Это был список членов правления: Белов, Бондарев, Проханов, Распутин... Весь комплект. Через пару секунд до меня дошло, что я уже полчаса скандалю в черносотенном логове, требуя своего приема в их жидоморские ряды.

Видимо, я все-таки ойкнул, потому что тетка, понизив голос, понимающе сказала:

— Вам, наверное, в другой Союз...

— Наверное, — шепотом ответил я.

— Так это дальше по коридору, — тихо произнесла моя собеседница, косясь в сторону смежной комнаты, откуда продолжали доноситься телефонные разговоры о ценах на огнестрельное оружие.

— Извините, — прошептал я и на цыпочках вышел из отдела этой прозы.

В альтернативном Союзе на меня коршуном набросилась альтернативная тетка: где, говорит, вас носит, мы договаривались на одиннадцать!

Вот дура. Я жизнью рисковал, а она о таких мелочах.

На одной из демонстраций нашей т. наз. «патриотической» оппозиции я увидел замечательный лозунг — огромными буквами, черным по белому: «Жи́ды погубили Россию!».

И подпись: Ф. М. Достоевский.

Не знаю, писал ли это Федор Михайлович — чтобы такое родить, Достоевским быть необязательно.

Но, предположим, писал — и что?

А вот что: из всего Достоевского (30 томов) они выбрали и выучили наизусть именно эти три слова! Берусь проэкзаменовать весь этот ходячий скотопригоньевск — никто не отличит Алеши от Ивана... Но вот насчет жидов — это до них дошло! Один раскопал, принес в горсти братьям по крови, намалевали, пошли по Тверской с Достоевским на знамени!

Тут задумаешься.

Мир человека огромен; мир гения бесконечен. Вопрос лишь в том, что из этого космоса мы отбираем для себя, для своей жизни.

Можно, конечно, взять от Достоевского именно антисемитизм. От Мусоргского — алкоголизм, от Тулуз-Лотрека — сифилис...

Вольному воля.

— Есть же Еврейская автономная область, — мечтательно рассуждал один образованный господин, — вот пускай евреи в ней и живут!

— Ага, — согласился собеседник, — а еще там недалеко есть остров Русский...

Лингвистические трудности

В перестроечное время советскому народу открылось много удивительных вещей. Среди прочего обнаружилось, что в Израиле, помимо одноименной военщины, имеется всевозможная жизнь. А в советские времена на этот счет было твердое указание, чтобы ничего, кроме военщины, в Израиле не было!

Отчетливо помню баскетбольный матч ЦСКА — «Маккаби», и лингвистические трудности, с отчаянием и героизмом преодолеваемые комментатором Ниной Ереминой.

Вместо простого русского слова «Рабинович» она говорила «десятый номер команды соперников». Словосочетания «израильские баскетболисты» избегала, как евреи — имени Бога! Говорила: «сегодняшние соперники армейцев»...

Несчастливая комментаторша мучилась не по доброй воле, и установку партии надо признать тактически верной: пойдя по логической цепочке от баскетболистов, советские граждане могли дойти до опасной мысли, что в Израиле есть скрипачи, педагоги, женщины, дети...

Что там, короче, живут люди!

Этого допустить было нельзя, и Еремина старалась.

А в девяносто втором временно демократическая Россия установила с Израилем дипломатические отношения и даже, с некоторой опаской, начала дружить. И очень скоро в Тель-Авив полетела первая делегация российских журналистов.

Вместе с коллегами в логово вчерашнего врага отправился корреспондент «Красной звезды». Вечером, ничего не подозревая, он спустился в бар отеля, надев, как приличный человек, пиджак с галстуком.

Майора не предупредили, что в этой южной легкомысленной стране пиджаки с галстуками носят только миллионеры — или люди, которые хотят, чтобы их принимали за миллионеров.

Незнание «дресс-кода» дорого обошлось российскому офицеру. Со всего Тель-Авива в бар отеля сбежали проститутки и плотно обсели майора по периметру. Чтобы вы могли представить ужас военнотружущего предметнее, я обязан проинформировать вас о том, что проститутский контингент в Израиле в ту пору составляли преимущественно марокканки (Украина подтянулась чуть позже и выбросила Африку из профессии).

Майор сидел в баре, брошенный в тыл врага, отрезанный от своих и обнаруженный противником. Он понимал, чего от него хотят, но не понимал, почему от него!

Женщины, ища ключи к сердцу и кошелек майора-миллионера, начали заговаривать с ним на всех известных им языках. Майор отбивался, выкрикивая «найн» и «нихт ферштейн».

— Итальяно? Спэниш? Тюркиш?

«Найн», и вся любовь!

И тогда отчаявшаяся профессионалка спросила напрямую:

— Where are you from?

— Раша, — не без мстительности в голосе ответил майор. Он понимал, что *этого* языка эти женщины знать не могут.

— О! Раша! — воскликнула немолодая марокканка и начала рыться в сумке. И достала оттуда большую залистанную тетрадь и, радостно приговаривая «раша, раша», стала ее мусолить, что-то ища.

И нашла. И, водя пальцем по транскрипции, прочла:

— Ми-луй, мы поедем с то-бой в Во-ро-неж!

Как попала на средиземноморский берег эта фраза, и отправился ли майор с марокканкой в сторону Воронежа, — история тактично умалчивает.

Та самая Лена, которая в своей ленинградской молодости любила засорять раковины черной икрой (см. с. 194) — уже двадцать лет водит экскурсии по всему миру, начиная с Иерусалима.

Однажды ей привезли автобус с туристами из Липецка, и она повела их по христианским местам. Экскурсанты не были перегружены ни Лукой, ни Матфеем, но и на этом нехитром фоне выделялась чистотой души девушка Дуся. На каждом иерусалимском углу она охала и всплескивала руками, воспринимая столбовой сюжет как свежий триллер.

Дошли до Гефсиманского сада.

— Вот, — сказала Лена, — здесь арестовали Иисуса Христа...

Дуся от неожиданности даже вскрикнула:

— Как! Его арестовали?

Это называется: свежие новости из Иудеи...

А вот история другой тургруппы. Новый русский, уцелевший в процессе взаимного отстрела девяностых, остепенился и привез в Иерусалим братков следующего поколения.

Типа культур-мульти.

Привез — и предупредил: если чего в экскурсии не поймете, спрашивайте у меня, я переведу...

Хотя экскурсия шла по-русски.

И вот у Стены Плача братки поинтересовались: а чего у этих — кружкё на головах?

— Головной убор на ортодоксальном еврее, — пояснила Лена, — называется кипа и означает, что еврей признает над собой власть Господа.

Братки дружно повернули головы к старшему — за переводом. И старшой перевел блистательно:

— Типа ты не самый крутой, — объяснил он. — Есть круче тебя!

Вопросы на засыпку

- Скажите, это правда, что вы пишете справа налево?
- Да.
- А читаете?

Не туда пришли

На просьбу оказать материальную помощь конференции, посвященной еврейской Катастрофе, олигарх N. ответил, как отрезал:

— На Холокост у меня денег нет!

Разочарование

— Ну не знаю, не знаю... — призналась американка, выходя с экскурсии. — Я ожидала от Освенцима большего!

Традиции пивоварения

Мы ехали по автобану, вечер плавно переходил в ночь, пора было устраиваться на ночлег. И я, путешествующий на правах штурмана, увидел указатель на подходящий городок по ходу движения...

Всем был хорош городок, кроме названия.

Назывался он — Дахау.

Спасибо, не надо.

Проехав еще немного, остановились по соседству. Гостиниц не было — были (и за то спасибо) комнаты для постояльцев, в пивной, на втором этаже.

Утром мы спустились на завтрак.

На стене, в паре метров от распятого Христа, висела поясная фотография мордатого бургера — надо понимать, предка нынешних хозяев пивной. Под портретом, на полке, красовались кубки за победы в пивных фестивалях — 1934, 1938, 1939 годов...

Хорошее пиво варили в паре километров от Дахау дедушки нынешних жителей города! Были первыми по профессии.

Внуки продолжают этим гордиться.

Я стоял в мюнхенской Пинакотеке перед батальным полотном.

Сюжет картины, написанной в XIX веке, отсылал ко временам Тридцатилетней войны, и называлось все это — «Атака при Дахау»...

Увы. Что бы ни происходило в истории возле этого населенного пункта, — после сороковых годов прошлого века это уже не имеет значения. Дахау — это Дахау. Особенно если фамилия художника — Гесс.

Аналогичные чувства я испытал когда-то, прочитав в газете о достижениях советского автомобилестроения в Елабуге...

Фотография: Нюрнбергский трибунал, скамья подсудимых. Военные преступники во главе с Герингом откровенно веселятся — улыбаются, переглядываются, прыскают в кулак, смеются в голос...

О Господи, — над чем?

А вот над чем. Речь в выступлении прокурора зашла о троянском коне, и советская переводчица забормотала: какая-то лошадь... причем тут лошадь? И скамья подсудимый зашлась смехом вместе с охранниками.

В этом есть некоторый ужас, если вдуматься. Чувство юмора — столь универсальное человеческое чувство, что заставляет тебя отнести к любому, кто его проявил, именно как к человеку!

Даже если это убийца.

Нихт ферштеен

В немецком посольстве в Москве раздался звонок.

— Добрый день, — сказал старичковый голос в трубке. — Меня зовут Иван Сергеевич, у меня есть старые фотографии, может быть, они вас заинтересуют...

Сотрудники посольства не поняли: какие фотографии?

— Я работал на ваше государство... — застенчиво пояснил тихий Иван Сергеевич.

Сотрудники не поняли опять:

— Когда? Где?

— Я работал на ваше государство в сорок втором году, под Донецком...

Практичный полицай Иван Сергеевич хотел наладить небольшой бизнес, но чуток приотстал от исторических процессов.

Посольские потом отпаивали друг друга валерьянкой.

Ущемление прав

Для получения статуса беженца кандидат на заветную американскую «грин-карту» должен был доказать, что его ущемляли как еврея. Это был тот редкий случай, когда погром мог улучшить материальное положение.

И приходит на интервью в американское посольство немолодой человек с характерной выправкой. Сотрудник посольства смотрит на него, смотрит в его бумаги и интересуется:

— Ну вот, вы — полковник советской военной авиации, награждены медалями...
Расскажите, как вас ущемляли по национальному признаку?

Летчик был готов к вопросу и пожаловался без раздумий:

— Когда в семьдесят третьем наша эскадрилья готовилась бомбить Тель-Авив, меня не взяли!

Без подробностей

— Вам тут целый день рассказывали всякие ужасы, — сказал глава семьи. — Так вот, у нас все было гораздо хуже!

Ошарашенный консульский работник без единого вопроса шлепнул всем четверым статус беженцев.

С подробностями

Уже в Штатах одного выходца из Прибалтики — сугубого блондина, вдруг пожелавшего запротоколировать свое еврейство, спросили ненароком: сколько в его городе было синагог? — Две! — уверенно ответил беженец. — Одна православная, другая католическая.

Доктор Кашпировский в эти годы много гастролировал по русскоязычному белу свету.

— Сначала, — вспоминал об этом антрепренер N., — я хотел сделать билеты по пятнадцать долларов, а потом подумал и сделал по тридцать пять. Лечиться так лечиться!

Силы природы

Знакомый рассказывал: выхожу, говорит, из подъезда, а во дворе стоит над машиной Алан Чумак. Капот открыт.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Аккумулятор разрядился.

— Так зарядите! — говорю.

Не может.

Как вас теперь называть?

Я любовался родными просторами, стоя на носу теплохода «Федор Шаляпин», и взгляд мой случайно наткнулся на судовой колокол. На колоколе черным по медному было написано: «Климент Ворошилов».

«Если на клетке слона прочтешь надпись “буйвол”»...

На ближайшей стоянке версия подтвердилась: перед словом «Федор» на корме совершенно отчетливо читались следы букв, бывших здесь раньше: «Климе...»

Вскоре случай свел меня с главным механиком судна, и от него я узнал замечательную историю этого корабля.

В 1990 году, когда Санкт-Петербург еще был Ленинградом, но процесс уже пошел, в высоких кабинетах решено было «Ворошилова», от греха подальше, переименовать, и экипажу предложили поплавать под именем «Николай Карамзин».

Тут — целая интрига. Историк родом из Ульяновска (который, в свою очередь, долгое время был Симбирском), а ульяновский первый секретарь дружил с первым секретарем нижегородским (в ту пору горьковским).

Вы следите за логикой?

Корабль, приписанный к горьковскому пароходству, стал залогом партийной дружбы: нижегородский секретарь Горьковского обкома, чтобы сделать приятное коллеге, пообещал ему, что «Ворошилов» будет «Карамзиным». Так сказать: от нашего стола — вашему столу!

Однако в дело вмешалась перестройка: экипаж, которому имя Карамзина ничего не говорило, написал письмо чуть ли не в ЦК со своим рабочим условием — либо «Федор Шаляпин», либо вообще «Владимир Высоцкий»! В девяностом году начальство трудящихся побаивалось, но о Высоцком еще не могло быть и речи.

Так «Ворошилов» стал «Шаляпиным».

А чтобы ульяновскому руководству не было обидно, в «Карамзина» переименовали пароход «Советская Конституция». После такого имени экипажу было уже все равно, хоть Чаадаевым назови...

Знаки времени

В начале девяностых, на дне рождения моей шестилетней дочери, с именинницей чинно беседовали два ее кавалера — сын журналиста и сын бизнесмена.

— У тебя есть визитная карточка? — поинтересовался сын журналиста.

— Кредитная, — не переставая жевать, поправил сын бизнесмена.

«Авангарду, — сказано у Тургенева, — очень легко сделаться ариергардом... Все дело в перемене дирекции». Перемены в обратную сторону тоже иногда происходили довольно стремительно.

Петр Авен преподавал в тихом австрийском университете, в глубоком «ариергаде», когда получил приглашение войти в правительство Гайдара, министром внешнеэкономических связей!

Он прибыл на Смоленскую площадь, но внутрь его не пустил милиционер. Никаких подтверждающих бумаг не подоспело, а голословные утверждения гражданина с такой фамилией и внешностью о том, что он — российский министр, милиционера почему-то не убедили.

Авен звонил Гайдару, Гайдар — кому-то на Смоленскую площадь... Наконец коммутация состоялась, и Авена провели на новое рабочее место.

Пройдя приемную, он вошел в имперский кабинет. В перспективу уходил стол размерами с небольшую взлетную полосу. Авен прошел, сел в руководящее кресло, осмотрелся и уточнил у встречающих:

— Это я, что ли, Патоличев?

На дворе стоял 1992 год.

Россия стремительно входила в семью цивилизованных народов.

На смену советским сберкассам шел — Сбербанк! В показательное, только что евроотремонтированное здание, на открытие нового отделения, наехали СМИ, в том числе итальянское телевидение!

Ждали первого клиента, и он появился.

Озираясь на телекамеры, немолодой мужчина прошел через зал к окошечку кассира-операциониста и поставил на полочку «дипломат». Достал из «дипломата» два черных, плотно набитых рублями носка и опорожнил их в кювету для дензнаков.

Итальянское телевидение было в восторге.

Процесс приватизации

Мелкий олигарх N. в порыве профессионального сладострастия рассказывал мне, как получил в личное пользование от государства большое химическое производство в области, которую тактично назовем Святогорской.

Следите за руками.

У N. имелось полтора миллиона долларов, а производство стоило двадцать с хвостиком. Но уж больно хотелось! И тогда он пошел в местный исполком к чиновнику, ведавшему приватизацией.

Фамилия чиновника была, допустим, Бублик.

— Бублик, — сказал ему будущий олигарх, — ты мне Родину продашь?

— Всю не продам, — ответил Бублик, — а Святогорскую область — продам.

И они договорились.

Бублик отсеивал конкурентов (типа, не в порядке бумаги) и сливал будущему олигарху информацию о том единственном перце, которого они решили допустить до аукциона (типа, честная конкуренция). Тот, тоже не лыком шитый, имел симметричные планы получить завод на халяву, т. е. за те несколько миллионов долларов, которые бог послал ему на закате строительства коммунизма.

За несколько дней до аукциона «перец»-конкурент узнал, что N. соскочил с торгов, потому что у него не хватает денег. (Об этом «перцу» под страшным секретом сообщил, разумеется, чиновник Бублик, завербованный противником.)

Полагая, что конкурента уже нет, «перец» пожадничал и заявил на аукцион всего миллион долларов, что было меньше полутора, имевшихся у N.

Теперь задача N. состояла в том, чтобы обеспечить внезапность и не попасться на глаза скупердюю-конкуренту раньше времени. Три дня и три ночи он рыскал по Москве и скупал резаную бумагу под названием «ваучер» — и скупил ее на все полтора миллиона.

Скупка завершилась поздно вечером, накануне дня аукциона, и теперь, до десяти утра, мешки с этой макулатурой надо было доставить на торги в Святогорскую мэрию. «Аэрофлот» помочь уже ничем не мог, и резаная бумага имела все шансы так и остаться резаной бумагой...

По счастью для будущего олигарха, в соседней квартире жил военный летчик, которому Родина по неосторожности доверила самолет.

Ночью, с пятью мешками ваучеров, они вылетели в Святогорск с подмосковного военного аэродрома. Стоило это — «штуку баксов». Полагаю, в случае необходимости, «штук» за пять, летчик организовал бы ракетный удар по Святогорской мэрии...

Но они успели — за полчаса до начала торгов.

Защитник неба получил обещанную стопку зеленых, Бублик — оговоренный «откат», а N. — государственное производство в личное пользование на халяву.

Производство это давно накрылось медным тазом, рабочие годами не получают зарплату, все активы выведены в теплые благословенные места, а N. входит в русский список «Форбс» и руководит местным еврейством.

Бублика вспоминает с нежностью.

Руки не поспевали за скоростью первоначального накопления капитала, и в пункте обмена валюты начали практиковать уникальный процесс под названием — приемка денег «на ребро».

Тысячные купюры собирали резинкой в «котлету», измеряли толщину «котлеты» линейкой — и меняли в примерном соотношении сантиметра к доллару. Корректировка происходила наутро. Каждый божий день три выпускника Станкина волокли новые мешки с рублями к «обменке», где, с линейкой наготове, их ждал хозяин «обменки», тоже станкиновец.

Очень скоро главной проблемой бизнеса стало физическое переутомление концессионеров (мешки с рублями были очень тяжелыми), и они подрядили на разгрузочные работы милиционеров из ближайшего отделения... Сдвинув кобуры на жопы, менты честно трудились на благо народа.

А торговали «станкиновцы» — едой. Отправителем была немецкая фирма, а получателем значилась Русская Православная Церковь, что влекло за собой полную акцизную халяву. Крупный отец церкви, ненадолго отлучившись от восстановления духовности в разрушенной безбожниками России, за хорошенький «откат» помогал выпускникам Станкина преодолевать, именем Господа, государственную таможню...

А немцы все удивлялись — зачем русской православной церкви, ближе к посту, столько мороженого мяса?

А еще делалось так.

В маленький порт в Питере входил корабль из Роттердама — со спиртом. Одновременно туда же подъезжала милицейская машина с мигалкой.

Таможня, санитарная служба и пограничники резко слепли. Спирт сгружался на ментовскую машину и в полной безопасности отбывал в сторону дальнейшего товарооборота, а кораблик тихо выходил из маленького питерского порта и через пятнадцать минут торжественно заходил в большой порт того же славного города — уже совершенно официально.

И — без спирта.

Самым квалифицированным матросом на этом «летучем голландце» был продвинутый юноша, специалист в области компьютерных технологий. Благодаря ему, корабль, вышедший из Роттердама с документами на спирт, в Петербург приходил с этими же документами, но безо всяких следов спирта.

А Владимир Владимирович Путин как раз всем этим руководил... Я имею в виду: внешнеэкономическими связями Санкт-Петербурга. Потом он стал президентом России, а эти времена начали называться — «лихими девяностыми».

Как делаются деньги из воздуха, не знаю. Как они делались из воды — могу рассказать. Точнее — пересказать технологию, которой в минуту русского алкогольного откровения поделился один из авторов этого ноу-хау.

Итак: ГДР, Западная группировка советских войск, конец восьмидесятых. Перестройка, «человеческий фактор» и всякое такое...

Делай раз! Энтузиасты из армейской продслужбы берут воду из-под казарменного крана и отправляют ее в немецкую экологическую экспертизу с наводящим вопросом: не вредно ли такое пить? Из немецкой экологической экспертизы приходит заключение, из которого следует, что об пить не может быть и речи.

Делай два! Немецкая бумажка отправляется в Москву с наводящим вопросом: не начать ли (по случаю перестройки и «человеческого фактора») покупать для советских солдат питьевую воду? Смета прилагается. Оптовый литр воды стоит смешные пфенниги, однако ж, перемноженные на пять литров в человеко-день, число дней в году и число солдат в Западной группировке, эти пфенниги образуют цифру вполне ничего себе.

Делай три! Финотдел Министерства обороны, в приступе гуманизма, выписывает искомую цифру. Делай четыре! Тихий немец-оптовик за смешной «откат» пишет бумагу о том, что поставил в Западную группировку советских войск миллионы литров питьевой воды.

И, наконец, хеппи-энд: энтузиасты из продслужбы Западной группировки советских войск и гуманисты из финслужбы Министерства обороны по-честному делят десятки миллионов марок. Советские солдаты пьют, как и пили, воду из казарменного крана. Перестройка и «человеческий фактор» продолжают победное шествие по просторам Родины.

В 1992 году я написал свой первый киносценарий. (Потом я написал их еще несколько, и десять килограммов измаранной бумаги, до сих пор пылящейся на шкафах, — тому вещественное доказательство.)

А в том году я писал первый сценарий — и это был не потный вал вдохновения, а заказ! Через цепь шапочных приятелей на меня вышли какие-то новосибирские братки, занимавшиеся глиноземом, а может, красной ртутью; в общем, что-то у них куда-то шло эшелонами в обмен на «гуманитарку», которая, в свою очередь, на что-то обменивалась...

И вот эти братки типа решили построить под Новосибирском «Голливуд» — и известили мир о своей готовности со страшной силой вкладываться в кино. (Это в те годы была главная отмывка денег). А у меня с моим другом, режиссером, как раз имелся симпатичный сюжет для кино — и мы поняли, что это судьба!

Через какое-то время я был приглашен зайти в их офис поговорить. Офис оказался номером в гостинице «Севастополь», насквозь прокуренным, с бутылками из-под хорошего вискаря у дешевых вдавленных кресел. Я начал что-то рассказывать про сценарий, но инвесторы в тренировочных костюмах только замахали руками: давай, давай, пиши!

Так и не понял, зачем звали.

Через какое-то время я получил аванс, оказавшийся впоследствии окончательным расчетом. Суммы не помню (время было девальвационное, и счет шел на миллионы) — хорошо помню, однако, способ оплаты: посланец инвесторов занес деньги мне на дом в полиэтиленовом пакете с надписью «Мальборо».

Это был детинушка в майке, под которой угадывалась мощная и хорошо напрактикованная мускулатура. Он с выгрузил дензнаки прямо на кухонный стол и предложил их пересчитать. Будучи в предынфарктном состоянии от присутствия этого субъекта на своей жилплощади, я только спросил, где расписаться за получение.

Браток посмотрел на меня как на тяжелобольного.

Когда он покинул мою квартиру, я запер дверь на все полтора замка, причем отчетливо помню, что хотелось еще и привалить ее чем-нибудь для надежности.

Но так просто отделаться от партнеров по строительству русского Голливуда не удалось: через какое-то время мне передали просьбу от инвесторов — помочь им выйти на Хасбулатова.

Руслан Имранович был в ту пору спикером Верховного совета, и всего-то нужен был от него браткам один автограф, чтобы легализовать одну большую гуманитарную акцию. Целью акции было немедленное благоденствие Новосибирской области (с последующим выводом активов в оффшор, разумеется).

С Хасбулатовым, по обоюдному нашему счастью, я знаком не был (братки меня переоценили); инвесторы нашли выход на Белый дом в другом месте — и хмуро жаловались потом, что в приемной у «Имраныча» только за то, чтобы донести бумажку до письменного стола, с них попросили пятьдесят «штук».

Я еще, помню, уточнял, «штук» чего и сколько этого в «штуке».

Потом я дописал сценарий, и — вы будете смеяться! — на Киностудии имени Горького начался подготовительный период: пробы, поиски натуры, составление сметы...

Когда подготовительный период закончился, выяснилось, что денег больше нет. Потом выяснилось, что нет и инвесторов. Ни один телефон не отвечал. Протертые кресла в их «офисе» придавливали к полу другие энтузиасты первоначального накопления капитала.

Может быть, с добычей хасбулатовской подписи новым браткам повезло больше...

Десять лет спустя

С конца восьмидесятых меня иногда звали на эстраду; в основном на сборных концертах — в качестве гарнира, с краю тарелки, для разнообразия. Впрочем, «блюда» были действительно выдающиеся — Жванецкий, Хазанов...

Среди организаторов выделялся глава новой концертной фирмы. Он собирал звезд первой величины, набивал публикой огромные залы, стриг немыслимые барыши... Он выходил из навороченного серебряного джипа, каких еще почти не было в Москве в те годы — чуть за сорок, ранние залысины, печальные, немного усталые глаза победителя...

Потом моя судьба свернула с эстрадной дорожки, и я забыл человека с усталыми глазами.

Мой взгляд наткнулся на них через десять лет — в забегаловке у Белорусского вокзала. Приткнувшись у окна, владелец глаз пил какую-то кофейную бурду. Руки, державшие чашку, немного тряслись. Все радости прошедшего десятилетия — первого десятилетия новорусского капитализма, со всеми его «счетчиками» и прочей *конкретикой*, — серой плитой лежали на лице бывшего владельца серебряного джипа.

Не поручусь, что у него было где переночевать в тот день.

Вздвогнув, я отвел глаза, но еще раньше отвел их он.

Признание

Самую высокую оценку своей телевизионной работы я получил от смуглого крупного господина, мне совершенно незнакомого.

— Господин Шендерович, я за ваши программы пачку чая давал охране!

Мы ехали по Садовому кольцу. За минуту до того он причалил на мою поднятую руку.

— Сидели? — уточнил я зачем-то.

Он кивнул.

— За что?

— Я рэкети́р, — просто ответил он и рассказал историю, вполне банальную для начала девяностых. Делили «Лукойл» в Волгограде... Вызвали «бригаду» из Средней Азии... Начальник РОВД взрывал своих, потому что был в доле...

— Я шесть с половиной лет получил. Бог меня сохранил. Остальных потом закатали под асфальт вместе с семьями, — спокойно, как о рыбалке, рассказывал мой попутчик. — Там война была настоящая...

Пока он сидел, остался без дома и прописки в Ашхабаде. Живет теперь в этой «Волге», которую ему подарили по старой памяти братки. Братки зовут обратно в криминал, но он туда больше не хочет. Чеки от всех покупок возит в «бардачке» машины — бережется от милиции...

— Как вас зовут? — спрашиваю напоследок.

— Южный, — отвечает. — Рэкети́р Южный. Вы не сомневайтесь, — добавил он, — я настоящий был рэкети́р, меня Кобзон знает...

Никакого рэкета!

Н. рассказывал мне о своем бизнесе в 90-х на Украине — как дивно, просто и в полном соответствии с законом все складывалось! Картина выходила совершенно бельгийская...

— Погодите, а рэкет? — осторожно поинтересовался я.

— Какой рэкет! — удивился Н. — Никакого рэкета не было.

И помолчав, добавил:

— У меня дядя — глава федерации рукопашного боя Украины.

На пальцах...

Играть на баяне, щипать секретарш, пороть губернии, летать на истребителе, прилюдно мочиться и мочить... — вот что нужно! И народная любовь подоспеет.

А Егор Тимурович Гайдар, возражая в 1992-м кому-то из народных депутатов, позволил себе слово «отнюдь». Те взревели от возмущения и даже ногами затопали. Они решили, что над ними издеваются.

Чуть позже, перечисляя порядок действий, необходимых в российской экономике, Егор Тимурович принялся разгибать пальцы из кулака, начиная с большого (молодость российского премьера прошла в Принстоне).

И я, симпатизирующий ему, вдруг понял с печалью, что у Егора Тимуровича нет политических перспектив. И макроэкономика тут ни при чем.

Синхронный перевод

Дело было в октябре 93-го.

— Если к власти снова придут коммунисты, это будет апокалипсис, — сказал Егор Гайдар.

— Что будет? — не понял телезритель.

— Пиздец будет, — перевел ему другой.

Кремлевский спиноза

...анализируя ситуацию тех дней, родил словосочетание «эпицентры власти». Он даже не понимал, до какой степени угадал со словом.

Уважительная причина

— Фашизм в России не пройдет, — успокоил демократическую общественность Григорий Горин.

И пояснил свою мысль:

— Не пройдет по той же причине, по которой не прошли ни социализм, ни капитализм. Просто в России ничего не проходит!

Сон о приватизации

В начале девяностых жена работала в американской фирме, проводившей пиар-кампанию российской приватизации.

Однажды она проснулась в холодном поту: ей приснилось, что ее сослуживцы отпиливают ноги каким-то старикам. А начальник Билли говорит: я тебя предупреждал: в нашей акции должны участвовать все слои населения, в том числе инвалиды... И жена во сне вспоминает, что не обеспечила участие инвалидов! И вот, для пущей американской политкорректности, старикам отпиливают конечности.

По результатам приватизации следует признать, что сон оказался — в ногу...

День ельцинского референдума («да-да-нет-да») я встретил в Риге.

Участок для голосования добрые латвийские власти устроили не в российском посольстве, а в одной из воинских частей на окраине города — туда я и поехал, в славной компании со Жванецким и Карцевым.

Разумеется, их немедленно узнали. Жванецкий стоял в плотном кольце соотечественников, расписываясь на тетрадных листах, воинских книжках и фуражках; с Карцева собирали пыльцу по соседству.

И вот некий военнослужащий, отстоявши очередь к Жванецкому и получив доброжелательный автограф на фуражке, поинтересовался:

— Вы небось за Ельцина?

— За Ельцина, — подтвердил Жванецкий.

— Фашист! — сказал ему военнослужащий, забрал фуражку с автографом и ушел.

Разрыв хозяйственных связей

Программа «Время», конец 1994-го.

Из самолетного нутра выпадает бомба. Бомба разламывается на несколько кусков, те — еще и еще... Через несколько секунд внизу встает на дыбы земля. Сущий ад!

Все это комментирует приятный баритон за кадром. Вот какое замечательное оружие производит НПО «Базальт», говорит баритон, и нет ему аналогов в мире, и все хотят его купить: и Ирак, и Саудовская Аравия... Огромный интерес в Латинской Америке! Но (говорит баритон) — разрыв хозяйственных связей, невыплаты, инфляция... В результате: такое хорошее оружие лежит на складах, и склады взрываются...

Последняя фраза репортажа стоит того, чтобы привести ее дословно. «В итоге, — говорить опечаленный баритон из программы “Время”, — получается: *ни себе, ни людям!*»

Точные координаты

Моя дочь, моя жена и моя теща договариваются по телефону о встрече на Пушкинской площади.

— У магазина «Бенетон»! — говорит дочь.

— Который раньше назывался «Наташа», — уточняет жена.

— А-а, это там, где бомбоубежище... — понимает наконец теща.

Утерянный секрет

Мой киевский друг Саша Володарский когда-то играл в настольный теннис и даже входил в юношескую сборную Украины. Много лет спустя по папиным стопам пошла дочь...

И вот однажды она звонит отцу с насущным вопросом: напомнить, как делается резаный удар. Володарский, на шестом десятке жизни, объясняет, как учили:

— Все очень просто, дочура: руку резко, снизу вверх, под углом сорок пять градусов, — и на пионерский салют!

— А пионерский салют — это как? — спросила дочка.

И Володарский почувствовал себя счастливым.

Без вариантов

На седьмом десятке лет великий клоун Полунин приобрел внешность довольно суровую, и его жена Лена обронила однажды:

— У Славы борода, как у Маркса...

— У Маркса не было бороды! — твердо ответил их тридцатилетний сын Иван.

Братья Маркс — американские комики начала двадцатого века. И никаких энгельсов!

Новый адрес

Старый советский адмирал, выйдя в отставку, жил почти безвыездно на подмосковной даче. И немного приотстал от новых реалий...

И вот, в середине девяностых, в кои-то веки выбравшись в Москву, едет он на своей «Волге» обратно в Фирсановку. И видит: стоит на шоссе, у обочины, девушка. Стоит, но не голосует... Стесняется, наверное. А за окном зима, и девушка, наверное, мерзнет!

В старом адмирале сдетонировала офицерская честь и, притормозив, он открыл дверь.

— Папаша, — сказала девушка. — Минет. Двести рублей.

— А Минет — это до Зеленограда или после? — уточнил адмирал.

А это было — вместо Зеленограда...

На выбор

Киев, новые времена... Еду из отеля на выступление, звоню организаторам уточнить адрес.

— Улица Петлюры, — говорят.

— А это в какую хоть сторону?

— Скажете таксисту: улица Коминтерна!

Отель, весна 96-го. Музыкант, играющий в баре мимо нот, узнав, что я из России, радостно сообщил, что про Россию он знает!

Вот что он знает про Россию (дословно, с загибанием пальцев):

— Ленин, then... Сталин... then (вспоминая) Тоцкий? Потоцкий? (стуча ребром ладони по голове) killed in America... (подтверждая мою версию) yes, Троцкий! Then — Хрощев... then — Брежнев... then — another (Андропов с Черненко, слипшись под фантастическим именем Энаэр, ухнули в небытие), then — Горбачев, and now — Ельцин (музыкант постучал себя по сердцу) — капут (музыкант сочувственно развел руками), водка, водка...

Я остолбенел. Такого краткого курса ни слышать, ни читать мне еще не приходилось.

Чтобы не было мучительно больно...

Александр Кабаков рассказывал: в его подъезде жила-была старушенция, зюгановская активистка. «Банду Ельцина — под суд» и всякое такое...

И вот за пару недель до выборов 96-го года видит Саша дивную картину: идет эта старушенция, а за нею — мужик, груженный до ушей коробками с импортной техникой: самсунги-филипсы... печка-гриль, телевизор...

Любознательный Кабаков поинтересовался у зюгановки: с чего это вдруг ее пробило на оптовые закупки империалистической техники?

— Так наши ж придут, ничего ж не будет! — радостно ответила старушка.

Выбор народа

За соседним столиком тяжело напивались люди, будто вышедшие живьем из анекдота про новых русских: малиновые пиджаки, бычьи шеи, золотые цепи... Они приехали в Москву из Вологды — «решать вопросы». Вопросы решались тяжело; опознав, братки призвали меня к ответу за все — и велели сказать, когда в России закончится бардак и прекратится коррупция.

Меня одолело любопытство.

— Простите, — говорю, — а вы за кого голосовали?

(Дело было после выборов.)

Выяснилось: двое из пяти «быков» голосовали за Ельцина, двое за Жириновского, а один — вообще за Зюганова. И, проголосовавши таким образом, они с чувством выполненного долга напивались в ожидании, когда прекратятся бардак и коррупция...

Объект надежды

А мой приятель и коллега Михаил Шевелев, проголосовавши на тех выборах, направился за социологическим опросом в родные гаражи. Владельцы «Жигулей» и «Фольксвагенов», хозяева новых «БМВ» и водилы старых «ЗИЛов» — вся Россия в одной кубатуре...

В гараже было уже накрыто, нарезано на капоте, «нолито» и даже частично выпито; над капотами летали обрывки русской социологии: «а ты за кого?», «ну и козел», «а твой не козел?».

Михаил включился в процесс обсуждения и стал догонять.

Через какое-то время живых в гараже почти не осталось (праздник есть праздник). Электорат отдыхал вдоль стен, пережидая победу демократии. Над стаканами, последними из могижан, сидели двое — водитель «КамАЗа» и мой друг Шевелев, уже почти догнавший.

Судьбы России были теперь в их руках.

— Нет, — мрачно сказал водила, продолжая разговор, долгое время шедший в нем самом, — надо было вам их вешать, в девяносто первом!

— Кого? — уточнил мой друг Шевелев.

— Коммунистов, — прямо ответил водила.

Михаил немного задумался, связывая местоимения, а потом осторожно уточнил снова: мол, вешать не вешать — открытый вопрос, но почему — «вам»? Кому «вам»?

Работяга засмутился.

— Миш, — сказал он наконец. — Ты же знаешь: я не по этой части... Но ведь ты же еврей!

— Ну, — согласился мой друг Шевелев. — Еврей! Но почему *нам* их вешать? Почему не *вам*?

Водилу вопрос озадачил. Он огляделся. Электорат тихой биомассой лежал вдоль стен.

— Посмотри, — сказал водитель КамАЗа. — Ну? Можно иметь дело с этим народом?

И, помолчав, добавил твердо и печально:

— На нас надежды нет!

Так начинались «Куклы»

— Нужна концепция, — сказал Григорий Горин. — У вас молодые мозги, думайте! Мы встретились через несколько дней.

— Ну? — строго спросил Григорий Израилевич. — Придумали концепцию? Я виновато развел руками.

— А я придумал, — сказал Горин.

Он неторопливо закурил трубку и с минуту посасывал ее, бесстыже увеличивая драматургический эффект. Затем посоветовал учиться у него, пока он жив. И наконец, значительно подняв палец, произнес:

— Надо взять у них аванс — и скрыться!

Скрыться не удалось...

Рифмуйте сами

Сценка, посвященная возвращению премьера Черномырдина из Арабских Эмиратов, начиналась так:

Вот однажды из Дубай
Приезжает краснобай...

«Краснобая» руководство НТВ вежливо, но твердо попросило на что-нибудь заменить. (Сегодня даже смешно вспоминать: боялись Черномырдина!) Принципиального протеста просьба у меня не вызвала: русский язык велик, свободен и могуч, синонимов — ешь не хочу... Единственная проблема состояла в том, что программа была написана стишками.

Альтернативную рифму к слову «Дубай» личный состав «Кукол» нашел быстро, дело нехитрое:

Вот однажды из Дубай
Приезжает...

Вот именно.

Пройдя этот тупиковый путь еще при написании программы (я уже твердо знал, что «краснобай» — самое тихое, что есть в русском языке на это окончание), я попробовал исхитриться и убрать «Дубай» из рифмы:

Из Дубая как-то раз
Приезжает...

Вот именно!

Так и мучались, пока нашему звукооператору Аркадию Гурвичу не пришло в голову соломоново решение... И мы послали начальству смиренный факс с согласием на любую рифму, которую они нам предложат!

Минут десять наверху рифмовали, а потом позвонили и сухо разрешили: «Оставляйте “краснобая”».

«А озаряет голову безумца...»

К Черномыдину я относился, как Сальери к Моцарту.

Я-то всю жизнь беру трудом, а он брал — талантом! Тут ночей не спишь, слова переставляешь... Восемь редакций одной шутки! А Виктор Степанович просто открывал рот и говорил репризами.

— Почему в вашем правительстве не было женщин? — спросили у него.

Барабанная дробь... Ап!

— Не до того было!

Взрыв хохота.

Или вот еще — бессмертное, до всякого кризиса:

— Да мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!

Впрочем, сам Черномырдин уровень своего предвидения не переоценивал. «Прогнозирование, — говорил он, — чрезвычайно сложная вещь, особенно когда речь идет о будущем...»

Сам Черномырдин в те годы, конечно, не мог себе представить, что закончит карьеру в обидной ссылке, послом на Украине... Но случилось именно так, и на голову всеильного некогда Черномора в середине нулевых упал «газовый кризис».

Проворовавшееся украинское начальство в полном составе ушло в неосознанку, трубку никто не снимал, из Москвы орали дурными голосами и мылили Черномору шею.

А Черномор сам много лет мылил шеи и крайним быть не привык!

И когда дозвонился наконец в украинский Совет безопасности, то по старой начальственной привычке крепко отмутузил снявшего трубку чиновника: что за мать-перемать, что это у вас на Украине за бардак!

— Виктор Степанович, — мягко отозвался собеседник. — Вот вы у нас послом уже много лет, а так и не знаете, что надо говорить не «на Украине», а «в Украине»...

Тут Черномора взорвало по-настоящему. Но как!

— Знаете что! — сказал он. — Идите в хуй.

Весной 1995-го утомленное нервной реакцией прототипов руководство НТВ призвало меня к сдержанности, напомнив, что «Куклы», в общем, передача-то юмористическая, — и предложило написать что-нибудь легкое, стилизовать какую-нибудь детскую сказку...

И само, на свою голову, предложило «Винни-Пуха».

«Винни-Пух» так «Винни-Пух». Через неделю я принес сценарий.

Руководство обрадовалось мне, как родному, угостило чаем с печеньем — и минут пятнадцать мы беседовали на общегуманитарные темы. Руководство легко цитировало Розанова, Достоевского и Ницше, время от времени переходя на английский. Я разомлел от интеллигентного общества...

Наконец руководство взяло сценарий и стало его читать. И тут же, буквально на первой строчке, вдруг тоскливо и протяжно закричало, и вовсе не по-английски:

— Блядь, бля-ядь!..

На крик в комнату заглянула встревоженная секретарша.

Я тоже забеспокоился и спросил, в чем дело. Оказалось, дело как раз в первой строчке — известной всей стране строчке из одноименного мультфильма: «В голове моей опилки — не беда!»

И конечно, в «Куклах» ее должен был петь Самый Главный Персонаж. Но скажите: разве можно было, делая «Винни-Пуха», обойтись без опилок в голове?

Я доел печенье и ретировался, проклиная Алана Милна, Бориса Заходера и всех, всех, всех...

Позвонил Сергей Пархоменко (в просторечии Пархом, в ту пору — парламентский корреспондент газеты «Сегодня»). Поздравляю, говорит, тут из-за тебя скандал в Совете Федерации.

Господи, твоя воля! Я спросил: что случилось?

Оказалось: североосетинский президент Галазов заявил, что народу его республики нанесено страшное оскорбление в программе «Куклы»: республика была изображена в виде женщины-мусульманки.

Речь шла о кукольной стилизации на темы «Белого солнца пустыни».

Я был ошарашен. Мне в голову не приходило, что мусульманка — это оскорбление, тем более в контексте «Белого солнца...». Война, Джохар — Абдулла, Грачев — Петруха, солдат Сухов — Борис Николаевич...

Я спросил Пархома: нельзя ли разъяснить господину Галазову содержание слова «метафора»?

Пархом подумал несколько секунд и ответил:

— Не советую.

Программа-антиутопия, снятая зимой 1996-го, называлась «Воспоминание о будущем». Действие ее происходило в двухтысячном году, через четыре года после Зюганова на выборах.

Картинку я рисовал вполне предсказуемую: в Прибалтике снова русские войска, в продуктовом магазине — шаром покати, из всех репродукторов — один и тот же Кобзон с песней «И Ленин такой молодой»... А резиновый Егор с резиновым Григорием трудятся на лесоповале (объединились наконец).

И вот они пилят у меня, значит, бревно и вспоминают коллег-демократов.

И была в этом диалоге такая опасная шутка, что, мол, Боровой с Новодворской бежали, переодевшись в женское платье...

Через неделю раздался звонок.

— Господин Шендерович? — осведомился неподражаемый голос. — Это Новодворская.

Я похолодел, потому что сразу понял, о чем пойдет речь.

— Виктор, — торжественно произнесла Валерия Ильинична. — В своей программе вы нанесли мне страшное оскорбление...

Возразить было нечего — бестактность была налицо, хотя и невольная, разумеется. «Куклы» делались «с колес», в страшном темпе, и, написав программу, я не всегда успевал ее внимательно прочитать...

Я начал извиняться. Наизвинявшись, заверил, что готов сделать это публично, письменно, там, где скажет Валерия Ильинична... Новодворская терпеливо выслушала весь этот щенячий лепет и закончила свою мысль.

— Виктор, неужели вы не знаете, что в уставе нашей партии записан категорический отказ от эмиграции?

Ключевой вопрос

13 июня 1995 года против «Кукол» было возбуждено первое уголовное дело, и наутро я проснулся знаменитым.

Человек я скромный и долгое время считал успехом, когда меня узнавала собственная теща, а тут вспухло, как говорится, не по-детски...

После интервью «New York Times» я начал с уважением разглядывать отражение в зеркале. После череды презентаций купил жилетку. Когда моим мнением о перестановках в правительстве заинтересовались политологи, стал подумывать о батистовом платочке под цвет галстука. Когда позвонили из газеты «Балтимор сан», чтобы спросить, что я думаю про футболиста Симпсона, зарезавшего жену, я понял, что жизнь удалась окончательно.

Вылечила меня (распространенным в России способом шоковой терапии) корреспондентка «МК». Позвонив, она сходу начала умолять об интервью, хотя я и не думал отказываться. Мы договорились о месте и времени встречи, и напоследок она сказала:

— Ой, простите, только один вопрос.

— Да-да, — разрешил я, давно готовый беседовать по любой проблеме мироздания.

— А вы вообще — кто?

Сегодня я понимаю: этот звонок был организован моим ангелом-хранителем, в профилактических целях...

— вещь незаметная, и сознание редко успевает зафиксировать смену эпох.

Мне в этом смысле повезло.

Осенью 1995 года, в самый разгар первого уголовного дела против «Кукол», я летел во Францию к продюсеру программы Базилю Григорьеву — следовало как можно скорее привести в порядок юридические формальности контракта (ими вдруг горячо заинтересовалась Генеральная прокуратура).

Уже сидя в самолете, я вдруг вспомнил «жванецкую» фразу двадцатилетней давности — и зашелся от восторга, разом ощутив, как необратимо изменилось время!

Ибо мне, невыезднему беспартийному еврею, нужно было — на самом деле, безо всякой иронии! — «в Париж, по делу, срочно»...

Ну, ты спросил...

В эти же уголовно-процессуальные дни один отважный тележурналист прорвался к большому телу гаранта и спросил у него напрямки: Борис Николаевич, что вы думаете о программе «Куклы»?

Тяжело помолчав, Борис Николаевич ответил: «Я этой программы не видал», — и посмотрел на журналиста в точности по Ильфу: как русский царь на еврея.

Что, впрочем, имело под собой некоторые основания с обеих сторон.

Посреди того уголовного преследования приятель-журналист передал мне приятную приватную информацию из американского посольства: белоглавый орлан выразил полную готовность принять меня под сень своих безразмерных крыльев. Преследование журналиста — это немигающий зеленый свет для проезда на территорию свободы! Мне давали понять, что я могу рассчитывать на статус политического беженца.

Я страшно обрадовался этому обстоятельству, ибо как раз в те дни безуспешно пытался получить гостевую визу в США, и никак не мог доказать бдительным людям в консульстве, что не имею планов остаться в Америке нелегально.

А тут такая удача!

Радостной трусцой я побежал к знакомому окошку и, отстояв очередную очередь, доложил об изменившихся обстоятельствах.

На ПМЖ — это в ту дверь, показали мне.

Но я не хочу на ПМЖ, я хочу гостевую визу! Вы не смогли доказать, что не собираетесь остаться в Америке нелегально, ответили мне. Погодите, но если бы я хотел остаться, я мог бы сделать это легально, пойдя на ПМЖ!

Пожалуйста, ответили мне, — это в другую дверь...

Мы прошли еще пару кругов этого диалога, и я спекся, и в умопомраченном состоянии покинул неприступное посольство США.

Письмо из-под Пензы

...я получил самый разгар того уголовного преследования.

Писала незнакомая женщина. Судя по почерку, корреспондентка была немолода и писать ей приходилось нечасто. Содержание письма поставило меня в тупик.

Женщина рассказывала, как хорошо жить под Пензой.

Поведала, какой у нее просторный дом, какой рядом грибной лес и чистая речка. Потом подробно остановилась на хозяйстве: огород, куры, буренка... Дойдя до буренки, я отложил листок и перечитал адрес на конверте.

Я подумал — может быть, мне по ошибке передали письмо, адресованное в «Сельский час»... Но на конверте было написано: «в программу “Куклы”...»

Простой и чудесный смысл послания разъяснился в последнем предложении. Обстоятельно описав все преимущества сельской жизни под Пензой, женщина закончила письмо так:

«Милый Виктор! Если что, приезжайте ко мне, здесь вас никто не найдет!»

Да уж, не Лихтенштейн. Где спрятаться, найдется. Вот уж ПМЖ так ПМЖ...

Но прятаться не пришлось. Времена стояли, смешно сказать, демократические — общественность громко засмеяла Кремль за прокурорский наезд на сатирическую программу! Как двоечникам, журналисты день за днем втолковывали политикам: шарж — не повод набываться, это свидетельство популярности...

И, кажется, втолковали.

Уголовное дело еще не было закрыто, а политики со всех ног бросились к нам — проситься в программу.

От одного думского оплота нравственности звонили с полной готовностью к финансированию — лишь бы лысый резиновый двойник депутата появлялся в «Куклах», с неизменной трубкой в зубах, не реже двух раз в месяц.

Человек, готовый оплатить предстоящую пощечину — это даже не из Салтыкова-Щедрина. Это — Достоевский, если не Захер-Мазох! Упоминались благодарственные суммы в десятки тысяч долларов...

Но что такое десятки тысяч! Это, господа, на карманные расходы...

Зима 1996-го. Стою у себя на кухне, мою посуду, рядом — ведро мусорное с горкой, по мне гуляют тараканы... В общем, идет нормальная жизнь. Звонок. Приятный баритон сообщает мне, что представляет интересы господина... — и называет фамилию, буквально ничего мне не говорящую.

Ну, скажем, Сидор Пупкин.

И этот Сидор Матрасыч, сообщает мне звонящий, хочет быть Президентом России.

Тараканы на мне насторожились. Я спросил: чем, собственно, могу быть полезен Сидору Матрасычу в его фантазиях? Баритон ответил просто: он хочет увидеть свою куклу в вашей программе.

Принес Господь сумасшедшего, подумал я — и терпеливо повторил баритону все, что неоднократно говорил другим соискателям резины: для попадания в «Куклы» надо быть известным всей стране, иметь узнаваемый голос, манеры, лексику — в противном случае... и т. д.

Баритон выслушал мою лекцию и сказал: я очень уважаю ваши доводы — могу ли сообщить вам свои? Да, пожалуйста, ответил я, проклиная бездарно пропадающее время (ведь я уже мог домыть посуду и выбросить мусор!).

— Миллион долларов США, — сказал баритон.

И помолчав, добавил:

— Вам.

Тараканы на мне остолбенели. Я стоял, как ударенный пыльным мешком, причем очень пыльным и набитым толстыми зелеными пачками. Миллион долларов! США! Мне! В голове, как у Ипполита Матвеевича, поочередно пронеслись лакейская преданность, оранжевые, упоительно дорогие кальсоны и возможная поездка в Канны...

Но пустить Сидора Матрасыча на экран? Никому не известную физиономию, без повадок и голоса, с табличкой «хочу быть Президентом России»?

Я стряхнул тараканов и вежливо перевел стрелку, дав баритону телефон продюсера. Предупредив, что, по моему мнению (и к огромному моему сожалению, размеры которого см. в долларах), — появление Сидора Матрасыча в «Куклах» очень маловероятно...

Я повесил трубку и вернулся к раковине с посудой.

А мог бы швыряться той посудой в венецианские зеркала, потому что фамилия некогда неизвестного Сидора Матрасыча была — Брынцалов!

Он появился на телеэкранах, во всей своей красе, вместе с женой и повадками, через пару недель после того телефонного разговора...

В декабре 95-го, на одной неосторожно посещенной тусовке, меня подстерег генерал Коржаков. Подстерег — и начал прилюдно соблазнять.

Генерал предлагал мне перестать безобразничать в программе «Куклы», осознать ошибки молодости и войти в кремлевскую команду. Сорок минут я, как мог, выскальзывал из этих бывалых рук.

При расставании Коржаков сказал нечто туманное:

— Нам ведь жить в одной стране...

— Я надеюсь, — столь же туманно ответил я.

Дело было перед выборами 1996 года, после которых, в случае победы Зюганова, на Родине мне было не жить все равно.

На этот диалог с поразительной искренностью среагировал стоявший неподалеку Управделами Президента России Павел Павлович Бородин.

— Но нам-то отсюда уезжать некуда! — сказал он, показав на себя и Коржакова.

Помолчал и добавил:

— А здесь у нас все есть.

За полчаса до этого чистосердечного признания (как раз в ту пору, когда генерал, взявши под локоток, выгуливал меня по ресторанному залу «Рэдиссон-Славянской») этот самый Бородин вышел из соседнего зала — уже хорошо взявший на грудь и оттого ставший еще обаятельнее и раскованнее.

А моя жена в эту пору, ни жива ни мертва, следила за моими променадами под ручку с пьяноватым ельцинским опричником.

Бородин увидел одиноко сидящую за столиком молодую интересную женщину — и задал вопрос, выдавший в нем главного завхоза страны. Он спросил:

— Чья?

Сидевшие вокруг дамы ввели его в курс дела. Узнав, чья, Бородин с симпатией и как минимум отцовским чувством сказал моей жене:

— Уходи от него — и возвращайся к жизни!

Интерес к эпохе Возрождения

Кстати, об этой самой их «жизни», в которой «все есть»...

В начале девяностых Сергей Пархоменко, будучи во Флоренции, наткнулся на лавку, в которой делали оттиски больших гравюр с видами города. Шлепали их там по старой технологии, на камнях, «под старину»...

Склонный ко всему прекрасному, Пархом купил несколько пейзажей, по \$35 за штуку, и спустя какое-то время увидел такие же — в Кремле! Дело было как раз после знаменитого многомиллиардного «бородинского» ремонта...

Пархоменко поинтересовался у местного краеведа: что это за гравюры такие? Ему важно ответили: Флоренция, шестнадцатый век.

Ах, заглянуть бы в смету...

«Вот это да!»

Сам Павел Павлович Бородин этим кремлевским ремонтом страшно гордился и охотно рассказывал под телекамеру, как по Георгиевскому залу ходили Клинтон с Шираком, разглядывали раззолоченные стены и потолки и ахали:

— Вот это да! Вот это да!

Интонацию этого изумления несколько уточняет одна реплика, брошенная во время той экскурсии. Изумленный президент Франции напомнил президенту США:

— И они просят у нас деньги!

Медалисты

Моего соавтора в программе «Итого» звали «Исаков-Каряев»...

Блестящему коллективному перу Юры и Саши принадлежали и «Газеты будущего», и сюжеты из рубрики «Зоология». Незабываемо описание призывников, которые, «кося влажным глазом, уходят от призыва на длинных плоскостопых ногах»...

Из лучших шуток Юры и Саши — наградной лист для сотрудников кремлевской администрации. Вовремя слинявший от Лужкова к Путину г-н Ястржембский получил от Исакова и Каряева орден «За неоднократную верность», а вышеупомянутый кремлевский завхоз Бородин — медаль «За взятие без спросу».

Тут уж я не утерпел и дописал в скобках («посметно»).

За ельцинским инфарктом страна наблюдала честными глазами президентской пресс-службы: у президента ОРЗ, он четвертую неделю в реанимации, и ему с каждым днем все лучше!

А рукопожатие, как у Терминатора, и крепчает не по дням, а по часам. Ну, вы помните...

И вот — ближние подступы к Центральной клинической больнице, осенняя ночь, холодрыга с ветром в придачу. К Наине Иосифовне, выходящей из больничных дверей, бросается стайка журналистов:

— Наина Иосифовна, как Борис Николаевич?

И она, в порыве искренней материнской жалости, воскликнула:

— Ребятки, что ж вы стоите тут, мерзнете? Идите домой, завтра в газетах все прочтете!

Большой секрет для маленькой компании

Тяжеловатый, парадоксальный юмор Бориса Ельцина должен войти в учебники нашего зыбкого ремесла.

Из признаний белорусского «батьки» Лукашенко:

— Я президенту России всегда говорил: «Ты мой старший брат!». А он мне отвечал: «Только ты никому не говори!».

Французская штучка

Некоторое время Европа пыталась перевоспитывать Лукашенко. В 1996 году «колхозного диктатора» даже свозили во Францию. Водили по Парижу, рассказывали о французской выборной системе, о местном самоуправлении, независимых СМИ...

Батяка смотрел, дивился, слушал с огромным интересом...

Старания оказались не напрасны: Лука отобрал для своей несчастной Родины кое-что из французского опыта! И, вернувшись в Белоруссию, первым делом накинуд себе пару лет президентских полномочий.

Чтобы было не пять лет, а семь.

Как во Франции!

Кого хочет Дед?

«Куклы» выходили в воскресенье, а сдавать сценарий, по технологии, надо было во вторник. В эту пятидневную расщелину мы улетаи несколько раз, и глубже всего улетаи — в сентябре 1998-го...

Госдума в те дни дважды «забодала» кандидатуру Черномырдина, и все шло к тому, что Борис Николаевич насупится, упрется и выдвинет ЧВСа в третий раз.

Отмашку на этот прогноз и получила Наталья Белюшина, писавшая сценарий очередных «Кукол».

Но жизнь пошла враскосяк со сценарием. Когда программа была написана, озвучена, и уже полным ходом шли съемки, мне позвонил гендиректор НТВ Добродеев.

— Витя, — сказал он негромко. — Дед хочет Лужкова.

— О господи, — сказал я. — Точно? — спросил я чуть погодя.

Олег Борисович помолчал, давая мне возможность самому осознать идиотизм своего вопроса. Что может быть точного в России, в конце XX века, под руководством Деда?

— Пиши Лужкова, — напутствовал меня гендиректор и дал отбой.

Я позвонил Белюшиной — она ахнула, и мы вместе приступили к операции. Скальпель, зажим... Диалог, реприза... Через пару часов ЧВС был вырезан из сценарного тела, а на его место вживлен Лужков. Когда я накладывал швы, позвонил Добродеев.

— Витя, — негромко сказал он. — Только одно слово.

У меня оборвалось сердце.

— Да, — сказал я.

— Маслюков, — сказал Олег Борисович.

— Это пиздец, — сказал я, имея в виду не только судьбу программы.

— Пиздец, — подтвердил гендиректор НТВ.

— А это точно? — опять спросил я. — Кто тебе сказал?

— Да я как раз тут... — уклончиво ответил Добродеев, и я понял, что Олег Борисович находится там.

Мне даже показалось, что я услышал в трубке голос Деда.

Галлюцинация, понимаиш.

Я позвонил Белюшиной, послушал, как умеет материться она, — и мы приступили к новой имплантации. Лужков и ЧВС были вырезаны с мясом. Окровавленные куски текста летели из-под моих рук. Время от времени в операционную звонил Добродеев с прямым репортажем о ситуации в Поднебесной.

— Лужков, — говорил он. — Лужков, точно. Или Маслюков. В крайнем случае, Черномырдин...

К вечеру среды были написаны три варианта.

В четверг утром Ельцин выдвинул Примакова.

Лицо российской политики — широкое и, по преимуществу, красное — не лезло ни в какие ворота, а часто не вписывалось и в рамки информационного вещания. Самыми выразительными сюжетами такого рода корреспонденты НТВ делились со мной: для программы «Итого» всякое безобразие годилось вполне.

Иногда, с барского плеча, что-то перепадало нам и от гендиректора телекомпании Олега Добродеева. Поэтому я не удивился, когда однажды утром получил из его рук кассету.

— Посмотри, — посоветовал Добродеев. — Не пожалеешь.

— Порнушка? — пошутил я.

— Ага, — ответил Олег.

Я взял кассету и пошел в свой кабинет. Созвал трудовой коллектив — Лену, Сережу, Таню... — и нажал на «play». На черно-белом размытом фоне зашевелились фигуры. Качество было чудовищное, но содержание не оставляло сомнений. Голый дядька лежал на постели, обложенный двумя голыми же девками. Они уныло сношались.

— Что это? — поинтересовалась режиссер программы Елена Карцева.

— Не знаю. Добродеев дал, — честно ответил я.

Из уважения ко вкусам Олега Борисовича мы посмотрели пленку еще пару минут. Потом включили перемотку. На перемотке происходящее смотрелось гораздо живее, но случившегося с Добродеевым не проясняло. Дядька на огромной скорости досношал девок, и пленка кончилась. Мы переглянулись.

— Давай посмотрим еще раз, — предложил шеф-редактор Феоктисов.

— Понравилось, — ядовито заметила редактор Морозова.

Но было ясно: мы пропустили что-то важное. Ассистент перемотал пленку и нажал на «play». Мы приникли к экрану и стали смотреть сначала. И досмотрелись. Точнее — услышали: пьеска, оказывается, была с текстом.

В антракте между двумя актами девка спросила дядьку:

— Как тебя зовут?

И дядька ответил с легкой картавинкой:

— Юра.

И я ахнул, потому что только тут узнал в голом клиенте — Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Скуратова!

В тот же день в коридоре НТВ я встретил Светлану Сорокину.

— Ты видел? — спросила она.

— Да.

— Какой ужас! — сказала Света.

— Почему ужас? — спросил уже я. Насчет занятий, в которых проводит досуг российское руководство, иллюзий у меня не было давно. Ну сходил Генпрокурор к проституткам — чего руки-то заламывать?

— Как? — воскликнула Сорокина. — Но ведь он ни разу не сходил в душ!

Один мой знакомый сравнил телевидение с унитазами. Не в унижительном смысле, а в технологическом. Приходит время дергать за цепочку, а внутри еще не накопилось.

...В информационной службе готовили утренний выпуск новостей, а новостей не было. Да и какие могут быть новости в половине девятого утра? Только из другого полушария, да те, которых — не приведи, Господи...

Но ни импичментов, ни наводнений, ни терактов в тот день Господь не послал, и выпуск накрывался медным тазом. Ни одной новости, вообще!

— О! Пожар в Костромской области! — оживился редактор, сидевший у компьютера, в «агентствах».

— Погибшие есть? — с некоторой надеждой спросил ведущий.

— Полно. Коровник сгорел.

— Да ну тебя...

До эфира оставалось меньше часа. Бачок был совершенно пуст. Где-то в Латинской Америке ограбили ювелирный магазин, но «картинки» не было. Тайфун, гад, прошел мимо населенных пунктов. Полное затишье на земном шарике означало локальную катастрофу на нескольких этажах останкинского телецентра.

Служба информации была спасена в последний момент. За полчаса до эфира в дверь всунулась девчоночья голова практикантки и радостным голосом крикнула:

— Корнеев [\[4\]](#) умер — никому не нужно?

— Нужно, нужно! — радостно закричали ей и полезли в интернет, искать биографию покойной знаменитости.

Встреча Ельцина с деньгами

В конце девяностых в Москве появилась сеть закусочных «Русское бистро»: патриотический фаст-фуд, наш ответ «Макдоналдсу»! Для показа, что живой, и демонстрации близости к народу на открытие пищевой точки привезли президента Ельцина.

Предварительно, разумеется, установив на месте события телекамеры.

И вот — о счастье! — Ельцин своими ногами вышел из лимузина и пошел лично пробовать пирожок с вязигой и запивать оный кваском ядреным, с хренком! Народ, разумеется, разогнали по округе погаными метлами, чтобы случайно питающийся рядом избиратель не испортил дедушке аппетит.

Дедушка взял заранее проверенное охраной питание, пошутил заранее написанную спичрайтерами шутку и вместе с подносом и свитой двинулся к кассе, за которой уже полчаса в предынфарктном состоянии сидела заранее отобранная кассирша.

Пришел, таким образом, час расплаты.

На этот случай дедушке дали деньги — и любознательный Борис Николаевич, будучи человеком абсолютно непосредственным, начал прямо у кассы их рассматривать с огромным интересом. Он видел российские деньги в первый раз.

Дедушке помогли подобрать нужные бумажки, и сближение с народом состоялось.

«Юноше, обдумывающему житье...»

Самолет летел из Сочи.

В соседнем кресле кочумал крепкий молодой человек. Он только что вернулся из армии и находился на жизненном распутье. У юноши была задумка поставить свою жизнь на крепкую финансовую основу, и он колебался между школой милиции и работой на братков.

Братки предлагали дело и «крышу» — в школе милиции была перспектива стать «крышей» самому. Но у братков деньги начинались сразу, а в школе милиции первых серьезных «бабок» надо было еще дожидаться.

С другой стороны, у братков постреливали, а юноша хотел пожить.

У каждого из вариантов, таким образом, имелись свои плюсы и минусы, и юноша спрашивал моего совета. Я отнекивался, но юноша, еще выпив, спросил у меня напрямик: к браткам — или в милицию?

Я сказал, что, по моим наблюдениям, в текущий исторический момент одно другому не мешает, чем, кажется, снял камень с его пытливой души.

Дело было в середине девяностых.

Где он сейчас? В каком чине?

Заранее горжусь воспитанником.

Такой период

Санкт-Петербург, 1997 год. Поздний вечер. На улице, что интересно, Салтыкова-Щедрина, стоит пьяненькая тетушка в возрасте между «ягодка опять» и среднepenсионным.

— Мужчина, — говорит она мне, — ну куда вы торопитесь?

— В гостиницу, — отвечаю, — а что?

— Зачем же в гостиницу, — говорит ночная бабушка и улыбается мне довольно интимно.

Несколько ошарашенный (ибо на проститутку моя собеседница похожа, как я на Марлона Брандо), интересуюсь: что же она может предложить мне взамен?

Бабушка с готовностью выложила свой нехитрый преysкурant: сауна, несколько ее товаров на выбор... Видимо, на моем лице отразился сыновний ужас, потому что женщина, смутившись, сказала (дословно):

— Мужчина, вы не подумайте чего, мы приличные домохозяйки... *Просто у нас сейчас период оплаты счетов!*

В разгар телевизионной известности меня пригласили выступить перед космонавтами. Не на станции «Мир», разумеется, а в Центре управления полетами, в городе Королев.

В зону видимости станция должна была войти через час, но радиосвязь уже была, и в досужем ожидании я слушал переговоры космонавтов со специалистом на Земле.

Речь шла о невозможности закрыть какой-то люк из-за поломки ключа. Это был обычный русский народный разговор, вполне представимый у люка на асфальте.

— Может, прижать его как-нибудь? — предлагал человек с Земли.

— Как я его прижму? — доносились через хрипы с орбиты.

— Ну упрись во что-нибудь...

— Во что я тут упрусь?

После телесеанса меня повели по ЦУПу. Показали макет станции в зале управления полетами: эти солнечные батареи не работают, этот отсек разгерметизирован, тут сломано навсегда, тут пытаемся чинить...

По орбите, издыхая, летал старый проржавленный трамвай.

Целые залы ЦУПа были законсервированы; в кабинете суточного руководителя полетом, в граненом стакане с кипятильником, булькал кипяток; сам руководитель вынимал пакетик с заваркой и разворачивал бутерброды, приготовленные женой...

Я представил себе условия работы его коллеги в Хьюстоне — и мне стало обидно за державу.

Держава, прямо сказать, не первой свежести, но, с другой стороны: сколько бы продержался в российских условиях его американский коллега? И возможны ли в Хьюстоне люди с глазами героев «Понедельника» братьев Стругацких — того, что начинается в субботу?

Катапульта для сына

Много лет назад, в самолете, летящем в Париж, я случайно оказался в компании российских авиаторов. В числе прочих, познакомился и с главой НПО «Звезда», производящего катапульты... Его звали поразительным римским именем Гай Северин.

Через несколько дней, в Ле-Бурже, на моих глазах, продукция этого НПО получила шикарную рекламу: на выходе из «штопора» Су-30 зацепил землю и взорвался, но за миг до взрыва два летчика успели катапультироваться и остались живы.

Катапульты сработали штатно. И знаете почему?

Я знаю.

Испытателем этих катапульти на НПО «Звезда» работал сын генерального конструктора!

Подъем духовности вручную

В новейшее время начальство рвануло в сторону духовности. Обкомы в полном составе перешли в православие, и не осталось ни одного офицера КГБ, который не постоял бы со свечкой у алтаря.

И вот — весна 1994-го, Кремль, Соборная площадь; из церкви, под перезвон колоколов, при большом скоплении народа выходят президент и патриарх. И Борис Николаевич, расчувствовавшись, говорит:

— Россияне! Поздравляю вас с Пасхой — и, значит, с рождением Христа!

Как говорится, чтобы два раза не вставать.

Примерно в то же благословенное время в церковь рангом поменьше, собрав вокруг себя побольше телекамер, пришел Жириновский. Пришел, решительным шагом прошел к образам, собрал в горсть пальцев... сколько Бог дал... и начал класть на себя крест.

Путь ото лба к животу Владимир Вольфович прошел безошибочно, а потом задумался. Стоит, жменю у пупа держит и к которому плечу ее вести — не знает, благодетель.

Впрочем, наш брат журналист тоже отличился на ниве православия. Пасхальный репортаж из Елоховского собора корреспондент НТВ закончил так:

— Христос воскрес! С места события — Иван Волонихин...

Хорошую компанию Ивану

...составил комсомольский поэт Дементьев, в новейшие времена освоившийся в Израиле в качестве собкора Российского телевидения.

Он сказал:

— Наш микрофон установлен на Голгофе!

Счет на восстановление

...храма Христа Спасителя был открыт в Дзержинском отделении Жилсоцбанка, в Безбожном переулке.

«Нужны ли тут слова?»

Рекламная перетяжка

...поперек Ленинского проспекта обещала «снисхождение благодати в прямом эфире»...

В начале следующего века маразм окреп и сгустился. И однажды, в добрый час, ведущие программы «Спокойной ночи, малыши!» Анна Михалкова и Оксана Федорова в едином просветлении поздравили с пасхой Христовой — Степашку и Мишутку.

«Воистину воскресе!» — писклявым хором отвечали Мишутка и Степашка этим сексапильным оплотам православия.

Хорошо, хоть Хрюши там не было...

Бурый премьер

В середине девяностых Виктор Степанович Черномырдин решил побаловать себя медведжьей охотой. Славную забаву сию устроили в заповеднике на Ярославщине; премьер с ружьем сгрузили с вертолета прямо у берлоги...

Об этом пронюхали журналисты; время было еще либеральное, начальству спуска не давали: в «Огоньке», а потом и в других изданиях появились сообщения о премьерской охоте, программа «Времечко» даже устроила сороковины невинно убиенных медвежат... В общем, Черномырдина, что называется, достали.

Накласть в карман любезному ЧВСу сподобились и «Куклы».

Программа «Витя и Медведь» вся была построена на «медвежьих» ассоциациях: то бюджетники сосут лапу, то у левых сил зимняя спячка, то Большая и Малая Медведицы плохо расположены... Нерезиновый Виктор Степанович после эфира страшно обрычал руководство НТВ по телефону.

Мы, разумеется, были довольны: высочайший гнев — лучшая похвала сатире!

Но все это оказалось только завязкой: жизнь продлила придуманный нами сюжет...

Через несколько дней, на заседании правительства, проходившем, как положено, под председательством многострадального ЧВСа, выступал главный таможенник страны г-н Круглов. И, рассказывая о трудностях таможенной службы, он позволил себе метафору: мол, есть у нас еще такие медвежьи углы...

Виктор Степанович рявкнул на таможенника так, что тот чуть язык не проглотил.

— Сядь! Все! Хватит!

Таможенник попытался объясниться: мол, про медвежьи углы — это же он в порядке самокритики...

— Сядь на место! — крикнул реформатор.

И еще, говорят, минуту в страшной тишине перекладывал ЧВС с места на место бумаги, не мог продолжать заседание.

Закончу, однако, также на самокритике: ведь я, готовясь писать ту программу, выписал в столбец все, что смог вспомнить в русском языке на косолапую тему. Мне казалось, я ничего не забыл...

Но русский язык приберег «медвежьи углы» — для отдельной репризы в зале заседаний правительства.

Мы строили, строили...

Как-то раз Виктор Степанович Черномырдин сказал Ирине Ясиной:

— Ну что, Ирка, построили мы с тобой капитализм!

И поделился наблюдениями, породившими этот неслабый тезис:

— Вчера ночью, — говорит, — ехал через деревню, специально попросил шофера остановиться у магазина. Семь сортов колбасы! Ночью! В деревне! Представляешь?

— А что за деревня-то? — поинтересовалась Ира.

— Да почему я знаю? — отмахнулся премьер. — Какая-то деревня.

— Да как называется? — не отставала Ира.

Премьер даже возмутился.

— Что ты пристала? Какая разница! Простое русское название...

— Не Жуковка, часом? — уточнила Ясина.

— Точно, Жуковка!

Ну да, где ж еще было ехать с работы Виктору Степановичу?

Жуковка — кусочек номенклатурной Швейцарии по Рублево-Успенскому шоссе. Там, где они построили капитализм...

Панихида для пиара

Жизнь сплетает жанры самым фантастическим образом, и смешная история может, оказывается, начинаться словами «дело было на отпевании Бродского»...

Этот сюжет рассказал мне Петр Вайль.

В похоронном доме в Нью-Йорке, куда привезли тело Иосифа Бродского, было два зала. Во втором в это же самое время отпевали какого-то итальянца.

И вот посреди приватного прощания с великим поэтом к дому с помпой подкатила государственная процессия — лимузины, охрана, суесящиеся холуи... Из головного лимузина вышел, собственной персоной, премьер-министр России Виктор Степанович Черномырдин. Ему в руки всунули букет красных роз, и премьер пошел прощаться с Бродским.

О смерти Бродского и о его существовании Виктор Степанович узнал одновременно — из доклада собственной пиар-службы. Кто-то ушлый сообразил, что, ежели Бродский так удачно умер во время визита Черномора в США, грех этим делом не попользоваться: рейтинг!

И вот, значит, премьер направился в похоронный дом...

Здесь следует заметить, что сюжет прошел в сантиметре от чудовищной развязки: ведь Виктор Степанович мог начать говорить. Речь Черномырдина над гробом Бродского — можете себе представить? Но Господь распорядился сюжетом иначе.

Когда ЧВС, с букетом наперевес, прошел в помещение, из соседнего зала, от своего покойника, вышла группа заинтригованных итальянцев: приезд лимузинов с охраной пересилил их скорбь.

— Кто это? — поинтересовался у Петра Вайля один из вышедших.

Вайль объяснил.

Весть о приезде в похоронный дом премьер-министра России привела итальянца в сильнейший восторг.

— О! — сказал он. — Пускай и к нашему зайдет!

Тусовка

Случайно встретив кинокритика Василия Кисунько через несколько дней после похорон Листьева, его приятель, весьма известный в России господин, светски поинтересовался:

— Ты тусовался на Владе?

Неубиенный довод

Дело было в первые годы незалежной независимости.

Мэр славного черноморского города взял у немцев огромный кредит и, к профессиональному восторгу окружения, своровал его в тот же день.

Кто-то из приближенных осторожно поинтересовался: зачем было непременно делать это в тот же день? Можно же «распилить» постепенно...

Мэр пресек эти интеллигентские рефлексии на корню:

— Что их, больше станет, что ли?

Среди великих формулировок эпохи не должна затеряться фраза, которую приписывают уроженцу Тбилиси, балетмейстеру Михаилу Лавровскому: «Светофор в Тбилиси себя не оправдал!»

В Узбекистане, в начале двухтысячных годов, высочайше запретили игру на бильярде — как способствующую распространению наркомании и преступности! Оказывается, многие преступники были замечены за бильярдом...

Когда в те же годы наследник азербайджанского престола Ильхам Алиев невзначай проиграл в Стамбуле два миллиона долларов (с кем не бывает?), разгневанный папа-вождь велел закрыть все казино — в Баку...

Хорошо, что наследник престола в Стамбуле не отравился — папа мог бы закрыть в Баку все точки общепита.

Я, Толстой и Достоевский

Эта восточная логика хорошеет и у нас...

Однажды — дело было в середине девяностых — глава Конституционного суда России Владимир Туманов, обиравшись на мои впечатления от российского правосудия, сделал мне прилюдный выговор: писатели в России, сказал он, должны прививать уважение к закону, а вместо этого позволяют неуважительные высказывания в адрес судебных!

Конкретизируя свою мысль, Туманов помянул недобрым словом гг. Толстого и Достоевского: мол, как ни судья у них, так какой-нибудь мерзавец.

Дивным образом оказавшись в одной компании с классиками, я немедленно возгордился...

Но какой ужас: это, оказывается, из-за Льва Николаевича в России нет уважения к закону! А Англии по судебной части сильно нагадил Диккенс.

Кстати, о судебной части.

Я обещал рассказать историю «посадки» (на семь лет строгого режима) моего друга Юры, но этот судебный юмор, пожалуй, чересчур черен для этой книги. Для увеселения почтенной публики — лишь несколько легких штрихов к портрету нашей бледоватой Фемиды...

Цитата из обвинительного заключения: «Данное дело явилось результатом *выполнения программы правительства* по искоренению преступлений и коррупции в сфере экономики» (курсив мой. — В. Ш.).

Во время зачитания приговора заснула и упала головой на стол тетка по правую руку от судьи. Это была народный заседатель, и звали ее Иветта Раздатовна. Конвойный, надевавший на Юру наручники, оказался его соседом по подъезду.

Юру брали в железа, когда судья еще дочитывал приговор... Это заняло секунд двадцать. После приговора оправдательного (после трех кассаций, через четырнадцать месяцев) Юра не мог выйти на свободу еще восемь суток.

Все эти восемь дней начинались для меня одинаково: я звонил в канцелярию Мосгорсуда и интересовался судьбой бумажки, от физического движения которой зависело освобождение заключенного. Бумажку с оправдательным приговором требовалось доставить в Тверскую колонию, где сидел Юра.

За восемь дней из Москвы до Тверской колонии можно добраться ползком, но бумага все блукала по темным закоулкам Мосгорсуда, а в тамошней канцелярии всё пили чай: как ни позвонишь туда — все звон чашек да бабий говорок. Они мне, признаться, надоели, но уж и я их, слава богу, достал!

На восьмой день, когда я заученно долбил голову неизвестной мне канцелярской тетки необходимостью выполнить решение суда, в трубке, перекрывая звуки утреннего чаепития, раздалось обращенное к моей собеседнице, нетерпеливое:

— Люся, давай скорее, чай стынет!

И работница канцелярии Мосгорсуда, недостаточно прикрыв трубку ладонью, ответила коллегам, а я, в тихом восторге, тут же дословно записал:

— Да тише вы, ёб вашу мать, это этот звонит, как его, козла... Шендерович!

Борьба с преступностью

А вот коленце из судьбы другого приятеля-бизнесмена.

В один прекрасный день некий сотрудник его фирмы взял из кассы семьдесят тысяч долларов и исчез. Бизнесмен обратился в милицию. Там даже не стали делать вид, что будут кого бы то ни было ловить, сказали: ищи сам, нам не до того (что можно считать проявлением как искренности, так и особого цинизма).

Тогда бизнесмен через знакомых вышел на офицера ФСБ, и тот пообещал свести его с организованной преступностью, которая выразила готовность обуздать преступность неорганизованную.

Встреча состоялась. Бандиты пообещали бизнесмену найти вор-беглеца и «вынуть» из него злосчастные 70 тысяч. Бизнесмена ознакомили с расценкой работы (50 % от «вынутой» суммы), и он с расценкой согласился. А что ему оставалось?

Бандиты обещали перезвонить и слово сдержали. Позвонив, они сообщили клиенту три вещи: первое — что беглеца не нашли, второе — что больше заниматься этим не намерены, других дел по горло; и наконец, третье — что он должен им три штуки баксов.

— За что? — спросил бизнесмен.

На том конце провода подумали несколько секунд и ответили:

— За знакомство.

Бизнесмен подумал, что это такая шутка, но через неделю ему позвонил тот самый бандитский связной (по совместительству офицер ФСБ) и передал, что «обстановка накаляется» и «ребята ждут бабок».

И еще полгода потом бизнесмен вертелся угрем, а обиженные пацаны, которым не было заплачено за знакомство, искали его со своими раскаленными утюгами и корешами из ФСБ.

А власти удивляются, что мы не платим налоги.

«Розовые лица, револьвер желт...»

На обочину вышел милиционер с автоматом Калашникова на животе и коротким жестом приказал остановиться. Дело было через неделю после Буденовска. Москва стояла на страже.

С головой (и автоматом) ввалившись в открытое окно «жигуля», мент обдал меня сивушным перегаром и сказал буквально следующее: «Ара, попить есть?».

Я уже набрал в грудь воздуха, чтобы послать его на три буквы, но не послал, потому что вдруг захотел жить (а посмертно мог бы оказаться и чеченским террористом).

Вспотев до глубины души, я честно ответил: «Ара, попить нет!» — и мы поехали на дачу, а мент замахал жезлом на следующую машину.

Впрочем, с пьяного какой спрос? Вот вам про трезвых.

Сажу в открытом кафе у метро «Фрунзенская», пью кофеек, лето опять-таки. Вдруг — скрип тормозов, из машины выскакивают ребята спортивного телосложения, подбегают к стоящей у бордюра красной «девятке» и с громким матом выдергивают оттуда трех хорошо одетых людей южного вида.

За соседним столиком говорят: во беспредел пошел, прямо среди бела дня! И я тоже думаю: может, ну ее на фиг, мою чашечку кофе, а то сейчас как пальнут... Позвать, что ли, милицию?

Бандиты ставят выдернутых из машины в положение «ноги врозь, руки на капот» — и начинают копать в «девятке». Нет, говорят за соседним столиком, это не бандиты, это ОМОН переодетый, — а бандиты как раз те, что в «девятке», ишь, нахалы! И я тоже успокаиваюсь и, радуясь торжеству закона, возвращаюсь к чашечке кофе. В это время к стоящим в положении «ноги врозь, руки на капоте» неторопливо подходит накачанный, коротко стриженный человек и с размаху бьет их поочередно ногой поддых.

Нет, говорят за соседним столиком, эти, накачанные, точно бандиты, а те, в «девятке»...

Наше гадание на кофейной гуще прерывает приезд милицейского «уазика». Избитых, скорчившихся на асфальте людей оттаскивают и увозят навстречу правосудию.

Кораблекрушение

Дело было под Питером, в пансионате.

Приехав, мы с женою вышли прогуляться вдоль Финского залива... типа на берегу пустынных волн... типа единение с природой...

Ага, щас! Вдоль полосы прибоя уходила вдаль образцово-показательная помойка, как будто только что здесь, на берегу пустынных волн, со страшной силой взорвался мусоровоз.

Пакеты из-под соков, гнилые доски, презервативы, строительная каска, женские трусики, канистра, куски полиэтилена, старый кроссовок, ведро, пластиковые стаканы, черенок ананаса, пивные сплюснутые банки, оторванные руки детского трансформера, разломанный проржавевший ящик, оловянная ложка, крупные фрагменты сантехники — и бутылки, бутылки, бутылки...

Картина происходящих здесь народных гуляний ясно встала перед мысленным взором, и я засобиравшись прочь с пляжа, желая покинуть сей берег прежде, чем меня стошнит прямо в натюрморт. Настроение было испорчено, казалось, окончательно...

Мое душевное равновесие восстановила жена.

— Ты ничего не понимаешь, — мечтательно сказала она. — Посмотри! Просто случилось кораблекрушение, и все, кроме нас, погибли, и на берег выбросило обломки...

И я поглядел на натюрморт новыми глазами, и мы снова побрели вдоль берега, под крики чаек, одни в этом печальном пейзаже, в гармонии с суровым небом, пощадившим нас одних — мимо череды печальных напоминаний о погибшем корабле.

И три дня потом, выходя на берег Финского залива, я с трудом сдерживал слезы, глядя на разломанный ящик, старый кроссовок, презервативы, канистры и оловянную ложку... Все всматривался в бутылки — нет ли внутри записки?

Но ни одной записки не было.

Все погибли.

А может, кто-то все-таки выжил.

В первую же ночь — это была ночь на воскресенье — со стороны залива раздалось глухое, но непрерывное «дум-дум-дум», как будто забивали сваи.

Источником звука был, несомненно, чей-то «кассетник», а «дум-дум-дум» было так называемое «музыка», под которое в наше время так называемое «отдыхают» так называемое «люди». Коттедж вздрагивал в предынфарктном ритме этой «музыки» — в буквальном смысле дрожали стены.

Я позвонил на рецепцию и попросил что-нибудь сделать с этим полуночным досугом, потому что в рекламе пансионата нам обещали домик в соснах возле залива, а не забивание свай в голову.

Милая женщина на рецепции сказала, что попробует помочь, но помочь не смогла. Перезвонив через какое-то время, она честно объяснила мне, что там, на берегу, в настоящее время — гуляют...

— Так позвоните в милицию! — предложил я.

— Так это милиция и гуляет, — просто ответила женщина.

Янислав Левинзон, капитан популярнейшей в свое время одесской команды КВН, приехал в Москву и поселился в одноименной гостинице.

И вот, значит, едет он в лифте, а вместе с ним едут два мужика со значками на лацканах — избранники народа, депутаты Госдумы. Один избранник (видимо, бывший телезритель) внимательно смотрит в лицо Яну и наконец спрашивает:

— Простите, вы на утреннем заседании были?

А вы лицо Левинзона помните, да? Такой фракции нет.

Ян, честный человек, отвечает:

— Нет, я на утреннем заседании не был.

Депутат уточняет:

— А на вечернее — пойдете?

— Даже не подумаю, — говорит честный Левинзон.

Вдохновленный этим ответом, депутат поворачивается к коллеге:

— Вот я и говорю: нехрена нам там делать!

Переговорный процесс

В одном немаленьком московском банке, ориентированном на «нефтянку», шли серьезные переговоры. Высоких переговоривающихся сторон, желавших понадежнее припасть к федеральной «трубе», было пять:

- банкир-еврей твердой либеральной закваски (мне об этом впоследствии и рассказавший);
- русский вор в законе;
- чеченский полевой командир;
- генерал ФСБ и
- заместитель генерального прокурора Российской Федерации.
- И что? — поинтересовался я.
- Прекрасно договорились, — успокоил банкир.

Другой российский бизнесмен, полной мерой вкусивший сладость дружбы с администрацией, сформулировал без лишних эмоций:
— Их «дружба» — часть себестоимости.

Заехал я как-то на дачу к приятелю молодости, адвокату. То есть это я по старинке думал, что у него дача, но, видать, не уследил за нравственной эволюцией этого господина...

Жил он в крепостном замке с видеонаблюдением по периметру, в окружении других таких же новорусских имений. Все эти охраняемые асьенды находились, разумеется, еще и за шлагбаумом с охраной.

А раньше тут обитали старые большевики... Впрочем, во времена большевиков ни шлагбаума, ни видеонаблюдения здесь не было. И доживали в этом поселке свои жизни — летом, в зеленом казенном домике — моя твердокаменная бабушка с дедушкой, недорепрессированным троцкистом...

Но времена изменились, изменились и дачники.

И вот адвокат выводит меня на опоясывающую балюстраду третьего этажа и начинает обзорную экскурсию.

— Видишь, — говорит, — домик? Это домик судьи.

Судя по размерам домика, судья был человеком принципиальным и мало не брал.

— А вот, — говорит адвокат, — домик прокурора. Тоже неосторожный человек.

— Почему?

— Надо было сначала уволиться, а потом строить такой домик. Вот, гляди сюда...

По соседству виднелся немаленький участок, плотно загруженный импортными стройматериалами.

— Это участочек следователя по особо важным делам. Он через год уволится, уйдет в бизнес и уже тогда начнет строительство.

Я не нашел связи...

— Вот и следствие не найдет связи, — объяснил адвокат. — Между домиком и предыдущим местом работы...

Тут я помаленьку начал понимать, куда попал. Но впереди было еще много открытий.

— Это дом главы местного РУБОПа, — продолжал экскурсию адвокат. — Рядом — дом местного авторитета.

Между домами, которые уместнее было бы назвать усадьбами, не наблюдалось даже забора. На общей лужайке красовалось барбекю. По вечерам, после рабочего дня, глава РУБОПа обсуждал с авторитетом ход его поимки...

— Теперь смотри.

Мы перешли по балюстраде на другую сторону дома.

— Видишь? — сказал адвокат. — Это дом генерала ракетных войск.

Генерал ракетных войск жил в крепком деревянном доме; во дворе, у аккуратной поленницы, стояла «Волга». Это было, безусловно, благополучие, но какое-то глубоко советское... Иллюстрируя разницу эпох, рядом высился новорусский дворец, чуть ли не с кариатидами!

Адвокат дождался моего вопроса и ответил с огромным удовольствием:

— Полковник строительных войск.

Спустя полчаса, уже за чаем, я поинтересовался, много ли работы.

— Сейчас я отдыхаю, — ответил мой собеседник. — Жду двухтысячного года. (А дело было летом 1999-го.)

И пояснил, обведя рукой окрестный пейзаж:

— Им же всем понадобятся адвокаты...

Но черная туча миновала эти благословенные места; у власти остались свои такие же. Подмосковным латифундистам адвокат не понадобился — и пошел работать в правительство Российской Федерации.

А вот история другой подмосковной недвижимости; немножко жутковатая, но — не страшнее времени. Знаменитый лондонский дизайнер получил заказ из России от одного мелкого олигарха: построить в его подмосковном имении, на искусственном озере, небольшой средневековый город. Игрушечный, по типу маленькой брюссельской Европы...

Дизайнер сделал это с огромным талантом. Вырыли озеро, насыпали остров, построили город — с мостами, башенками, улочками... все, как оговаривалось, в масштабе один к двум.

Заказчик приехал принимать работу. Походил по этому «средневековью», полюбовался, поцокал языком... Потом потрогал стены и поинтересовался, как работает отопление.

— Какое отопление? — не понял дизайнер.

— Как какое! Они ж замерзнут зимой.

— Кто?

Тут выяснилось досадное недоразумение. Оказывается, маленький олигарх задумал построить у себя в поместье старинный маленький город не для бессмысленной красоты, а чтобы поселить в нем лилипутов.

Живых.

Чтобы, значит, он выходил утром из дома, а кругом — благодарные средневековые лилипуты. А он вроде как Гулливер.

Тяжело быть маленьким олигархом.

Зазвали меня как-то в гостиницу «Метрополь» на вручение премии «Элита». Премия деловых кругов России, не кот начхал! Мне там чего-то должно было перепасть... Название премии немного насторожило меня, но пропеллер ниже спины, как Карлсона, понес в сторону тусовки.

Цацку дадут, да и любопытно же!

В «Метрополе» все было в самом разгаре: утка, стерлядка, политики, бизнес, звезды эстрады... Через какое-то время меня вызвали на сцену и, сказав много лишних слов, действительно вручили цацку. Это было что-то шикарное в коробочке, перевязанной золотой ленточкой, что-то эдакое... короче, счастье на всю оставшуюся жизнь.

Более подробно описать содержимое коробочки не имею возможности, потому что ее немедленно сперли. Кого-то представили мне, кому-то — меня, потом с кем-то поставили фотографироваться, я пакетик к стеночке и прислонил...

И — как на вокзале, в один момент!

Элита, бля.

«Новые русские»

Говорят, этот термин придумали еще в конце восьмидесятых совсем молодые в ту пору Василий Пичул и Валерий Тодоровский.

По замыслу юных кинематографистов, это было анонсом изменившегося пейзажа: смотрите, кто пришел! Не совки-валенки, брежневской молью траченные, — продвинутые, образованные, вписанные в европейский контекст, молодые, талантливые...

Новые русские!

Но время и язык сами решили, каким смыслом наполнить удачное словцо.

Веселые ребята

На похороны Галины Старовойтовой несколько журналистов прилетели на самолете РАО ЕЭС — вместе с группой «правых» политиков и бизнесменов. После похорон сидели в Пулково и ждали Коха с Лисовским — те куда-то по-тихому свинтили прямо от могилы.

Ждали долго.

Наконец гуляки объявились у самолета — как говорится, теплые и в отличном настроении. Разницу в настроениях заметили все, но промолчали.

Вопрос задал сам Кох:

— А что вы такие грустные?

Дело было в т. наз. «доме приемов ЛогоВАЗа», в гнезде Березовского.

Лысоватый бонапарт и группа его вороватых маршалов стояли над картой будущего сражения — схемой отъема некой крупной собственности. Изучали направления ударов, делали последнюю проверку своему плану: тут входим, тут выводим, тут банкротим...

И вот некто, в ком, по Бабелю, еще квартировала совесть, вдруг заметил, указав пальцем в какой-то узел на схеме: мол, с этим парнем выходит нехорошо. Вот тут мы его берем, а тут кидаем...

По свидетельству очевидца, от внезапного перевода сюжета в этическую плоскость с Березовским случилась истерика; от стресса бонапарта «девяностых» заклинило на слове «нехорошо».

— Что значит нехорошо! — кричал он. — Где нехорошо? Что нехорошо? Тут входим? Входим! Тут выводим? Выводим! Что нехорошо? Где нехорошо? Вот что значит: нехорошо? А?

Минуты две, говорят, кричал.

Потом успокоился, и все снова стало хорошо.

Поцелуй напоследок

Любой телефонный разговор Березовский заканчивал словом «целую». На автомате, вместо «до свидания».

Автоматизм — вещь непреодолимая, и однажды, насмерть с кем-то разругавшись, Борис Абрамович, крикнул в трубку перед тем, как ее бросить:

— Пошел на хуй! Целую.

9 мая 1998 года в Курске ждали президента Ельцина. Самолет подрулил к ковровой дорожке, почетный караул застыл у трапа...

Ельцина все не было и не было.

Наконец дверь открылась, и на трапе появился Березовский. Поддуваемый ветром, он стремительно сбежал на курскую землю и чертом прошелся вдоль офигевшего караула, как бы принимая парад. Засунув по привычке одну руку в карман!

Статус исполнительного секретаря СНГ не сильно смягчил визуальный эффект этой картины.

...иногда о том, чтобы Ельцина не обнаружилось на трапе, можно было только мечтать.

Говорят, в одном славном российском городе, сойдя навстречу хлеб-соли и руководителям области, он первым делом завернул за трап и, расстегнувшись, неторопливо поссал на колесо. И только после этого приступил к руководству на местах.

Тусовка — опасная вещь! Вот машет тебе рукой человек, лицо которого ты знаешь не первое десятилетие, — но кто это? как зовут?..

Однажды вхожу в московский клуб «Маяк» — и вижу за соседним столиком замечательного артиста Максима Суханова (ну, Суханова-то ни с кем не перепутаешь). Он приглашает подсесть, и я приземляюсь за его столик.

А рядом с Максом сидит симпатичная молодая женщина. Где-то я ее раньше видел, — но кого я тут раньше не видел, в «Маяке»?

Знакомимся:

— Лена.

— Виктор.

— Я знаю, — как-то загадочно говорит она. Но я загадочности тона не оценил: еще бы ей меня не знать, всенародную телезвезду!

— Очень приятно, — говорю.

Уходя за свой столик, приглашаю девушку прийти на мой концерт. Гляжу: как-то она странно на меня смотрит. Напряженно-испытующе. Как бы пытаюсь понять: что я имею в виду? А что я имею в виду? Ну распуścić павлиний хвост, разумеется! — не более того.

А она смотрит и смотрит.

Черт возьми, что я не так сказал?

Тут мой взгляд падает на обручальное кольцо у нее на пальце.

— С мужем приходите, разумеется! — говорю.

Мне казалось, что широта этого жеста должна снять напряжение, но напряжение только усилилось, и обескураженный, с разломанными мозгами, я побрел прочь. В этой коллизии был какой-то тайный узелок...

При следующей встрече с Сухановым я первым делом спросил:

— Макс! А кто была эта девушка?

И Максим ответил не без ехидства:

— Лена Березовская.

Только тут до меня дошла вся глубина моей последней реплики: «с мужем приходите»...

Дело было в девяносто девятом году; всеильный муж Лены, Борис Абрамович, «мочил» НТВ, где я работал, со всех стволов, и НТВ отвечало ему взаимностью.

Как говорилось в классическом кино: «А кто у нас муж?»

Дворянское гнездо

Флотский офицер В. подстерег меня за кулисами после концерта и попросил о протекции: он обнаружил в себе призвание фотографа и хочет посвятить этому остаток жизни.

Офицер мечтал о выставке в Москве — и с готовностью выложил передо мною образцы своего творчества. Это были нащелканные на «кодаке» фотки с изображением девиц в довольно нестройных позах. Демонстрация сопровождалась офицерскими комментариями, больше напоминавшими солдатские.

Офицер был сумасшедший, о чем я мог бы догадаться с самого начала.

Я сказал: большое спасибо — и вернул фотографии, и только тут увидел главное: альбомом для этой любительского порно служило детское издание Жития Христова!

Писатель со вкусом этой деталью бы и ограничился, но жизнь не знает ни вкуса, ни меры. На прощанье офицер дал мне свою визитную карточку, на которой значилось: член Дворянского собрания города NN.

А теперь — дискотека!

Посреди строительства капитализма на московской гостинице «Молодежная» сияла реклама дискотеки «Молодая гвардия».

Как должны звать диджея? Олег Кошевой?

Приложение к договору

Один монументалист подрядился сваять посреди уездного города N. «Родину-мать» — и уже в процессе ваяния пришел к выводу, что продешевил с гонораром. Договор с администрацией, однако ж, был давно подписан...

Поезд ушел? Как бы ни так!

Скульптор предложил администрации подписать приложение к договору, предусматривавшее прибавку в 20 % — за *портретное сходство*.

Что и было сделано.

Дело было в Хорватии, в конце лета.

Разморенный Адриатикой, я лежал у себя в номере и лениво щелкал пультом в поисках футбола. Футбола не было, и почти ничего не было в том телевизоре, кроме какого-то хорватского канала. И вот вижу я в тамошних новостях странную картину: какая-то явно отечественная толпа (наши лица и одежки узнаешь сразу) ломится в какие-то двери, а на дверях висят странные цифры: «12–40» и «14–10»...

Что такое, думаю? Что за «12–40, 14–10»? Расписание поездов? Опять проблемы на железной дороге? Но почему такой ажиотаж — до первого сентября, вроде, еще две недели...

Ладно, думаю. Вернусь, узнаю.

Вернулся — узнал: это был дефолт! А «12–40» и «14–10» — курс доллара.

Фантазия слабовата — никак не угонится за реальностью...

Доллар летал уже между двадцатью и тридцатью, наличности в стране не было, наверху искали крайних...

Костистый мужчина, подвозивший меня на своих «Жигулях», крыл последними матюгами все ветви власти. Я молчал, наслаждаясь развернутыми оценками персоналий.

Завершив обсуждение вопроса «кто виноват?», перешли на «что делать?».

Он так и спросил.

Сначала я подумал, что вопрос носит риторический характер, но водитель ждал ответа. А Чернышевский из меня никакой: понятия не имею, что делать! Помучившись, я ответил что-то нехитрое в том смысле, что кризис кризисом, а мы должны делать свое дело, каждый свое, а там уж как получится.

Как говорится, по специальности.

— А что, — сказал водитель, — я могу по специальности...

И как-то нехорошо задумался. Надолго.

— А вы кто по специальности? — спросил я.

И мужчина ответил:

— Артиллерист.

Сфера обслуживания

Выступал я как-то в казино (случалось в жизни и не такое).

Неподалеку от эстрады имелся ресторан с баром, а вокруг бара — большой ассортимент девушек для тех, кто в эту ночь не был обделен удачей. И разговорился я с одной клеопатрой, 300 долларов за сеанс...

Поговорить с собой клеопатра позволила бесплатно — она меня, вы будете смеяться, узнала и решила поделиться своей мечтой.

Хочу, сказала клеопатра, стать депутатом. В крайнем случае — помощником депутата. Я поинтересовался: зачем? Клеопатра ответила сходу, ибо ответ на этот вопрос, по всей видимости, сформулировала давно... Вот этот текст, дословно.

— Ни хера не делать, ездить на машине с шофером, и только бла-бла-бла, бла-бла-бла...

Немного подумав, я заверил клеопатру, что она на правильном пути. Я только забыл ее предупредить, что в депутатах ей будет труднее, чем сейчас, потому что обслуживать клиента придется на глазах у общественности.

Впрочем, и расценки повыше.

Приход ответственных сил

Осень 1999 года, лечу на концерт в Петербург. А в бизнес-классе тусуется большая компания государственных мужей во главе с вице-спикером Чилингаровым. Лету до Питера час, но коньяк в «бизнесе» наливают бесплатно, и к посадке в Пулково государственные мужи смотрятся уже довольно неофициально.

Через несколько часов я встречаю всю эту гоп-компанию в ресторане «Астория», куда меня привозят на ужин щедрые организаторы концерта.

В точности по Довлатову, меню в ресторанах я читаю справа налево (начиная с цены). А цены в «Астории» такие, что, даже ужиная за счет организаторов, я время от времени вздрагиваю от сметы.

А рядом, как ни в чем не бывало, гуляют государственные мужи во главе с вице-спикером Чилингаровым. Льются марочные коньяки; пиджаки от Версаче сняты, у рубашек от Армани закатаны рукава. После показа коллекции нижнего белья (не самого по себе, а на девушках) часть этих девушек, не вполне одевшись, переселяется за столики к депутатам...

К началу второго ночи, когда я отправляюсь в гостиницу, жизнь по соседству только выходит на расчетный уровень.

Спустя часов семь, продрав глаза в номере, я плещу в лицо воды — и чтобы, не дай бог, не пропустить какую-нибудь новость, включаю телек. И дощелкиваюсь пультом до петербургского канала, а там...

Там (в прямом эфире) идет учредительный съезд движения «Отечество — Вся Россия». Таврический дворец. В трибуне стоит губернатор Яковлев, а в президиуме сидит вице-спикер Чилингаров и пьет воду. И вокруг него сидят люди из вчерашней «Астории», все с серыми лицами — и тоже пьют воду.

И губернатор Яковлев говорит (дословно): настало время, когда в российскую политику должны прийти ответственные силы!

А ответственные силы, сидя в президиуме, даже головой не могут кивнуть на эти судьбоносные слова, а только пьют воду. Лица у всех тяжелые, мрачные. Ясно, что всю ночь накануне съезда эти люди не спали, думали о России...

Боль за Россию и крутое похмелье дают на лице примерно одно и то же выражение невыразимой словами тоски — вот ведь что интересно!

Миновав официальную часть, корпоративные гуляния по случаю юбилея большого металлургического комбината ближе к ночи переместились, по традиции, в сауну.

Там, в бассейне, девушка (из числа привезенных на десерт) предложила плававшему поблизости от нее руководящему металлургу:

— Давайте прямо тут.

Руководящий металлург обиделся не на шутку:

— Что я тебе, осетр?

Кто звонит в колокол...

Осенний день год кормит, и всяческие юбилеи для нас, свободных художников, — хороший случай подмолотить денюжат. Мой друг Вадим Жук подписался на шабашку по случаю 850-летия Москвы. Речь шла о сценарии какого-то массового действия чуть ли не на Красной площади.

Ставил действие известный американский режиссер Андрей Михалков-Кончаловский.

Дурное дело нехитрое; сквозной сюжет славали на скорую руку. Все действие ряженные россияне строили колокол, а в конце, по отчаянной мысли Вадима Жука, кто-то должен был в него ударить.

Типа метафора.

Вадик, чистая душа, предложил, чтобы в колокол ударил маленький мальчик. Типа метафора, опять-таки. Типа будущее страны... типа завтрашний день...

— Какой, блядь, мальчик! — вскричал американский режиссер Михалков-Кончаловский. — У нас в первом ряду — будущий президент России!

И в колокол ударил Юрий Лужков.

Чем бы дитя ни тешилось...

Как брат брата...

За правильное распределение ролей (см. выше) и по случаю юбилея Москвы американский режиссер Андрей Михалков-Кончаловский был представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

А его брат, российский кинорежиссер Никита Михалков, незадолго перед этим, в связи с собственным юбилеем, получил то же самое 3-й степени.

Весть о том, что брат может обойти его в орденой номинации, проняла патриотическое сердце Никиты Сергеевича до самых глубин, и он пришел на комиссию по государственным наградам, и выразил недоумение происходящим.

Никита Сергеевич поставил вопрос в политической плоскости: правильно ли с государственной точки зрения, что российский режиссер заслуживает от Отечества что-то третьей степени, а его брат, американский режиссер, — второй?

И заслуги Андрея Сергеевича понизили до четвертой степени.

Как я был осетром

Однажды за мое здоровье пил Лужков. Ей-богу, не вру!

Дело было весной 1999-го. Путина еще не знал никто, кроме жены и детей, Лужков ходил в будущих президентах России, и вся московская мэрия поголовно носила кепки.

У них даже песня была про кепочку. Они пели ее хором. Это было нечто вроде гимна, «Мурки», по которой в этой «малине» опознавали своих. Я слышал ее своими ушами при следующих поучительных обстоятельствах.

Меня пригласили выступить на вечеринке, посвященной дню рождения какого-то префекта. Вечеринка ожидалась в элитном ресторане в центре Москвы, куда я и был заблаговременно приглашен на переговоры. О предмете переговоров мне было сказано уклончиво, но твердо: надо.

Два шкафоподобных охранника у металлоискателя, интеллигентным образом меня просветив, куда-то позвонили. Пришел человек — крупный, но уже не чересчур, и повел меня в приемную, где с поклоном передал следующему — поважнее, но роста уже вполне обычного. С тревогой я отметил про себя, что иерархический рост сопровождается уменьшением габаритов...

Через полминуты меня ввели в огромный зал. Это был кабинет.

Денег у хозяина кабинета скопилось, со всей очевидностью, гораздо больше, чем можно потратить, находясь в здравом уме. Одних телевизоров было штук пять. Какие-то напольные вазы, марочные коньяки в бутылках-бочках, холодное оружие с инкрустацией... На стене висел ковер с видом Москвы в масштабе один к одному.

Навстречу мне, поднявшись из-за стола, шел хозяин кабинета, восточного вида господин. Надо ли говорить, что росту он был меньше всех предыдущих?

Предмет переговоров выяснился очень скоро: на дне рождения префекта, где мне предстоит выступать, будет присутствовать лично Юрий Михайлович.

Мы были в кабинете одни, но мой собеседник так и сказал: Юрий Михайлович. И даже несколько поклонился, не вставая с кресла. Кажется, это был рефлекс.

— Замечательно, — сказал я.

— У вас будет пленка, — напомнил хозяин заведения.

— Да, — подтвердил я.

Речь шла о ролике из программы «Итого», с которым, собственно, меня и приглашали выступить для увеселения почтенной публики.

— Там будет Лужков? — имея в виду пленку, спросил хозяин кабинета.

— Будет, — подтвердил я.

— Не надо, — сказал хозяин кабинета.

— Почему? — поинтересовался я.

— А не надо, — ответил хозяин кабинета.

Я сказал, что тогда не надо и остального.

— Почему?

Я, как мог, объяснил. Нельзя же при Лужкове шутить над всеми остальными, а над ним не шутить!

— Можно, — заверил меня хозяин кабинета.

— Это нехорошо, — предположил я.

— Хорошо, хорошо! — успокоил хозяин кабинета и улыбнулся, блеснув нездешней керамикой.

Где-то посреди этого диалога дверь открылась, и в зал-кабинет вошел совсем уже короткий юноша с глазами оловянного цвета и аналогичного содержания. Он пару секунд оценивал меня как новый предмет интерьера, отвернулся и что-то сказал на горском диалекте. Хозяин кабинета что-то ответил, подошел к столу, вынул из ящика пачку долларов США и отдал их юноше.

Деньги в этом кабинете выдавали на вес. Я успел подумать, что запросил за корпоратив маловато. Юноша взял доллары и, не сказав больше ни слова ни на каком языке, ушел.

— Племянник, — пояснил хозяин кабинета, и мы вернулись к худсовету.

Изымать Лужкова из видеопрограммы я отказался, и мой визави, цокнув языком, сказал:

— Э, тогда я ничего не знаю.

На том и порешили.

В назначенный день я снова пришел в этот ресторан.

На дне рождения префекта гуляла московская номенклатура. На столах стоял годовой бюджет небольшого российского города: заливное, икра мисками... Увидев осетра с лимоном во рту, я почувствовал себя персонажем фильма из жизни купечества.

Настал мой час, и я вышел из подсобки на небольшую сцену перед экраном и увидел Лужкова — вместе с приближенной челядью он сидел на возвышении прямо по центру; цезарь городского значения с перспективами царя горы.

И я заговорил...

Внесем ясность: повышенные гонорары на такого рода мероприятиях платятся за унижение. Ты говоришь, поёшь или танцуешь, а они едят, разговаривают... мимо ходят официанты... Выступающий на корпоративном мероприятии сам, в некотором смысле, является осетром с лимоном во рту — в зависимости от популярности, осетром более или менее крупным.

В девяносто девятом я был крупным осетром.

Понимая правила игры и не сильно рассчитывая на успех, я что-то такое прочел, поздравил имениника — и напоследок объявил фрагмент из программы «Итого». Погас свет, и пошла пленка.

Появление на экране Ельцина было встречено взрывом дружного хохота, и некоторое время реакция шла по нарастающей. Зюганов — обвал смеха! Анпилов — бру-га-га, Жириновский, Немцов — стон удовольствия!

Вслед за Немцовым на экране появился Юрий Михайлович Лужков. Он, как ребенок, вертелся туда-сюда на руководящем кресле. Руки были кокетливо сложены на животе, круглое лицо лучилось неподдельным счастьем. Клянусь, это был самый смешной момент пленки, но хохот отрезало, как ножом. Было такое ощущение, что в зале вырубili звук.

Когда зажегся свет, чиновники московского правительства сосредоточенно копались у себя в тарелках. Было совершенно понятно, что на экран они не смотрели и Лужкова там не видели. Меня, стоявшего в двух метрах поодаль, не замечал никто.

Меня просто не было.

У Станиславского это называется — «малый круг внимания».

Неэкранный Юрий Михайлович сидел на возвышении и соображал. Секунд через десять, наконец, сообразил — встал, постучал вилок по бокалу и произнес цветистый тост в мою честь. Мол, сатира! Демократия, мол... Давайте поднимем бокалы за нашего гостя...

В ту же секунду меня заметили все.

— Виктор! Что же вы стоите!

И меня покормили.

Прикладная пушкинистика

Говоря о рачительном ведении городского хозяйства, Лужков начал цитировать «Скупого рыцаря». Человек без комплексов, он цитировал его — своими словами. В частности, упомянул Юрий Михайлович «*седьмой* сундук, сундук еще неполный»!

У пушкинского Рыцаря сундуков было — шесть. Зуб даю. А у московского мэра, стало быть, где-то имелся седьмой...

Лучшие люди города

В день семидесятилетия Григория Горина в театре Эстрады шел вечер, посвященный его памяти.

Выйдя на сцену, я вспомнил блистательную шутку из захаровского «Дракона»: «Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города». Зал грохнул смехом...

Смысловый объем этого смеха я оценил не сразу: в партере сидел мэр Москвы Юрий Лужков.

Выборы-99

Политическая реклама движения «Отечество — Вся Россия». Имперский кабинет, гардины с кистями, двухтумбовый стол красного дерева... За столом сидит Евгений Максимович Примаков.

И говорит:

— Народ в нищете...

Места знать надо

Во время своей предвыборной телепроповеди (16 декабря 1999 года) на словах «прикрывать срамные места» Никита Сергеевич Михалков прикрыл ладонью сердце. Чистый Фрейд.

Конец цинизма

В послевыборную ночь в компанию, где уже сидел я, зашел ведущий ОРТ Павел Шеремет.

А ОРТ (ныне — Первый канал) в те месяцы сильно отличилось по части «черного пиара»; ко дню выборов на нас, «энтэвешниках», живого места не осталось. Павел в меру таланта во всем этом участвовал...

И вот он подсаживается ко мне, кладет руку на мой локоть и дружелюбно говорит: «Как хорошо, что закончился этот цинизм!».

Шеремет — человек незлобный. Поэтому цинизмом и прочей подлостью его в те годы заправляли, как машину бензином. Снаружи. Аналогичные дырочки для заправки цинизмом впоследствии обнаружились у многих хороших людей.

Встречаю как-то в театре Сатиры добрейшего Михаила Державина, и он вдруг сообщает:

— Знаешь, а я ведь вступил в «Единую Россию».

— Как же это вы, — говорю, — Михал Михалыч, не убереглись?

— Да вот, позвонили, сказали: давай вступай, — ответил Державин. — А я всегда вступаю в партию. Такая судьба. Я и в КПСС вступил. Вызывает меня Плучек и говорит: Миша, надо вступать. Я говорю: почему я? Почему не Шура Ширвиндт, не Андрей? Плучек говорит: так они евреи, а пришла разнарядка на русского. Я говорю: тогда Папанов. Плучек замахал руками: предлагал, говорит! Папанов сказал: мне в партию нельзя, я напьюсь и потеряю партбилет!

Жалко Державина. Хороший человек, но непьющий.

Тост

На закрытии телевизионного фестиваля в Барнауле глава пресс-службы губернатора Алтайского края произнес тост, в котором, в долгожданной гармонии, слиплись форма и содержание. Он сказал:

— Давайте выпьем за самих себя, за нас, которые мы есть!

На главной нижегородской елке в тамошнем кремле к детишкам вышел губернатор Складов — и по случаю Года Кролика решил помочь детям сориентироваться в происходящем.

— Кролики, — сказал он, — это такие зайцы, у которых много детей, и они это часто. Но этому не надо мешать — это надо возглавить!

Русская Швейцария...

Зима 2000 года, горные районы Чечни. Командующий федеральными войсками генерал Казанцев собрал в штабе журналистов, закатил пир горой и в застолье добродушно шутит:

— С вас всех, — говорит, — надо снять по паре дней отпуска. Смотрите, куда я вас привел! Красота! Горы, сосны, воздух... Швейцария!

На что тихий энтэвешный телеоператор печально заметил:

— Лишь бы швейцарцы не вернулись.

Мэр Иорданский

В январские дни 2013 года мэр подмосковных Химок, поздравляя земляков с Крещением, назвал это «выдающимся событием российской истории».

Мысль, что Христос на самом деле местный, давно зрела в наших палестинах... Не еврей же!

Креста нет

Мне рассказывали это в северной русской провинции.

Тамошний митрополит в порядке борьбы с местным язычеством «вышел» на губернатора с инновационным предложением — покрестить Деда Мороза!

Видимо, религиозная принадлежность Деда Мороза входила в компетенцию главы региона, потому что митрополит и губернатор встречались и обсуждали этот вопрос в присутствии доверенных чиновников администрации.

А в периоды, свободные от крещения Деда Мороза, вышеописанный губернатор ведет размеренную жизнь областного руководителя.

Однажды он прислал к молодой журналистке, работнице местного радио, посыльного чиновника — с обыденным, по губернаторским обычаям, предложением совместно отдохнуть в сауне...

В этом очерке российских нравов не было бы ничего выдающегося, если бы не должность чиновника, принесшего журналистке приглашение в сауну.

Это был заместитель губернатора — *по связям с прессой!*

В разгар мероприятий по случаю тысячелетия Казани, когда все начальство стояло посреди тамошнего Кремля и говорило речи, — позади толпы вдруг возник и неторопливо проехал «мерс» с мигалкой и затененными стеклами.

— Кто это, Камиль? — вполголоса спросил губернатор Шаймиев стоявшего рядом мэра Казани.

— Не знаю. Может быть, мы? — предположил мэр.

Бывший министр сельского хозяйства Российской Федерации г-н Гордеев — могучего ума человек и не в силах это скрыть.

«Молодой человек приезжает на село и начинает там *материализовываться* ...»

Или: «Беспорядки во Франции устроили люди нетрадиционной национальности».

То есть, в случае чего, можно его и в МИД.

Будет не хуже, чем с сельским хозяйством...

Неуважение

В Московской мэрии выдавали реестры на земельные наделы под строительство.
Объявили:
— Театральный центр Мейерхольда!
Получать документы вышел человек с другой фамилией.
— Мог бы и сам прийти, — хмуро заметил вице-мэр Шанцев.

Признание

Придя на открытие нового питерского телеканала, представитель президента на Неве и будущий губернатор города г-жа Матвиенко рассказала общественности правду о своих вкусах:

— Хочется уже человечинки!

В нужное время, в нужном месте

Г-жа Матвиенко не всегда была известна россиянам.

Начало этой славной карьеры берет мутноватый исток в райкоме комсомола; потом телекамера зафиксировала молодую Валентину в коммунистической массовке первого съезда народных депутатов. Потом Родина нашла ей теплое местечко посла в Греции...

И вот, вернувшись из Греции на номенклатурный пересменок, г-жа Матвиенко решила заглянуть в гости к товарищам по советскому партхозактиву, в Белый дом.

А по Белому дому, мрачнее тучи, шел глава правительства Виктор Степанович Черномырдин, только что вернувшийся из Кремля, где получал очередную порцию «клизмы пополам со скипидаром».

Ельцин был в сильном раздражении: на него только что обрушилась очередная делегация с проклято-любимого Запада — и выела мозг! И то им не так, и это не эдак... И впридачу ко всему в российском правительстве нет женщин.

И Ельцин велел, чтобы были женщины!

Черномырдин, которому только гендерного вопроса не хватало для разрыва башки, шел набычившись по Белому дому — и вдруг увидел г-жу Матвиенко, выходящую из очередного кабинета...

— Валька! — гаркнул на весь Белый дом спасенный Виктор Степанович. — Валька, блять, ты-то мне и нужна!

И, на радость Европе, Матвиенко стала членом российского правительства.

Концерт в далеком северном крае мне предложил тамошний министр по внешним связям, обнаруживший меня за соседним столиком в московском клубе.

Хорошо зная номенклатурные повадки, я уточнил: не случится ли в это время каких-нибудь выборов? А то, бывало, заходит в гримерную какой-нибудь упырь с фотографом, жмет тебе руку, щелк — и готово дело: Шендерович приехал поддержать упыря и желает ему победы на выборах!

Ни-ни, сказал Сережа (министра звали Сережа). То есть выборы будут, но это — никакого отношения... Отлично, сказал я. Значит, ни с кем из начальства не встречаюсь, в афише — никаких «при поддержке администрации...».

Ни-ни, сказал Сережа. Просто концерт. Для людей!

И я полетел к людям.

И вот за несколько часов до встречи с людьми на рубеже вечной мерзлоты Сережа «обедает» меня в хорошем ресторане. Где-то в районе антрекота, коротко поговорив по мобильному, он поднимает на меня честные глаза и говорит:

— Это губернатор звонил, он тут неподалеку, хочет зайти...

— Не надо, — сказал я.

— Просто поприветствовать, познакомиться...

— Мы договаривались, — напомнил я.

Министр Сережа крякнул с досады.

Когда мы выходили из-за стола, он вернулся к теме:

— Может, заедем к нему? На секундочку. Он нормальный мужик...

Но я занял глухую оборону.

Отстреливаться я продолжал до самого концерта. А после концерта Сережа сказал:

— Ну что, может, в саунку? Там и поужинаем.

Саунка находилась на огороженной территории с охраной, что должно было включить в моем мозгу красную лампочку, но, расслабленный успешной работой, сигнал я пропустил.

В теплом подвальном помещении был накрыт фуршет. Рядом, действительно, уже вовсю грелась сауна, в углу работал телевизор, а некто пожилой и мелкий, в войлочной шляпе, суетился по температурному вопросу.

— Семен Иванович, — спрашивал он, — парку подбавить?

Семен Иванович, грузный мужик, замотанный в простыню, гонял шары по зеленому сукну. А может, не Семен Иванович он был. Может, Иван Семеныч... Неважно.

— Привет! — сказал Сережа. — Вот и мы.

Мы разделись; я тоже замотался в простыню и, по Веничкиному совету немедленно выпив, приступил к процедурам. Ну расслабленный я был! Даже не поинтересовался, с какого бодуна здесь этот Семен Иванович с обслугой. А после ста граммов коньячка напряжение отпустило окончательно...

Мы по очереди паримся, я играю с грузным дядькой в пул, обыгрываю его по пьяной лавочке, настроение по совокупности обстоятельств — чудесное. Мелкий с вениками суется насчет парку, Сережа благостно потягивает в углу коньячок.

А телевизор в углу разговаривает ночными новостями. И красавица ведущая (единственная одетая в этой сауне) доходит до ежедневных наших чеченских радостей: грузовик подорвался на фугасе, трое погибших...

— Этих черножопых, — говорит тут мой партнер по бильярду, — мочить надо всех!

Они, — говорит, — вообще не люди!

Он, собственно, ни к кому в отдельности не обращался, но я почему-то решил откликнуться.

— Голову себе намочи, — говорю. — Раздухарился!

Грузный не обиделся, а с пол-оборота вступил в полемику:

— Давить! Давить вместе с детьми! Это звери настоящие!

Я из диалога не ушел.

— Фашист, — говорю, — на себя посмотри!

Беседовали мы эдаким образом минут пять. Игра, разумеется, прекратилась — помню, я даже отложил кий, чтобы не отоварить грузного хама по выпирающему тестом животу. Очень спьяну хотелось.

Потом я увидел знатока пара — побелевшего лицом и осевшего на лавочку; потом увидел министра Сережу: он сидел, обхватив голову руками, и мерно мотал ею из стороны в сторону, по всей видимости, пытаясь ее отвернуть. Ровно в эту секунду я наконец понял, что играю в бильярд, пью коньяк и беседую по чеченскому вопросу — с губернатором края.

И ведь главное: я же много раз видел его раньше! Но не в простыне, а в Совете Федерации. И про черножопых он ничего там, в телевизоре, не говорил, а все больше про нравственность.

Вечеринка свернулась сама собой. Я уже одевался, а министр внешних связей Сережа все сидел, обхватив руками свою мелкоруководящую голову. Еще древние говорили: «Когда господь хочет наказать человека, он исполняет его желания...»

А тот суетливый, с веничками — это у них был министр культуры.

Почему на Западе плохо

Мой друг Сергей Пархоменко сидел в ресторане и слушал разговор за соседним столиком. Он пришел в ресторан совершенно не за этим, но говорившие не стеснялись себя уровнем звука, и слушать их были вынуждены все.

— Нет там, на Западе, ничего хорошего! — горячо гундел некто басовитый.

Тезис был не нов, поразила Пархоменко мотивировочная часть.

— Охоты хорошей нет, — загибая жирные пальцы, говорил человек, — рыбалки нет, бабы минет берут неглубоко...

Голос показался журналисту знакомым, и он украдкой глянул на его обладателя. Это был крупный (во всех отношениях) чин российской прокуратуры, известный борец за нравственность.

Вечером 21 февраля 2002 года щелкаю пультом на первую кнопку телевизора и слышу взволнованный монолог Никиты Михалкова.

— Это не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, — говорит он. — Когда людей обыскивают, унижают их человеческое достоинство...

Я подумал: это он о Чечне, и еще успел удивиться гражданскому мужеству Никиты Сергеевича... Вот, думаю, орел. Ничего не боится!

Через пару секунд выяснилось, что Михалков говорит о мерах безопасности на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Ну слава богу...

Лед с хоккейной площадки иногда полезно класть на патристическую голову: чтобы подостыла.

— Надо было осадить чехов, а то они больно вознеслись! — заявил будущий министр спорта Вячеслав Фетисов после нашей победы в хоккейном четвертьфинале той Олимпиады.

Как мы их осадили, видел весь мир: лежали штабелями поперек ворот — внизу Хабибуллин, сверху еще пятеро... Но допустим даже, мы бы разделали соперников, как бог черепаху, — что тогда?

При чем тут «осадить чехов»? У нас что, август 68-го?

Перед полуфиналом, разумеется, про хоккей никто уже не думал, только одно было на сердце: не опозорить Русь-матушку, порвать американцев. А после проигрыша — корреспондент государственного канала подстерегает только что отбросившего коньки хоккеиста Жамнова и спрашивает у него: это национальная трагедия?

И Жамнов, ума палата, говорит: да, конечно.

И захотелось мне написать хоккеисту письмо примерно следующего содержания:

«Дорогой Алексей! Спешу сообщить вам, что, пока вы играли за команду “Вашингтон Кэпиталз”, у вас на родине случилось две чеченские войны с общим счетом убитых и искалеченных за сто тысяч человек; население одевается частично на помойках и питается там же, жилища в зимнее время отапливаются нерегулярно, а в подъездах примерно раз в неделю убивают академиков.

И то, что вы и ваши товарищи по специальности деревянными клюшками запихнули в ворота ваших заокеанских коллег-миллионеров меньше резиновых изделий, чем они вам, является вашей маленькой корпоративной неприятностью. Не убивайтесь так...»

Афины-2004

Прошло два года, и прошли они не зря. Страна сильно укрепилась головой.

После победы российских волейболисток в полуфинале волейбольного олимпийского турнира комментатор НТВ-плюс успел поблагодарить за эту победу президента России.

Лучший друг физкультурников.

Приехали.

Часы с петушком и кукушечкой

Моим соседом по дороге в Нижний Новгород оказался дедуля из Курска — лет семидесяти, в тельняшке и с таким запасом провианта, будто он намеревался ехать до Владивостока.

Мне было добросердечно предложено поесть и налито пива.

Не помню, с чего начался наш разговор, но первый же дедулин тезис поразил меня в самое сердце. В досаде поминая неурожай картофеля на своих сорока сотках, дедуля вдруг в довольно сильных выражениях помянул Соединенные Штаты Америки.

Я поинтересовался: при чем тут Америка? Оказалось: курскую дедулину картошку извел колорадский жук (на метр в землю уходит, ничего с ним сделать нельзя!), а жука того, из названия видно, наслали империалисты, чтобы наш понизить урожай.

Остаток пути я потратил на изучение этой курской аномалии.

Особых усилий не требовалось — говорил дедуля сам, ровным тихим тенорком. Вот что я узнал. Что после войны дедушку не отпустили домой, а *оставили* (как оставляют вещь) еще на шесть лет служить на флоте; что жена горбатилась в колхозе за трудовни и потом, до самой пенсии, тридцать лет, как лошадь, за копейки, а теперь сильно заболела ногами; что душат налогами — работаешь, работаешь, а ничего не остается; что зять, дочерин муж, оказался трутень — только лежит на диване и пьет; что законы у нас мягкие, а надо бы таких расстреливать и вообще, чтобы знали! Что в Америке законы гораздо строже — на Клинтона недавно покушались, и покушавшегося расстреляли (я было не поверил, но дедуля отмел все сомнения — покушались и расстреляли, он точно знает); что при Сталине было тяжело, но справедливо, потому что с народом иначе нельзя; что из Курска в Нижний он едет в гости к внучко́ и везет ему часы с петушком и кукушечкой.

Петушок этот прокукарекал еще до рассвета, в четыре часа пять минут. На пятом кукареку я проснулся окончательно и, лежа в полной темноте, прослушал их еще с десятков. Время я запомнил так хорошо потому, что бесстрастный женский голос из часов сообщал мне его после каждого петушьего крика.

Дедуля при этом продолжал безмятежно спать — прямо в тельняшке.

Утром поинтересовался: петушок был или кукушечка? Я сказал: петушок. Вот, очень довольный за меня, сказал он — и улыбнулся. Глаза у него были голубые, добрые до нежности. А еще есть кукушечка, сказал он.

За окном плыл жутковатый производственный пейзаж — какие-то трубы, ограды, коробки корпусов... Мы послушали, как кукует кукушечка. Внучко́ везу, сказал дедуля. Внучок смысленный, обрадуется.

Умывшись и попив пивка, дедуля немного подумал и сделал сообщение на межнациональную тему: чеченцы, сказал, вредный народ, еще в войну нам вредили, и не надо с ними разговаривать, а надо так: всех русских оттуда вывезти, а на остальных бросить сверху бомбу. Какую бомбу? — спросил я. Таковую, ответил дедуля и мысль свою охотно пояснил. Он когда на Дальнем Востоке служил, на японцев бросили бомбу — и все, и никаких разговоров.

— Японцы тоже вредный народ? — спросил я.

— Очень, — подтвердил дедуля и застенчиво улыбнулся.

Последняя остановка

Поезд остановился в Дзержинске, последней станции перед Нижним. Я набросил пиджак и пошел размять ноги — а заодно голову, поврежденную ночным кукованием и утренней политинформацией. Дверь вагона была закрыта, проводница в своем купе пила чай в компании со сменщицей.

— Откройте дверь, — попросил я.

— Зачем? — удивилась проводница.

— Так... — сказал я. — Подышать.

— Нашел где дышать! — сказала проводница.

Сказанное относилось к особенностям химического производства в Дзержинске, но годилось и для оценки жизни на Родине в целом.

Нашли, действительно, где дышать.

Он только что проводил в «Шереметьево» своего «хозяина» с бабой и был в отличном говорливом настроении: «хозяин», видный подмосковный чиновник, дал ему на прощанье двести евро за немоту. (Баба, с которой он улетал, была отнюдь не женой.)

Шоферил мой собеседник всю свою сознательную жизнь. Были в этой жизни и золотые периоды...

— Когда немцы уезжали в начале девяностых — во время было! Они ж прилетали-то в «Домодедово», а улетали из «Шереметьево». Ну, в «Домодедово» их встречала братва — и чистили. Крепко чистили. Так мы им «трешку» объявляли до «Шарика»...

(Трешка, как я немедленно уточнил, — это три тысячи рублей.)

— Соглашались! Куда деться.

Он радостно смеялся.

Я спросил у него про сейчас (дело было в разгар кризиса). Что будет, спрашиваю, чем сердце успокоится?

— Да подвозил тут одну в шиншилле. Она говорит: через полгода их никого здесь не будет — все дочистят и сбегут.

Уже почти не сомневаясь в ответе, я спросил про рецепт спасения Родины.

— Сталин нужен. Сам не помню, но отец говорил: к праздникам все дешевето...

— А сами откуда, если не секрет?

— Так краснодарские мы. Дед — деникинский есаул был. У бабки шашка была, она еще прятала ее, там так и написано было: «от главнокомандующего Южным фронтом генерала Деникина»...

— И что дед?

Водила посмотрел на меня, как на иностранца.

— Расстреляли, ясное дело.

— Но Сталин — нужен? — уточнил я.

— Непременно.

Друг-журналист рассказывал поразительное.

Какое-то время своей жизни он был вхож в Кремль — и в буквальном смысле тоже.

И успел изучить устройство Спасских ворот.

Чтобы враги не прорвались в сердце земли русской, ворота эти оборудованы огромным количеством новейших приамбасов: тут и хитрые замки, и камеры наблюдения, и какая-то сетка-ловушка... Все по последнему слову инженерной мысли!

А рядом, на всякий случай, со времен царя Ивана Васильевича лежит здоровенный деревянный клин. Чтобы без лишнего хайтека засандалить его под ворота — и шабаш!

В этом комплекте — вся наша внешняя политика.

Место для метеорита

Человек за рулем «Нивы» полчаса катил бочку на Америку и американцев. Ничего нового, готовый суп из старого пакетика: они бездуховные, жадные и наглые, а мы бедные, милые и душевные.

В конце получаса я поинтересовался, бывал ли он в Америке.

— А чо я там забыл? — ответил человек.

Потом, помолчав, поинтересовался:

— А вы были?

— Случалось.

— И что там: лучше? — ребром поставил вопрос хозяин «Нивы».

Я признался: лучше не лучше, но дороги ровные и полицейские взятки не берут.

Человек замолчал. Видно было, что зреет в нем какой-то асимметричный ответ, как у Горбачева — Рейгану. Я попытался предугадать поворот диалога, но жизнь в очередной раз показала мне, кто здесь настоящий драматург.

— А вот упадет на них метеорит, — угрюмо сказал человек, — и где твоя Америка?

Всюду заговор

Единый Государственный Экзамен придумали в ЦРУ, доверительно сообщила на родительском собрании завуч московской гимназии.

...Утренняя «летучка» в Лэнгли; люди с незапоминающимся лицами негромкими голосами обсуждают содержание вопросов по химии и литературе для средних школ Российской Федерации...

Незачем

В одной московской школе некоторое время (правда, не очень долго) работал учитель французского языка, который запрещал детям грассировать, а на вопрос «почему» отвечал:
— Это никому не нужно!

Депутат Государственной думы N. прилетел в Якутск.

Ну, Якутск как Якутск: из вертикали — только федеральная, больше под прямым углом ничего не растет: перекошенные фонарные столбы, кривые заборы... канализация с советских времен сбрасывается прямоком в Лену... в иных домах по случаю оттепели вода стоит по щиколотку...

И вот, посреди этого пейзажа, депутат встречается с местным партактивом. И спрашивает у них: о чем думу думаете? в чем главная проблема? о чем попросить в Москве?

И встает местный государственныйник, и говорит: есть серьезная проблема. В области — двадцать шесть аэропортов, но ни на один из них не может сесть истребитель пятого поколения!

Уточнить у руководящего аборигена, для какой надобности истребителю пятого поколения садиться в Якутске, московский депутат постеснялся.

Особое обаяние истории придает тот факт, что и самого истребителя этого в природе к тому времени не было...

Татары, климат и Мадлен Олбрайт

На встрече с избирателями (во время моего похода в Госдуму осенью 2005-го [\[5\]](#)) в диалог со мной вошла тетушка средних лет.

Вот вы говорите: демократия, сказала она, — так ведь татаро-монголы! Какая же демократия?

Когда татаро-монголы? — уточнил я на всякий случай (вдруг опять кто-то прискакал, а я не в курсе). Когда монголы-то? Да кругом всю жизнь враги, ответила тетушка, Сталин нужен! У всех кругом враги, заверил я, зачем же еще самим себя гробить? Так Олбрайт хотела Сибирь у России отнять, ответила мне на это тетушка. Точно хотела? — не поверил я. Точно-точно, успокоила тетушка. А демократия — это вранье, вон что демократы-то делают! Да кто демократы-то, спрашиваю. А вот Путин ваш, отвечает. А Америка вообще агрессор! Погодите, говорю, при чем тут Путин, бог с ней, с Америкой; вот вам Норвегия, смотрите, как работает демократия... Так Норвегия маленькая, отвечала тетушка, а мы вон какие, у нас реки замерзают, у нас демократии не получится.

Тут, вслед за логикой этого диалога, меня начало помаленьку покидать и сознание. При чем тут реки? — кричу уже в тумане. Исландия — вообще кусок камня на краю Ледовитого океана...

А зато Запад струсил, а мы Гитлера победили, отвечала тетушка.

Любой довод отскакивал от нее под непредсказуемым углом. Диалог вяз в теткиной голове и распадался на непереваренные куски. Я бился об нее, как Чичиков о Коробочку, и сдался, и в умопомраченном состоянии покинул поле боя...

А в день выборов

...зайдя в штаб, я увидел приклепленным к стене свое обращение с просьбой прийти на выборы, со вписанным в него именем-отчеством реального избирателя из нашего округа.

Имя избирателя значения не имеет (допустим, Кузьма). Значение имеет — отчество. Избирателя звали Кузьма Истуканович Иванов.

Отец у него, стало быть — Истукан Иванов, и это не русофобия, а база данных...

В фонвизинском «Недоросле» тупицу зовут — Скотинин.

Сегодня постесняешься именовать отрицательного персонажа эдаким образом, поищешь словечко потоньше... Но старуха-жизнь не знает эстетических категорий — бьет прямо в лоб!

...В русском городе с безнадежным именем Среднеуральск взяли с поличным наркоторговку по фамилии Злодеева. Потом на притоне свинтили Злодеева-брата, а вслед за тем, за сбыт и хранение наркотиков в особо крупных размерах, взяли и юного Злодеева-сына.

А потом их всех отпустили с миром, потому что оказалось: все эти Злодеевы — дети и внуки главного Злодеева, мэра Среднеуральска.

Россия, начало XXI века. Какой там Фонвизин!

«Еще парочку...»

В Москве, в налоговой инспекции, начальником Отдела регистрации и учета налогоплательщиков работал человек по фамилии — Цап. Начальника же Главного управления кадров Минобороны о ту пору звали — генерал-полковник Горемыкин.

Мне кажется, все это отчасти объясняет наши проблемы...

Приготовиться Флориде

Это был типаж советского технаря-итээра — симпатичный мужик средних лет на дешевой иномарке. Очки, правильная речь, положительный социальный заряд...

Наш разговор довольно скоро соскользнул на геополитику.

— Обложили кругом, — задумчиво сообщил технарь. — И радары эти против нас... Рвутся к ресурсам.

Я попытался уточнить, о чем речь. Оказалось: Штаты ждут момента, чтобы нанести ядерный удар, всех россиян уничтожить и взять голыми руками нашу нефть.

— Вот уже в Прибалтике НАТО... — говорил технарь. — А у меня во Пскове тетка.

Хотя никакого НАТО в Прибалтике нет, а Америке, для полного счастья, не хватает только нашего ответного ядерного удара, — родственный момент шевельнул во мне человеческие чувства.

— Тревожитесь за тетку? — спросил я.

— Да, — просто ответил он.

— Что же делать? — спросил я, уже готовый к нестандартным предложениям.

— В принципе, можно положить на грунт возле Флориды подлодку с боезапасом и рвануть вместе с командой, — складно ответил человек, не меняя рядности и скорости движения.

Судьба Флориды и команды российских моряков была решена в районе метро «Сокол», секунд за пять.

— И что? — спросил я, дурак дураком.

— Цунами будет, Флориду смоем, — просто пояснил он.

— Согласились, — говорю. — Что дальше?

— Так, — неопределенно пожал он плечами и замолк.

Дальнейшие шаги по повышению обороноспособности России еще не были просчитаны российским инженером. А может быть, идея смыть Флориду показалась ему самодостаточной.

Самое страшное в этом сюжете вот что: моим собеседником был совершенно нормальный и даже симпатичный человек! Он не вещал о конце света и числе Зверя, не рассказывал, как его облучали из угла инопланетяне...

Минут за пять до того, как утопить Майами, он по мобиле договорился с какой-то бабой Леной, что чего-то привезет ей под Тверь и поможет по хозяйству.

Страшная авиакатастрофа

...в декабре 2008 — пассажирский «боинг» рухнул рядом с жилыми домами на дальней окраине Перми.

Россиянка, разбуженная апокалиптическим взрывом, написала потом в своем ЖЖ: «в первую секунду я подумала, что это американцы ударили из установки “Град”...»

Вот спасибо тебе, программа «Время»! Умеешь сориентировать население.

В закрытом городе

...Арзамас-16 (ныне г. Саров), где на паях с американским Лос-Аламосом готовился конец света, — живут люди. Люди рожают детей, дети играют в песочницах, а зимой катаются с горок на детских площадках...

Одну тамошнюю горку я видел своими глазами.

Стоит, значит, горка, а на горке домик — в форме головки баллистической ракеты. Чтобы, значит, сызмальства сориентировать детишек...

Знание предмета

- Что вы мне говорите: Америка, Америка! — горячился в застолье немолодой мужчина. — Никакой там свободы нет! Вообще! Я там прожил десять лет!
- Где? — уточнил опешивший оппонент.
- Два года в иммиграционной тюрьме и восемь в федеральной!

Ударить сильнее

Баскетбольный матч Россия — США комментировал гражданин огромных патриотических кондиций. Когда после игрового нарушения нашей девушки американка упала на паркет, гражданин радостно вскричал:

— И сильнее, сильнее надо было ее ударить, чтобы она не так быстро поднималась!

Другой красавец комментировал боксерский бой нашего многократного чемпиона с неизвестным американцем. Издеваться над соперником комментатор начал еще за пять минут до поединка: да кто он такой, да что он делает на этой Олимпиаде, и у кого это он выигрывал, вот то ли дело наш капитан...

Потом начался бой, и американец начал нашего капитана бить.

Первое время комментатор продолжал, по инерции, издеваться над американцем. Потом начались заклинания: я не понимаю, что происходит, что же это такое, надо собраться, еще есть время, этого не может быть...

Разгром мозга

Впрочем, человека советской закалки патриотический пафос может одолеть на ровном месте, безо всякой Америки.

Как-то раз комментатор Перетурин принес народу поразительную весть о том, что московские динамовцы разгромили команду с Фарерских островов!

Со счетом один — ноль.

Русский характер итальянок

А комментатор Губерниев подвел итог игры так: «Победив в тяжелой борьбе итальянок, наши волейболистки проявили русский характер!».

Видимо, в прошлый раз (когда наши волейболистки в тяжелой борьбе уступили) русский характер сумели проявить итальянки...

Источник патриотизма

Эта запись — как есть, целиком, со всей грамматикой и синтаксисом — взята с сайта УЕФА, из комментариев к матчам Лиги Чемпионов.

Автор — Ринат Низаев.

«Дай бог нашим клубам за борьбу в лиге, а то мне надоели эти европейские рожи... наш народ русский надеется за своих, и так в такой ебаной стране живем, хоть отвлечься немного надо... так что нужны голы».

Спасибо за формулировки, Ринат! И дай вам бог отвлечься.

На любой случай

Юноша Воробьев, финалист конкурса «Евровидение-2011», выйдя в финал, в экстазе прокричал в телекамеру на весь мир:

— Это Россия, блять!

В сущности, юноша Воробьев, сам того не желая, произвел на свет универсальный эпиграф к любому тексту о Родине: «Это Россия, блять!».

А дальше — хоть «Мертвые души», хоть «Чевенгур»...

По Садовому кольцу ехал «лендровер»

Над крышей развевался российский флаг с гербом, размером с поднос. Пассажир лузгал семечки и выпускал шелуху на ветер в приоткрытое окно. Сзади ехала черная машина сопровождения, габаритами напоминавшая боевую машину пехоты.

На светофоре человек вышел из «лендровера», отсыпал из кулька семечек и отнес в машину сопровождения. Вернулся в лендровер с триколором — и они поехали дальше.

Другие берега

Девушка в троллейбусе делилась с подругой впечатлениями от каникул.

— Когда я была на Красном море, я ночами гуляла по берегу совершенно одна. Как это было здорово!

— Да, красиво, наверное... — соглашалась подруга.

— А ты же вроде с Урала?

— Ну.

— Ни разу не была! Вот бы так прогуляться по берегу Урала!

— Не рекомендую.

— Почему?

— Выебут.

Уличный диалог:

— Здравствуйте! С праздником вас!

— С каким праздником?

— Ну как же: Христос Воскресе!

— А-а... Да я агностик. Так что это вас с праздником...

— Да мне вообще-то тоже похую, но сигареткой-то угостите?

Конь православный

В древнем прекрасном Коломенском в крещенские дни тринадцатого года доблестный россиянин прыгал в прорубь с воплем «Ебать Спартак!»...

Поезд Калининград — Москва. В вагон входит старшая проводница:

— Иностранцы есть?

— Нет!

— Отрубай кондиционер.

Сломался лифт.

Нажимаешь кнопку этажа — он, гад, двери закрое, постоит и снова откроет. И так пять раз. А второй лифт вызвать невозможно, потому что он думает, что он умный, и не едет туда, где уже стоит первый.

Пару дней я ходил на свой четвертый этаж пешком — слава богу, не Манхеттен. А на третий день человеческий мозг победил немецкую технику! Я чуток подумал и сообразил, что в лифте просто сломался датчик, который показывает, что в кабине кто-то есть. Вес он не чувствует!

Я вошел в лифт, нажал кнопку и попрыгал немного, и оно меня ощутило, и повезло на мой этаж!

Еще пару дней я так и жил — войду в лифт, попрыгаю, оно и едет.

И вот однажды захожу в лифт вместе с какой-то теткой, задумался о чем-то своем, уже на автомате нажал кнопку — и ну прыгать. Тетка в угол забила, глаза по пятаку, приготовилась отбиваться от сумасшедшего.

Не местная. В первый раз в нашем лифте...

В городе Кимры Тверской области есть интернат для страдающих олигофренией.

От хлебосольного государства больным на содержание выделяется, полной чашей, несколько рублей в день на человека, и давно бы умерли они на радость местного собеса, но олигофрены оказались людьми жизнелюбивыми — и завели подсобное хозяйство.

И вскоре выяснилось, что это их хозяйство — чуть ли не самое рентабельное в области: коровы, птица, грибы, ягоды... Самим хватает, да еще продают жителям окрестных деревень!

Секрет оказался довольно прост. Дело в том, что олигофрены:

а) не пьют;

б) обожают работать.

У них от труда, видите ли, улучшается самочувствие.

И милости просим — 120 % рентабельности! То есть русский олигофрен помаленьку тяготеет к голландцу.

Персонал на них не нахвалится.

— Если бы все наши люди были такие... — мечтательно сказала кастелянша...

Под Вяткой есть три реки

— Тужа́, Пержа́ и Воя.

Гастроли по областным клубам с давних времен называются у артистов Вятского драмтеатра соответственно: затужу, запержу и завоюю...

Круглая дата

Гастроли Театра Сатиры в славном сибирском городе К. были приурочены к 350-летию города. Весь городской бюджет ухнул в наглядную агитацию: над унылыми улицами полоскались транспаранты, напоминавшие о юбилее...

Стояла страшная жара. Актеры, с голодухи, без горячей воды в гостинице, обливаясь потом, играли «Женитьбу Фигаро», под Моцарта и Россини, в костюмах на вате. Отыграв, они выходили в город, где не было ничего, кроме юбилейных транспарантов.

И вот однажды в закулисной тьме актриса Зоя Зелинская, споткнувшись о непредвиденную ступеньку, с хорошего размаха ударилась головой о балку.

И этот удар неожиданным образом подытожил юбилейно-гастрольную тему:

— А-а-а! — страшным голосом закричала Зелинская. — Триста пятьдесят лет ТАКОГО ГОВНА!

Дороги в России

...не для того, чтобы ездить, а чтобы враг не прошел!

Это сформулировал великий театральный художник Эдуард Кочергин.

Плохая видимость

В телевизоре, весь во фраке, в римских Каракаллах, под флорентийский оркестр, пел, по случаю Нового года, Пласидо Доминго. Двое мятых-небритых сидели у телеэкрана — в России, на краю света, в глубокой ночи. За окном расстился пейзаж, как будто взятый целиком из фильма «Сталкер»...

— А он жив? — спросил один, кивнув на Доминго.

— Да вроде жив.

— Что-то его *не видно* ... — качнул головой первый.

Где тебе его не видно?

Мне было лет, наверное, тринадцать, а значит, на дворе стояло начало семидесятых. Мы с отцом шли по улице 10-летия Великого Октября (после того, как выяснилось, что это был переворот, улица снова стала Никольской).

И вот по этой самой Никольской, имени Великого Октября, улице шел пьяненький мужичонка с гармошкой и собачкой на веревочке. Он извлекал из гармошки нескладные звуки и подтопывал ногой, собачка подлаивала.

И отец сказал:

— Смотри. Горьковский мастеровой... Какой у него сейчас век?

И сам себе ответил:

— Какой угодно.

Да, это у нас не время такое. Это — такое место...

Несмотря на предупреждение, почти тысяча рыбаков вышли на ладожский лед. Льдина откололась, шестеро погибли, людей снимали ночью вертолетами...

Рассказ об этом спасенного — в прямом эфире на телевидении. Он полночи лежал на льдине, а рядом с ним лежал его десятилетний сын; льдина таяла, и человек ждал — погибнет он вместе с ребенком или их успеют спасти...

Успели.

В конце программы ведущий спрашивает:

— Ну что, еще пойдете на рыбалку на Ладогу?

И человек, улыбаясь, отвечает:

— Обязательно!

Трезвый взгляд на жизнь

На свадьбе вместо водки пили метиловый спирт, сворованный на производстве. К утру десять человек умерли, еще полтора десятка ослепли.

Через пару дней уцелевшие собрались на поминки.

Допили метиловый спирт, оставшийся со свадьбы, и тоже умерли.

А мы еще удивляемся, почему здесь опять голосуют за коммунистов и гэбэшников...

А вот еще одна очень страшная и очень русская история.

В конце девяностых, под Ельцом, попали в автокатастрофу артисты пятигорского «Рыжего театра». Они ехали в Москву.

В половине шестого утра на спуске Толя, сидевший за рулем, не увидел грузовика, ехавшего впереди. У грузовика были заляпаны грязью габаритные огни, в лощине стоял густой туман...

Двое ребят погибли, жена Толи много месяцев лежала в больнице... Сам он, тоже весь переломанный, сидел в местном СИЗО и давал показания. Душевные муки парня, попавшего в переплет, местные милиционеры успокаивали так:

— А-а, это в лощине, на спуске? Ну, там каждый год кто-нибудь насмерть бьется! Место такое.

О том, чтобы в этом месте — с туманом, спуском и скользкой дорогой — поставить какой-нибудь знак и пару фонарей, речи по-прежнему не шло. Как и о том, чтобы сделать что-нибудь приличное с Родиной вообще.

«Место такое».

Главная опасность

— Самое опасное — это подушка безопасности, — сообщил человек, сидевший за рулем «десятки». — Если не пристегнуться, может убить!

— А если пристегнуться? — поинтересовался я.

Водитель глянул презрительно:

— Кто ж пристегивается?

На недельку в Крым

...решили полететь моя жена и дочь.

Коктебель, понимаешь, Максимилиан Волошин...

Волошин Волошиным, а через пару дней рванули они из Коктебеля куда глаза глядят: запах, преследовавший повсюду, заставлял забыть не только о культурной программе, но и о еде.

Нехороший был запах.

Собравшись с силами, скажем прямо: пахло говном.

Жена с дочкой договорились с каким-то «леваком» — и покатали в сторону Алупки, в надежде найти все-таки запах моря... Когда выезжали из Коктебеля, моя любознательная половинка, не утерпев, спросила у водителя:

— А что, в Коктебеле проблемы с канализацией?

— У нас нет проблем с канализацией, — твердо ответил водитель. И, подумав, уточнил: — У нас нет канализации.

Теперь, когда при мне говорят о проблемах российской демократии, я знаю, что отвечать.

Эти строчки я пишу в половине седьмого утра, хотя вовсе не жаворонок.

Просто под моим окном уже полчаса работает сигнализация из старого «жигуля». Она срабатывает в разное время, но почти каждую ночь — от пробежавшей кошки, упавшего листа или землетрясения в Японии. Очень чуткая.

Одновременно со мной от этого сигнала просыпаются все жители подъезда, кроме одной счастливой бабушки, глухой на всю голову — и владельца этой машины. Впрочем, говорят, что он живет вовсе не в этом подъезде, а на другом краю дома. А машину ставит здесь, потому что там нет места. А сигнализацию включает, чтобы напугать потенциального угонщика.

Я бы очень хотел, чтобы эти «жигули» угнали, но всё никак.

Однажды глухой зимой я вышел во двор в третьем часу ночи и, наливаясь ненавистью, полчаса топтался вокруг этой железяки в ожидании хозяина, но напрасно: гудело, пока не сел аккумулятор.

Утром я позвонил в отделение милиции. Они спросили адрес и номер машины и пообещали принять меры. Теперь, слушая вой сирены под окном, я поминаю в своих молитвах и милицию тоже.

Впрочем, на милиции свет клином не сошелся — можно подать на мерзавца в суд. Хорошо, лежа в темноте с открытыми глазами, под регулярно нарастающее уи-и-И-И, представлять себе этот суд.

Мой иск с требованием компенсации.

Адвоката, описывающего мои страдания во время бессонных ночей.

Лицо ответчика, не понимающего, почему я просто не дал ему в рыло, как человек, а мучаю при посторонних, как не русский.

Лицо судьи, думающего о том же самом.

Приговор, обязующий ответчика выплатить мне штраф в размере минимальной заработной платы.

Судебного исполнителя, к которому я буду два года ходить с просьбой привести приговор в исполнение, а ночью слушать сигнализацию.

И, наконец, владельца «жигулей», которого я все-таки подстерегаю утром у этого мятого корыта — и даю ему в рыло, в рыло, в рыло!

Но!

У того конца дома действительно нету места. Там впритык, по периметру, стоят иномарки, и «жигулю» не вписаться по классовому признаку. А денег на гараж нет, и места для гаража нет.

А угнать этот «жигуль», действительно, как два пальца об асфальт.

И заявить об этом в милицию владелец техсредства, конечно, сможет, но заинтересовать ментов своей пропажей у него не будет возможности. А на страховку нет денег. А это ржавое недоразумение — его гужевой конь и единственный источник заработка... Поэтому под дальний рев собственной сигнализации хозяин «жигуля» спит как сурок.

А от тишины просыпается в холодном поту и бросается к окнам.

Но!

Я ведь тоже человек. И жена у меня человек. Поэтому, по совету друга-автолюбителя, я вышел однажды темной ночью в родимый двор, расстелил на «жигулевом» капоте газету и положил на газету кирпич. Типа намеков...

И гудеть по ночам перестало.

...По закону не получается. Только цепная реакция всеобщего дарвинизма, и все сволочи, и никто не виноват.

Подмосковный дядя на «жигуле» страшным матом нес гаишников, которых иначе как «волками» не называл.

— Двадцать пять лет кормлю этих волков!

— И что, — поинтересовался я, — за двадцать пять лет не было ни одного, который сделал бы всё по закону: квитанция, штраф?..

Дядя задумался, вспоминая, и вспомнил:

— Нет, был один... Ну козел!

Чем, собственно, полностью исчерпал зоологию наших отношений с родным государством.

А вот диалог Леша, работавшего у меня водителем в телевизионную пору моей жизни, со встречным ментом — диалог до слез российский и практически святочный.

Мент остановил Лешу ближе к Новому году и, не тратя времени на формальности, просто попросил у него денег на праздник, сто рублей.

Если бы Леша поинтересовался, с какого, собственно, богуна он должен отдавать менту сто рублей, это было бы резонно, но глубоко не по-русски... Разговор продолжился в народном ключе.

— Ты чё, командир! — сказал Леша. — Откуда у меня деньги? Нам еще за ноябрь зарплату не заплатили.

— Да ну!

— В газетах писали! — заверил Леша.

— Да? — Мент огорчился, потом вздохнул. — Вот и нам премию не выдали... Эх!

Они еще немного потоптались на морозе, поматерили начальство, поздравили друг друга с наступающим — и простились друзьями.

Однажды мой друг Шевелев, будучи пойман пьяным за рулем, получил публичную благодарность от офицера ГАИ!

Вот как это было.

Стоял вечер седьмого марта, канун Международного женского дня. Группа заранее счастливых гаишников залегла в засаду за мостом на набережной — и тормозила всех подряд. Как и положено вечером седьмого марта, все подряд были хоть немного, но под градусом, успев принять на рабочем месте за прекрасных дам.

Принял, конечно, и Шевелев.

С полным пониманием момента он вышел из машины — с обаятельной улыбкой, поднятыми руками и бумажником наизготовку. Дело уже шло, по накатанной стезе, ко взаимному согласию, когда из-за поворота, страшно визжа тормозами, вылетел и остановился на полосатую палку «жигуль».

Из «жигуля» на асфальт выпал в лоскуты пьяный человек — и из положения лежа начал поливать работников ГАИ страшным матом, накопленным за долгие годы спонсорства.

Работники ГАИ оставили свои дойные процедуры, подошли к лежащему и, встав в кружок, некоторое время с интересом слушали сообщение. Выслушав его до конца, главный мент покачал головой и сказал:

— Ну, мужик, ты оборзел.

Он обвел взглядом окрестности в поисках положительного примера и наткнулся на Шевелева.

— Вот, смотри! — сказал офицер ГАИ. — Нормальный человек! Приехал, сдался, все честно доложил... Езжай, — коротко разрешил он Шевелеву. — А тобой, — обратился офицер к лежащему, — мы сейчас будем заниматься!

И они начали заниматься.

А нетрезвый озадаченный Шевелев сел за руль и поехал домой, не отдав ни рубля и неожиданно для себя поработав положительным примером...

— Это из милиции вас беспокоят. Участковый Нестеров.

— Очень приятно.

— Нам тут бумага из префектуры пришла по вашему вопросу...

— Да-да?

— Придется вам съехать. Жилплощадь освободить в недельный срок. Это ведь улица Гастелло, 9, квартира...

— Нет. Совсем другой адрес. Даже улица другая.

— Серьезно? А куда ж это я попал?

— N-ская.

— N-ская? У вас вчера взрыв был! Тротил в подъезд занесли — и взорвали. Слышали?

— Пока нет.

— А у вас какой дом?

— Пятый.

— А-а... А взорвали в шестнадцатом. Вы, если в дверь звонить будут, не открывайте, а сразу в «02». Договорились? Ну счастливо...

Доброе утро, страна! Опять вскрыли гараж, разбили стекла и вырезали магнитолу.

В прошлый раз моя жена-автолюбитель позвала на помощь милицию.

Стражи порядка исследовали вырезанную стенку гаража, сняли показания с жены, применили дедуктивный метод и вступили в незримый бой. Через три месяца этого непрерывного боя жене позвонили и предложили забрать заявление.

Жена забирать заявление не стала, испортила стране статистику, гадюка. Ну и кому теперь лучше? Менты без премии, жена с принципами, а гараж вскрыли снова — и теми же отработанными движениями добрались до новой магнитолы.

Ну любит народ музыку, ничего не может с собой поделаться!

Пока жена сидела в милиции и пыталась вторично испортить Родине статистику, я выметал из гаража расфигаченное в крошку японское стекло и пытался отделаться от ощущения, что это уже не преступление, а нечто вроде ритуала.

Дочь-студентка, будущий антрополог, утверждает, что мы сами виноваты: не ублажили духов местности. Надо было, говорит, принести им жертву. Дочь утверждает: индейцам помогало.

Я не приносил жертву духам этой местности? Я?! Побойся бога, дочь! Я полвека напролет отрезаю от своей жизни лучшие куски и кладу их на близлежащий пенек. Я учил на смерть клятву юного пионера, я травил соляркой вшей в орденоносном Военном Округе, я был невыездным, чтобы не обидеть Родину случайным сравнением...

Я готов ублажать здешних духов, дочка!

Но надо что-то делать и с индейцами.

Человек с надписью

Самым ярким моментом отборочного матча Россия — Лихтенштейн стал выход на поле дурачка в приятной синевы шортах и футболке с надписью «За Россию всей душой».

Дурачок погулял по полю среди охреневших мастеров кожаного мяча, взаимно поприветствовал трибуны стадиона «Петровский» — и в обнимку с Романом Павлюченко неторопливо покинул лужайку.

Это был его звездный час.

Приятно, что дурачка не повалили-помяли по местному обычаю близлежащие менты, ибо дурачок несомненно числил себя патриотом России — и именно в этом качестве мечтал показаться народу!

Его мечта сбылась — и, может быть, сбылась именно для того, чтобы мы лишний раз убедились: публичное выражение любви к Родине отдает идиотизмом.

Терпение

Приметы национальной самоидентификации бывают совершенно поразительны... «Россия — щедрая душа»! Ну хорошо: допустим, что щедрость — чисто российская примета, а вокруг все жадины-говядины.

Но недавно...

Лечу в самолете Москва — Нью-Йорк. В хвосте — небольшая очередь в туалет. Я встал за громким мужчиной средних лет. Он рассказывал анекдот — думаю, было слышно пилотам...

А в туалете у другого прохода очередь вдруг рассосалась. Ну я и пошел туда. Через пару минут вышел, гляжу: наш говорливый все стоит у запертой двери. Я ему говорю: проходите сюда, здесь свободно!

— Нет, — ответил он не без стоицизма в голосе, — я уж тут встал, тут и дождусь. Я русский!

И вот я думаю: это, что ли, и есть наш особый путь? Обоссаться, но не пойти навстречу здравому смыслу?

Автобусная экскурсия по Европе конечной целью имела Париж.

Квасить начали в час отъезда.

К границам соцлагеря подъезжали уже хорошие, через фатерлянд пробирались как в тумане, во Францию въехали — никакие.

Наконец за окнами замаячил Париж, и детина-экскурсант, прислонившись лбом к окну, увидел вдали большую металлическую конструкцию работы Эйфеля.

— Башня? — уточнил он.

— Башня, — подтвердила экскурсовод.

Детина выдохнул с облегчением и сказал:

— Едем назад.

Понижение цен вручную

А наши друзья, Юра и Светка, полетели в Париж без тургруппы: у них, советских интеллигентов, с первой свободой ушедших в бизнес, в начале девяностых вдруг появились деньги...

Не те деньги, которые раздувают человека в Дерипаску или Абрамовича, но вполне, черт возьми, достаточные для недельки на берегах Сены!

И вот Светка звонит моей жене с Елисейских полей — слышимость лучше, чем с Преображенки — и рассказывает про их парижскую жизнь: Юрка, говорит, решил купить себе белый костюм, а мне вечернее платье; зашли в магазин, посмотрели на цены — мама дорогая!

Юрка говорит: надо выпить.

Зашли, говорит, в ресторан, выпили, вернулись в магазин — нормальные цены!

По дороге на Родину

Ехали мы с женой на Селигер.

Сначала все казино да рестораны, потом канал реки Москвы, потом магазин «Икеа», а потом помаленечку началась собственно родина: заборы гармошкой, родной ситец вдоль битой дороги и приглашение на шиномонтаж — краской по картонке... На четвертом часу путешествия, находясь в патриотическом энтузиазме, мы проскочили нужный поворот и заехали в Вышний Волочок.

Через полчаса я понял, зачем Господь заставил меня сделать этот крюк.

Мы сидели, обедая по негромким ценам, в буфете гостиницы «Центральная». В туалете не было воды, и по надобности я был допущен на гостиничные этажи.

Молодость, проведенная в путешествиях по родным городам и весям, с лестницы ударила мне в голову советскими запахами. Старенькая уборщица ковырялась в коридоре, а из дальнего конца коридорной кишки несло мужское хоровое пение. Это были частушки, страшноватые даже по местным меркам.

Из цензурных слов в тексте изредка встречались предлоги.

Дрожа от предвкушения, я пошел по коридору навстречу звукам.

Певшие сидели на кроватях — вчетвером в шестиметровом номере. Сидели, как йоги, среди стекла, в тренировочных штанах на голые татуированные тела, перед табуреткой с ополовиненной стеклотарой и обрезком колбасы. Безумное многодневное веселье сияло в стекленеющих глазах.

Ответ на вопрос, кем, когда и зачем были командированы эти россияне в Вышний Волочок, унесла река времен.

Где-то рос потенциал, креп рубль и удваивался ВВП. Неподалеку от певших, в деревне под Торжком, лежала в могиле Анна Керн. Я стоял в двух метрах от вокала, затаив дыхание в буквальном смысле — запах, бывший из номера, мог поднять и Анну Петровну.

Потом я зашел в туалет, отдышался — и мы поехали на Селигер. Там — воздух, грибы, рыба и деревни с названиями, которых не придумать умом... В деревню Конец не езжайте — что вам там делать? — езжайте в деревню Красота! В Красоте живет Женя, который дивно рыбу коптит. Очень советую.

Главное, не промахнитесь — и от Торжка езжайте налево, а то вместо Селигера попадете в Вышний Волочок и, не ровен час, причалите к той гостинице.

Там небось до сих пор поют, сидя на стеклотаре.

Прощение

Во время литературного семинара в Германии к российскому журналисту N. подошел местный старик. Он попросил о разговоре — и через пять минут N. оказался вовлеченным в поразительный сюжет...

В 1942 году немецкий старик этот был молоденьким солдатом вермахта. Его часть стояла под Рязанью, и в сельской церкви они держали лошадей... Немца всю жизнь мучила вина — и к старости воплотилась в план искупления: он решил пожертвовать три тысячи евро на ту самую сельскую церковь...

Российский журналист, чье дыхание захватило от участия в развязке такого сюжета, пообещал свою помощь, и через какое-то время старик-немец прилетел в Россию. N. встретил его, разместил в отеле, помог по хорошему курсу перевести евро в рубли — и наутро повез под Рязань, в злополучное село...

Село выглядело хуже, чем после ухода вермахта. Вслед за Гитлером по нему прошли Сталин, Хрущев, Программа мира и социализма, горбачевская перестройка и реформы 90-х... В селе было пусто и страшновато.

Несчастный старик и его виргилий полчаса бродили по пейзажу, ища хоть кого-то, кому можно было бы передать деньги во искупление исторической вины немецкого народа... Сюжет грозил уйти водой в песок, но высший драматург позаботился о развязке: в хибаре на окраине села обитал человек.

Он был не то чтобы пьян, а навечно проспиртован.

Преодолея запах, гости вошли в жилье. Хозяин смел на пол со стола рыбы головы, достал стаканы; предусмотрительный немец вынул бутылку «Абсолюта», и они выпили вместе. Потом выпили еще...

А потом напрягшийся хозяин, кивнув на постаревшего солдата вермахта, спросил у N. — а чего этот молчит?

— Так он немец! — пояснил литератор и приготовился наконец привести корабль покаяния в гавань прощения...

— А-а... — понимающе протянул хозяин и поднял стакан. — Ну, хайль Гитлер.

Тайна трех океанов

Вызов назывался «падение с высоты». Приехавшая «скорая» обнаружила под окнами женщину средних лет. Она лежала в песочнице, куда прилетела с какого-то внушительного этажа. Лежала пьяная, в ночной рубашке — и в лапах!

Лежала вполне живая, хотя и сильно отбитая о Родину.

Ей сделали обезболивающий укол, дали по ее просьбе закурить. И, не тормозя на подробностях, сразу спросили главное:

— Почему в лапах?

Женщина задумчиво покурила, скептически глянула из песочницы на врача и махнула рукой:

— А! Вам этого не понять...

Мля, нах...

Пресс-конференция Колоскова осенью 2003-го многое прояснила не только в области родного кожаного мяча.

Вот, мля, говорил про подведомственных ему футболистов пьяноватый вице-президент УЕФА и президент Российского футбольного союза, они, мля, вообще, мля, не хотят играть. Потеряли достоинство, нах...

День скорби

День убийства Анны Политковской. Еду в позднем полупустом вагоне метро, настроение соответствующее... Напротив сидит мрачный человек. Мы встречаемся глазами, и он говорит:

— Во беспредел!..

Я молча киваю.

— У Израиля выиграть не можем! — заканчивает свою мысль опечаленный россиянин.

Действительно, ужас.

Поздний вечер, вагон метро. Полупустой поезд подъезжает к станции «Спортивная», платформа запружена возбужденной толпой в красно-белых цветах.

— Не знаете, «Спартак» выиграл? — с тревогой спрашивает бомжик, сидящий напротив.

— Выиграл, — говорю.

— Ну слава богу. Тогда бить не будут.

«Какие старые слова...»

На телекомпанию REN-TV позвонил дальневосточный корреспондент и сообщил, что в городе появился плакат откровенно антисемитского содержания. Редактор спросила: что именно написано?

Не знаю, ответил корреспондент, послали оператора, будут съемки.

В ожидании «перегона» съемок из Владивостока журналисты подготовили сюжет про историю вопроса (увы, довольно обширную), про новейший подъем антисемитизма в России, про «геббельсовскую» литературу в свободной продаже...

Ближе к выпуску подоспел «перегон» из Владивостока с обещанным антисемитским плакатом.

На плакате было написано: «Изя — пидор».

Корреспондент НТВ в Чечне дал полковнику десантных войск свой спутниковый телефон — позвонить домой, под Благовещенск, маме: у мамы был день рождения.

Заодно корреспондент решил снять этот разговор, подпустить лирики в репортаж...

В Чечне была глубокая ночь — под Благовещенском, понятное дело, утро. Дозвонившись в какую-то контору, в которой, одной на всю округу, был телефон, полковник пытался уговорить кого-то на том конце страны позвать маму. Этот кто-то был пьян, и хотя мама полковника находилась, по всей видимости, совсем неподалеку, коммуникации не получалось.

Фамилия полковника была, допустим, Тютюкин. Это не потому что я не уважаю полковников, — не уважал бы, сказал настоящую: поверьте, она была еще анекдотичнее.

— Это полковник Тютюкин из Чехии, блядь! — кричал в трубку герой войны («чехами» наши военные называют чеченцев; наверное, в память об интернациональной помощи 1968 года). — Маму позови!

Человек на том конце страны, будучи с утра на рогах, упорно не понимал, почему и какую маму он должен звать неизвестному полковнику из Чехии.

— Передай: звонил полковник Тютюкин! — в тоске кричал военный. — Запиши, блядь! Нечем записать — запомни нахуй... Полковник Тютюкин! Из Чехии! Пол-ков-ник... Да вы там что все — пьяные, блядь? Уборочная, а вы пьяные с утра? Приеду, всех вые...

Обрисовав перспективы, ждущие неизвестное село под Благовещенском после его возвращения, Тютюкин из Чехии снова стал звать маму. Когда стало ясно, что человек на том конце провода маму не позовет, ничего не запишет и тем более не запомнит, полковник стал искать другого собеседника.

— Витю позови! — кричал он, перемежая имена страшным матом. — Нету, блядь? Петю позови! Колю позови!

И наконец, в последнем отчаянии:

— Трезвого позови! Кто не пил, позови!

Такого под Благовещенском не нашлось — и, бросив трубку, полковник обхватил голову руками и завыл, упав лицом на столик купе.

Ксерокс этого документа мне подарили в одной телевизионной редакции, а туда он был переслан из банка — того самого банка, в который было адресовано это невероятное по силе

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Бодрова Евгения Фирсовича ^[6],
проживающего по адресу
Нижний Новгород, улица

«Я, Бодров Евгений Фирсович, 13 октября 2006 года, около 19–00, находился в офисе, расположенном по адресу где подрабатывал на временной работе. В офисе я один распил бутылку водки 0,7 л, так как у меня было очень плохое настроение, вызванное увольнением с моей постоянной работы и разводом с женой.

Около 20–00 я вышел из офиса и пошел на остановку общественного транспорта “Улица Усилова”. В мини-маркете на остановке я дополнительно купил две бутылки пива “Балтика № 9”. Одну из бутылок я выпил прямо на остановке, после чего сел в маршрутное такси № 160, собираясь доехать до остановки “Площадь Лядова”. Однако, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, я уснул и пропустил свою остановку.

При мне находились деньги в сумме 183 тысячи рублей. Данные деньги я носил с собой, так как разводился с женой и не хотел, чтобы она про них знала.

Я проснулся на конечной остановке «Южное шоссе», где сразу и вышел. Мне было очень плохо и меня сильно тошнило, но деньги были при мне. В какой-то момент я потерял сознание и упал на землю. Я очнулся через несколько часов, лежа на пустыре, на противоположной стороне дороги. Все карманы были вывернуты, а из внутреннего кармана похищены 183 тысячи рублей, из которых 150 тысяч составляли деньги, взятые мною в кредит в вашем банке. Таким образом, из-за ваших денег я окончательно лишился и жены и работы, так как все мои друзья и моя бывшая жена посчитали, что я Лох.

Лишившись работы, я перечитал любимую книгу моего отца Фирса Бодрова “Житие протопопа Аввакума”, где было сказано: “Человек есть кал еси и гной еси и выблядков полна вся поднебесная”. Берегитесь! Кара небесная падет на Вашу ростовщическую контору и гореть вам всем в гиене огненной вместе со Сталиным и Гитлером.

Два дня назад мне было видение, и голос из трещины в стене магазина сказал мне: “Евгений, оплати кредит — и пусть банк устроит тебя на хорошую работу. Тем самым он искупит все зло, причиненное тебе!”.

Слезно прошу вас, Господа Банкиры, помогите мне с жильем и работой, дабы добывая свой праведный хлеб, я мог выплачивать Ваш кредит и ростовщические проценты по нему.

О своей беде я написал депутаты Госдумы от фракции КПРФ Бенедиктову с просьбой привлечь Ваш банк к уголовной ответственности за мой обман. И пусть вам отольются мои слезы и страдания моих близких...»

На остановке

...из набитого автобуса, вцепившись друг в друга в волосы, выпали две женщины. Что именно они не поделили в автобусном чреве, никто уже не узнает. Молча и страстно они мутузили друг дружку, а третья скакала вокруг, вскрикивая:

— Девочки, перестаньте! Девочки, перестаньте!

Наконец одна из «девочек», крепко под сорок, прервав выяснялово, сказала ей (дословно):

— Лаура, блядь, ну ты-то хоть не лезь, ебанный Христос!

Какая плотность культурного контекста, а? И какая музыка речи...

Пишите письма

И пришло мне однажды на НТВ письмо — из Храма Трех святителей, расположенного в городе N. по адресу: улица Жлобы, 51.

И другое — с обратным адресом: «Волгоград, проспект Хиросимы, до востребования...».

Перепись населения

— Национальность писать — русский?

— Нет, еврей.

Переписчица подняла испуганные глаза:

— Что, прямо так и писать?

Камерный оркестр «Солисты России», дирижер — Миша Кац (Франция).

Пересвет и Ослябя

В 1998 году меня позвали в прокуратуру — за разжигание ненависти к русскому народу. Биться со мной за честь русского этноса вышли в чисто поле сорок шесть человек из Оренбурга.

Первым в списке обиженных стояло имя гражданина Гусейнова. Координатором акции числилась Дусказиева Галина Задгиреевна.

Чудны дела твои, Господи.

В рабочий полдень

У меня в квартире ремонт.

Дима стругает плинтусы, Миша кладет плитку в ванной.

Я сижу в комнате и пишу текст, имея в виду заработать на оплату их труда. В середине дня мы прерываем наши занятия и сходимся на кухне к накрытому столу.

За обедом происходит обсуждение ряда проблем из области прикладной психологии (в этом силен столяр Дима), сравнительный анализ Ветхого и Нового Заветов с выявлением ряда противоречий внутри каждого из них (с цитированием по памяти в исполнении Михаила), а также краткая дискуссия, посвященная постмодернизму как последней стадии мировой культуры (здесь некоторое время солирую я).

Потом мы с Димой пьем чай, а Миша кофе. Потом мы расходимся по рабочим местам, очень довольные друг другом. А моя жена, полдня готовившая нам обед, приступает к уборке стола и мытью посуды.

А что ей остается, если она ничего не знает о постмодернизме?

Немного Сартра

Такси. Серьезный мужчина за рулем меня узнал и поделился своей тревогой:
— В народе, — сказал, — возникает экзистенциальная пустота!
В конце поездки попросил расписаться на книге о житии какого-то святого...
Интересно здесь все-таки.

Н. гулял с собачкой, когда на пути его возник архетипический алкаш: клетчатая рубашка, заправленная в треники с пузырями, заправленными, в свою очередь, в черные носки... На ногах резиновые шлепанцы, в руке бутылка... А в глазах стоял какой-то тревожный вопрос.

— Как тебя зовут? — спросил алкаш.

— Дима.

— Вот скажи мне, Дима, отрицание отрицания — это Гегель или Фейербах?

— Гегель.

— Вот спасибо, Дима, а то с утра мучаюсь!

Утром предновогоднего воскресенья по обледенелой лесной дорожке в Сокольниках навстречу мне шли трое. То есть собственно шел — один. Он двигался трусцой, относительно твердо держа азимут и приговаривая: «Идем, идем, держим темп».

Двое других, как хрестоматийные Селифан и Петрушка, бережно поддерживая друг друга, ползли за ним на рогах. Селифан был в адидасе и пиджаке, Петрушка в хаки, надетом поверх кофты. Сочетание внутренней дозы и наружного холода окрасило их лица в цвета национального флага: они были белые, синие и красные.

Это было нечто. Даже мой лабрадор, которого мало что может отвлечь от инспекции парка, замер на полушаге в десяти метрах от этой троицы. Проходя мимо меня, остолбеневшего от внезапной встречи с Родиной, глава процессии коротко развел руками и объяснился:

— Корпоратив...

Утро первого января, вход в парк. Духовая группа хмурых дед-морозов наяривает на холодке джаз. Лица серые, частично непохмеленные.

У чугунных сокольнических ворот стоит человек в черном (то ли парковый служащий, то ли представитель охранной структуры) и всех заворачивает к кассе: по случаю Нового года вход в парк стоит двадцать рэ.

У кассы образуется небольшая очередь, но это не местные. Местные, вроде меня, знают, что в двухстах метрах отсюда есть калитка, через которую можно, как и раньше, пройти на халяву...

И не то чтобы было жалко двадцати рублей, но весь организм протестует против такого необязательного мероприятия, как оплата. Слухом земля полнится; в сторону неохраняемой калитки налаживается человеческий ручеек. Потом ручеек становится рекой. Два юных, отравленных пивом организма, недотерпев, продираются сквозь прутья ограды. Остальные, с детьми и внуками, чинно шествуют в коммунистическое будущее, до неохраняемой бесплатной калитки.

Через какое-то время представитель государства, одиноко стоящий на центральном входе, понимает, что с казной все равно не сложилось, и начинает перехватывать идущих вдоль ограды с предложением о новогодних скидках, а именно: безо всякой кассы дать лично ему десять рэ вместо двадцати — и не переться в обход, а пойти напрямую.

Население разделяется на жадных и ленивых. Жизнь устаканивается и входит в привычное русло. Кассир в полном одиночестве слушает джаз. Тромбон в красной шапочке с помпоном пританцовывает не то чтобы от веселья: просто в ночь на первое наконец похолодало.

С Новым годом!

Отдыхаем!

Числа с первого по четырнадцатое в январском календаре были выделены красным, выходным цветом, обведены красным же фломастером и обобщены дивным по емкости рекламным слоганом: «Отдыхаем!».

А у меня как раз на эти дни пришлись некоторые ремонтные хлопоты. Что-то должны были дочинить, что-то привезти... Но — кто не успел, тот опоздал: начиная с католического Рождества в наших нетрудоголических палестинах стало наблюдаться привычное замедление реакций, переходящее в глухой автоответчик.

Потом наступил Новый год.

Первого числа я никому не звонил — я ж не зверь. Второе пришлось на пятницу, и я дождался пятого.

Пятое было понедельником, но в стране по-прежнему стояла тишина, если не считать Киркорова с Веркой Сердючкой и соседа через стенку, который увлекся караоке и тоже пытался петь. Безднадежность ситуации заключалась в том, что соседа нельзя было вырубить пультом.

Шестого мне удалось дозвониться до одного трудящегося, который был в состоянии войти в диалог, но один он ничего не мог, а остальных не было.

Забывшись, я позвонил седьмого и получил выволочку от неизвестного мне охранника. Едва сдерживая гнев, охранник сообщил мне, что весь мир сегодня празднует Рождество — и никто не работает!

Я понял, что мир скопом перешел в православие, и мне нечего ловить вообще...

А восьмого мне честно сказали, что я им надоед, и что мне лучше не дергаться и тихо дожидаться пятнадцатого, «когда закончатся каникулы»...

«Отдыхаем»!

История Пушкина

В кафе «Фиалка» в парке Сокольники можно снимать кино из послевоенной жизни: нетронутые интерьеры стоят в ожидании своего звездного часа...

Но не интерьерами славна «Фиалка»! Хозяин заведения, опознавший меня по прежним телевизионным временам, показал столик, за которым пару раз сидела сама Алла Пугачева, — и в знак уважения даже предложил присесть на ее место... Я не посмел.

Тем более что интересовала нас с женой не Алла Борисовна, а Александр Сергеевич. За тем и зашли.

Ибо прямо перед «Фиалкой», на небольшой колонне, стоит бюст Пушкина. Сер и печален лицом тот Пушкин, и стоит он в виде бюста на небольшой псевдоклассической колонне, над маленькой, с тазик размером, клумбой... Стоит с прикрытыми глазами — видать, лепили с посмертной маски.

Такое ощущение, что классик только что в этой «Фиалке» перебрал и вышел на воздух проблеваться, да призадумался, прикрыв глаза. И нос у него перебит — будто кто в кабацкой пьяной драке...

Нет, это уже не Пушкин.

В общем, зашли мы с женою внутрь и стали допытываться о происхождении бюста. И узнали от хозяина «Фиалки» удивительную историю.

Дело было в девяностые. Покамест будущие лидеры русского списка «Форбс» убивали друг друга за нефть, газ и металлургию, приватизаторы поскромнее делили ЦПКиО «Сокольники».

По-хорошему они не договорились, и однажды посреди приватизированного парка аккуратно (то есть дотла) сгорела симфоническая эстрада. Большого урона симфонизму пожар не нанес: недвижимость эта уже много лет функционировала в качестве сауны с девочками.

О ночном происшествии оповестили хозяина «Фиалки». Его рассказ о дальнейшем звучал так:

— А я, значит, помнил, что вокруг той эстрады с советских времен стояли четыре бюста: Карл Маркс, Достоевский, Толстой и Пушкин. Ну, Маркс мне даром не нужен, а Пушкина жаль! Я — на пепелище. Нашел! Лежит. Я поднимаю его — а *он черный весь!* Притащил его сюда, гляжу: нос отбит. Когда упал, значит, отбило нос. Что делать? Пушкин же, обидно. Позвал знакомого скульптора, он говорит: дай мне два ведра — ведро пива и ведро цемента. Целый день пил и лепил. Ну и вот...

И вот — как памятник покалеченной российской приватизации (глаза прикрыты, нос лепешечкой) стоит перед кафе «Фиалка» Алесандр Сергеевич Пушкин — на столбике, над клумбой-тазиком... По вечерам слушает Катю Лель и Михаила Шуфутинского, несущихся из ресторана...

Маркс не Маркс, а Достоевский тут был бы кстати.

Допросы с пристрастием

Доктор Максим Осипов из Тарусской больницы — человек капризный: хочется ему в рабочее время, видите ли, общаться с интеллигентными людьми!

Претенденткам на должность секретаря-референта на собеседовании задавались два вопроса не по специальности:

— Что случилось в 1812 году?

и

— При каких обстоятельствах умер Пушкин?

Первое так и осталось тайной, а на второй вопрос однажды ответили:

— Застрелился на дуэли.

Автора!

Пушкин точно застрелился бы, зайдя он на экзамен по литературе на продюсерском факультете РАТИ. Легенды ходят про тот экзамен...

— Кто написал «Повести Белкина»? — спрашивал экзаменатор, и четверо подряд отвечали ему: Белкин.

И были, разумеется, выгнаны вон с двойкой.

Пятый, сделав выводы, ответил тонко:

— Ну если вы спрашиваете, то точно не Белкин!

В Святогорском монастыре...

...в ста метрах от могилы Пушкина, в лавке, продавалась книга «Доказательства существования ада». Издательство, выпустившее сей фолиант, называлось — «Новая мысль».

В разгар засушливого лета в Сибири выгорело леса на пару бенилюксов, и начальство, поразмыслив, решило принять кардинальные меры.

И в Омской области, по инициативе местной епархии и при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям, был произведен молебен о ниспослании дождя.

Место встречи изменить нельзя

Сын русской эмигрантки принял католичество, чем привел свою православную маму в сильнейшую тревогу загробно-географического характера:

— Мы же можем там не встретиться! — воскликнула она.

Важное отличие

По телевизору показывали документальный фильм *про русалок* . Сам не видел, но моя хорошая знакомая, журналистка, настаивает, что это был именно документальный фильм!

Она же процитировала оттуда ключевую научную фразу: «у русской русалки, в отличие от средневропейской, нет хвоста»...

Формулировка

Когда железный занавес накрылся медным тазом, наши лучшие качества мы понесли по планете...

В начале девяностых в русской эмигрантской прессе начали появляться перепечатки моих текстов. Я обрадовался, полагая, что наступила новая эра в моем благосостоянии. Я разослал в эти далекие прекрасные страны с десяток писем, извещавших тамошние редакции, что я польщен их вниманием к моей литературной работе, жив, здоров и имею почтовый адрес, по которому мне можно переслать гонорар.

Мне представлялось, что вся трудность — в отсутствии адреса.

Не могу сказать, что наша переписка получилась оживленной. Проще говоря, через какое-то время во мне окрепло ощущение, что, не сказав ни единого слова, меня послали на три буквы.

Слова, впрочем, нашлись. Когда с аналогичным меркантильным вопросом в редакцию израильского русского журнала пришел мой коллега, ему ответили чеканной формулировкой:

— Мы ворованное не оплачиваем.

Дело было в Забайкальском Военном, мать его, округе (см. «Мемуары сержанта запаса»).

Осенью 1981 года на наши лысые головы упала инспекция из Москвы. Для этой экзекуции в Читу прилетел целый генерал (см. там же). И вот, буквально за несколько дней до начала проверки, в нашем образцовом полку сгорел вещевой склад — ночью, дочиста!

Утром мы сволокли с пепелища на плац гору сгоревшего барахла. От паленой кирзы и обгорелых шинелей было не продохнуть, но дюжина офицерских тулупов-дубленок сгорели без следа.

Вокруг плаца многозначительно похаживал злобный особист. Завскладом, прапорщик Зеленко, страшно опечаленный торжеством стихии, суетился у оцепления. Он был до глубины души заинтригован феноменом бесследного исчезновения дубленок за день до инспекции. Он многократно ходил смотреть то на пепелище, то на плац.

Дубленок не было нигде.

— Вата, понимаешь? — говорил прапорщик Зеленко, поочередно заглядывая в глаза стоящим в оцеплении. — Сгорели совсем, ничего не осталось! Вата!

И разводил руками, удивляясь поразительной горючести материала.

Я вспомнил эту старую историю четверть века спустя, когда Счетная палата решила проверить расходование средств, выделенных на восстановление Чечни. Поверите ли: за пару дней до приезда проверяющих в республике случилось новое бомбометание, и как раз по только что «восстановленным» объектам!

И — «сгорели совсем, ничего не осталось...».

А впрочем, еще гоголевский Городничий рассказывал про церковь, которая была восстановлена, но тоже сгорела.

Картошка

Сюжет из телевизора.

Голландский фермер взял в аренду в Липецкой области шестьсот гектаров земли и приехал на черноземные просторы, привезя с собою жену, компаньона и кучу техники. Он посадил картошку, он за нею ухаживал — и картошка выросла на славу.

А на соседних совхозных плантациях тот же корнеплод уродился фигово.

Тут бы и мораль произнести: «ты все пела...».

Но морально устарела басня дедушки Крылова! Прослышав о голландском урожае, со всей области (и даже из соседних областей) к полям потянулись люди. Они обступили те шестьсот гектаров буквально по периметру — и начали картошку выкапывать.

Не ночью, воровато озираясь, с одиноким ведром наперевес... Нет, граждане новой России брали чужое ясным днем; они приезжали на «жигулях» с прицепами, прибывали целыми семьями и, в педагогических целях, даже с детьми...

Приезд на место события местного телевидения только увеличил энтузиазм собравшихся: люди начали охотно давать интервью, и общее ощущение было вполне лотерейным: ну, свезло!

Мягкими наводящими вопросами молодая корреспондентка попыталась привести сограждан к мысли, что они — воры, но у нее не получилось. Один местный стрекозел даже обиделся и, имея в виду голландского муравья, сказал: вон у него сколько выросло! на нашей земле...

Придорожный указатель

...в Калужской области с убийственным лаконизмом выразил экономическую стратегию России: «Гусята оптом и пропан круглосуточно».

Другого нету нас пути

В разгар кризиса 2008 года мне пришло письмо от безработного из Ярославля.

«Здравствуйте Виктор, — писал он. — Скажите, пожалуйста, как поднять баррель с коленей?»

...безжалостно ударил по лучшим людям страны.

Вот дословный рассказ девушки из косметического салона:

«У меня был постоянный клиент, приходил раз в неделю, делал маникюр и педикюр. И вот — исчез. Пришел через месяц — я даже не узнала его: совсем седой. Сел в кресло и печально так говорит:

— Наташа, сегодня — только маникюр...»

«Из-за острова на стрежень...»

Наблюдение одного моего зоркого приятеля: чуть ли не главная народная песня (про Стеньку Разина и княжну) содержит признаки нескольких особо тяжких преступлений.

Сажу в уютном московском кафе, и не один, а с дамой.

А по кафе слоняется пьяноватый дембель — в совершенно нестроевом виде. Подсаживается к столикам, пытается знакомиться, что-то рассказывает...

Вдруг — спасибо тебе, Останкино! — узнает меня. То есть не то чтобы узнает, а просто видит знакомое лицо и начинает общаться:

— О! Привет!

— У вас ширинка расстегнута, — негромко говорю я ему чистую правду.

Улыбнувшись, он отвечает:

— А я не стесняюсь.

В середине девяностых в Нью-Йорк приехала русская «Песня года» — на широкую ногу, с полным набором звезд; чай, не Брайтон — Манхеттен, «Radio City Music Hall»!

Всенародно любимый артист стоял у кулисы, его уже объявляли, а американский звуорежиссер все копался в микрофоне.

Давай скорее, вскричал артист! Квикли, квикли! Но проклятый америкос все копался, и отчаянно мотал головой, и лепетал: сорри, ван секонд, плиз, ван секонд...

Ждать не было возможности. Артист вырвал микрофон из рук изумленного техника и выскочил на сцену. И начал петь! «Radio City Music Hall» наполнился отличным звуком, а бедолага-американец так и остался стоять за кулисами с открытым ртом, глядя то на певца, то на свою ладонь...

В ладони лежали батарейки из того микрофона.

— Миракл, мэн, — сказал ему стоявший рядом русский человек. — Рашен миракл.

Какие бывают русские

Как я попал на Багамы — отдельный анекдот: знакомая, в прошлой жизни офтальмолог из Нижнего Новгорода, выходила там замуж за канадского биржевика! Как сказано у Гоголя: редко, но бывает...

На свадьбе, вперемешку с калифорнийским мальчишником, гуляли нижегородские медсестрички.

И вот, сидим мы, стало быть, с женою в каком-то баре, среди пальм и аквариумов с акулами. Третьи сутки теплового удара. О чем-то негромко говорим. Официант наводит уши, а потом, не выдержав, интересуется:

— На каком языке вы говорите?

— На русском.

— Вы русские?

— Да.

— Не-ет, — недоверчиво протянул официант. — Я русских видел. Русские не такие.

— А какие? — насторожился я.

Официант на секунду задумался, вспоминая. Потом насупился, расставил плечи, растопырил локти и руками нарисовал над головой здоровенный квадрат башки:

— Русские — вот такие!

Булгаковский профессор

...интересовался: где у Маркса сказано, что второй подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками? Обломки цитаты всплыли в моей несчастной голове тихой январской ночью в Таиланде...

Тихой ночь была недолго — до тех пор, пока соотечественники в бунгало напротив не начали праздновать православное Рождество.

Где у Христа сказано, что в честь дня Его рождения следует наливать до ушей коньяком, а потом до половины пятого утра херачить в небо пиротехникой?

На позднем завтраке православные фейерверкеры мужеского полу, числом два, сидели мрачные, с головками бо-бо; сидели топлесс, распустив животы по коленям; один из сидевших, помимо телосложения, радовал окружающих татуированным крестом на бицепсе.

Моя жена предположила, что татуировка сделана в информационных целях. Встал утром, а кто ты — не помнишь. Подошел к зеркалу, взгляделся: ага, православный! Одним вопросом к мирозданию меньше...

В разгар завтрака на ресторанный террасу вошла боевого вида тайка — в мини-юбке, на шпильках и в блестках — и напрямик направилась к православным за расчетом. Было десять утра, а православные сняли тайку на ночь, и рабочее время у нее давно закончилось.

— Тэн минетс, — буркнул ей детинушка.

Надеюсь, он имел в виду количество минут.

...находившаяся в федеральном розыске с ельцинских времен, осенью 2003-го объявилась сама, в прямом эфире Первого канала, после матча Уэльс — Россия. Неожиданно для человечества и самого себя, идею озвучил наш защитник Вадим Евсеев.

Идя в раздевалку после матча, он обнаружил перед своим разгоряченным лицом несколько телекамер — и громко, по очереди, сказал в каждую их них:

— Хуй вам!

Не думаю, что Евсеев имел в виду российских болельщиков. Имел он в виду Уэльс, да и, чего мелочиться, все остальную территорию снаружи от Родины. Сам того не желая, Евсеев разом выразил то, чему веками были посвящены главные усилия нашего народа.

Да! Лучшее и худшее, что мы сделали на Земле, мы делали ради права сказать эти бессмертные слова. Перспектива просто, как какие-нибудь бельгийцы, жить обыденной жизнью по общим скучным законам — ну не вдохновляет!

А вот соорудить в чухонских топях чудо-город или победить Гитлера, потому что (см. выше), и потом самим же оккупировать пол-Европы с тем же внутренним посылом, и назло Америке первыми полететь в космос, и спиться назло КПСС... Ах, это наше!

Впрочем, Евсеев был не первый. Задолго до этого ломоносова неизвестный лавуазье сформулировал этот постулат еще мощнее...

Игорь Иртеньев, вернувшись из путешествия по Родине, божился, что, проплывая под Вытегрой, видел пустынную пристань без малейших следов человеческого присутствия. И на пристани этой метровыми буквами было написано — «Хуй всем!».

Не «вам», обратите внимание, а — «всем»...

Иртеньев первым и догадался, что это она и есть, долгожданная национальная идея. Он даже предлагал скинуться и прорубить в тайге просеку соответствующего содержания, чтобы было видно из космоса...

Я открыл глаза в тишине. За окном имелись: ясное воскресное утро и город Антверпен. Я быстро умылся, позавтракал и вышел из отеля — обожаю заставлять незнакомые города сонными и безлюдными...

На улице действительно было шаром покати. Я свернул в переулки и побрел, маленькими дольками растворяя в себе куски тишины. Антверпен был пуст. Где-то пробил колокол. Из дерева чвиркнула птичка. На пустом перекрестке стояла бабушка.

Она стояла как вкопанная, хотя машин не было вообще.

Я сначала подумал: бабушка в ступоре, а потом понял: она ждет зеленого света. Ну, я тоже остановился. Типа европеец.

Свет, однако, все не переключался. Через полминуты я понял, что сил симулировать законопослушание у меня больше нет, развел руками: миль пардон, мадам! — и пошел через пустую улицу. В спину мне донеслось несколько сердитых слов на фламандском, которого я, слава богу, не понимаю (вслед за Господом, — см. «Тиль Уленшпигель»).

Я шел и думал, что светофор, наверное, испортился, а я не дурак, чтобы стоять столбом на пустом углу. Что мозги на то и есть, чтобы адаптировать законы к реальности.

А потом я подумал, что у всего есть обратная сторона.

Что бельгийцы, конечно, скучные люди: стоят на красный, идут на зеленый. Не задают себе последних вопросов, не переделывают карту звездного неба... Зато — почти не воруют, а убивают друг друга уже совсем в виде исключения. И я подумал: может быть, эта инертность при переходе улицы — совсем небольшая плата за жизнь без вечной кровавой юшки?

Когда я заворачивал за угол, бабушка все стояла.

Французский профессор-политолог

...приехал в Москву из Нигерии и, находясь под большим впечатлением от последней командировки, начал рассказывать московской учащейся молодежи про невозможные африканские ужасы. В частности, он поведал, что в этой дикой, погрязшей в коррупции стране (Нигерии) есть такое неписаное правило: когда полицейский останавливает машину, водитель отдает ему права со вложенными туда заранее деньгами!

Ужас, действительно, натуральный, чисто африканский.

Французский профессор все не мог понять, почему московская молодежь хохочет.

Горько!

Перед майскими выходными 2011 года N. поехал навестить приятеля, отбывавшего срок на зоне. И на входе в зону, на КПП с колючкой, в далеком лагерном поселке, его поздравили с праздником.

N. задумался и переспросил — с каким?

Оказалось: со свадьбой принца Уэльского!

Вона что у нас празднуют во внутренних войсках...

Взлетели.

Простились с мелким японским пейзажем, пробили облака — и некоторое время наслаждались видом Фудзиямы, который был недоступен Хокусаю... Потом нам принесли завтрак, а когда завтрак был съеден, мы уже летели над Россией.

Едва глянув в иллюминатор снова, я сразу понял, что попал. В смысле: на Родину. Внизу не было ничего, кроме бескрайних просторов. Буквально — ничего! Размазанный лицом по иллюминатору, я не мог оторвать глаз от девственной красоты. Якутия, изрезанная вдоль и поперек замерзшими реками и плавно переходящая в аналогичный Таймыр...

В воздушное пространство РФ мы влетели в начале седьмого утра по Москве чуть восточнее Хабаровска — первые признаки человеческой цивилизации я увидел в полдень, в районе Норильска.

Это были факелы газовой добычи на горизонте.

Вы карту себе — представляете?

Не хочется вас огорчать, но наша Родина, по преимуществу, — пустое место. Это территория, а не страна. Очень большая территория, за каким-то хером прирезанная к Московскому княжеству...

Вдоль иностранцев

...ожидавших паспортного контроля в «Шереметьево», ходил российский пограничник и приговаривал:

— Ред лайн, ред лайн... Нехуй расслабляться... Ред лайн!

«Обратная точка»

Этот кинематографический термин означает съемку персонажа, глазами которого мы видели предыдущий кадр...

Менять точку бывает полезно.

Однажды мы — я, жена и дочь — устроили прекрасную авантюру и в несколько немаленьких перелетов добрались до Огненной Земли, где и провели три дня.

И вот, самым поразительным впечатлением в самом южном городе Земли, Ушуае, был не пролив Бигль с Кордильерами на чилийской стороне и не морские львы с птичьими базарами, а само это говооокружительное ощущение, что ты — на краю света...

И на этом краю света растет наша подмосковная кашка!

Впрочем, это ты думаешь, что кашка подмосковная, а вокруг — край света! Мирные ушуайцы, глядя с «обратной точки», имеют совершенно противоположные представления о кашке, центре и периферии. Кашка — растение безусловно ушуайское; центр мира — Буэнос-Айрес; Огненная Земля, конечно, некоторая провинция, но Россия... Позвольте, где же это?

Один ушуаец некоторое время вспоминал — и вспомнил наконец. — А, знаю! Это возле Украины.

Пупок земли

Великий клоун Слава Полунин, услышав от меня эту историю, тут же ответил своей: о том, как в Новой Зеландии он увидел карту мира — и мира не узнал!

То есть: два полушария вроде бы на месте, какие-то более или менее знакомые очертания присутствуют, но общий вид планеты — совершенно незнакомый.

Он всмотрелся, и оказалось, что в центре мира у них — Новая Зеландия! А всяческие европы-америки разбросаны гарниром по краям тарелки...

В сущности, правильный подход к вопросу. Как сказано в старом анекдоте про портного из Жмеринки, увидавшего костюм, пошитый в Париже: «Какая глушь, а как шьют!».

Но до чего ж бывает полезно посмотреть на себя — с обратной точки!

notes

Примечания

аббревиатура, означавшая: Феликс Эдмундович Дзержинский!

Хулио Сакраментес — псевдоним. Свое истинное имя молодой латиноамериканский автор вынужден скрывать, поскольку у власти в Гондурасе по-прежнему находится военщина.

Справка для юных читателей: треугольник — это фигура, образуемая главой администрации, партторгом и профоргом для выдачи человеку характеристики для поездки за рубеж.

Фамилия, разумеется, изменена.

Подробнее об этом см. в книге «Недодумец или Как я победил Марка Твена» (М.: Захаров, 2006).

Фамилия заявителя изменена.